

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (ПУШКИНСКИЙ ДОМ)

ПРОБЛЕМЫ
РУССКОГО
ПРОСВЕЩЕНИЯ
В ЛИТЕРАТУРЕ

❧ XVIII ❧
ВЕКА



ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР
Москва · Ленинград
1 9 6 1

А Н Н О Т А Ц И Я

Сборник содержит доклады и сообщения, сделанные на состоявшейся в 1959 г. в Ленинграде научной конференции по проблемам русского Просвещения в литературе XVIII в и на юбилейной сессии, посвященной А. Д. Кантемиру. В публикуемых материалах рассматривается широкий круг вопросов, касающихся как общих принципиальных проблем развития русской литературы XVIII в., так и конкретных сторон историко-литературного процесса и творчества отдельных писателей этого периода.

Ответственный редактор

Член-корреспондент Академии Наук СССР

П. Н. БЕРКОВ

ПРЕДИСЛОВИЕ

Проводимые Институтом русской литературы (ИРЛИ) в течение многих лет открытые конференции, посвященные крупным разделам русской литературной науки, — Пушкинские, Некрасовские, по древнерусской литературе, по народному творчеству, — имеют, как показывает опыт, большое общественное и научное значение. Учитывая положительный результат подобных форм коллективного обсуждения текущих вопросов советской литературной науки, Ученый совет Института при рассмотрении семилетнего плана деятельности ИРЛИ на 1959—1965 гг. рекомендовал распространить опыт проведения конференций и на область литературы XVIII в.

20—21 октября 1959 г. в ИРЛИ состоялась первая такая конференция. Предварительно Группа литературы XVIII в. произвела письменный и частично устный опрос всех известных ей специалистов в данной области, работающих в Москве, Ленинграде, Киеве, Харькове, Перми, Томске, Тарту и других городах СССР, о том, какой теме должна быть посвящена первая конференция подобного рода. Все опрошенные товарищи признали в качестве наиболее актуальной проблему русского Просвещения XVIII в. и его отношения к литературе.

На конференции были заслушаны доклады П. Н. Беркова (Ленинград), И. З. Сермана (Ленинград), Ф. Я. Шолома (Киев), Г. П. Макогоненко (Ленинград), А. В. Предтеченского (Ленинград), Ю. М. Лотмана (Тарту), а также сообщения А. В. Позднеева (Москва), И. Я. Каганова (Харьков) и Т. А. Быковой (Ленинград).

Доклад чл.-корр. АН СССР Н. К. Пиксанова «Единомышленники А. Н. Радищева» не состоялся из-за болезни докладчика.

В работе конференции приняло участие около ста ученых из разных городов страны. В прениях участвовало более 20 человек, среди них: профессора В. Н. Всеволодский-Гернгросс и А. В. Кокорев, доктор филологических наук Л. И. Кулакова.

доценты Г. И. Бомштейн и Е. А. Касаткина, кандидаты филологических наук Г. М. Фридлиндер, Г. Н. Моисеева и Д. Д. Шамрай и др. В резолюции констатировалась плодотворность проведенной конференции и отмечалась целесообразность периодического проведения и в дальнейшем аналогичных совещаний по другим вопросам изучения литературы XVIII в.

В настоящей книге публикуются все состоявшиеся доклады, за исключением доклада Г. П. Макогоненко «Русское Просвещение второй половины XVIII в. и проблемы реалистического стиля», опубликованного в более пространной форме в журнале «Русская литература» (1959, № 4), часть сообщений и выступлений в прениях, а также заключительное слово Г. П. Макогоненко по его докладу. Тексты статей полностью соответствуют прочитанным докладам. В настоящее издание включены также доклады, прочтенные на торжественном заседании Группы литературы XVIII в., посвященном 250-летию со дня рождения А. Д. Кантемира. Объединение в одной книге указанных материалов не требует, как нам кажется, никакой аргументации, настолько тесно примыкает к основной теме книги содержание докладов об одном из первых русских просветителей. В приложении помещается библиография изданий Кантемира и работ о нем с 1917 по 1959 г.

В предлагаемой вниманию читателей книге излагаются различные, иногда диаметрально противоположные точки зрения на существо и историю русского Просвещения XVIII в. Как отмечалось в прениях на конференции, именно это разнообразие воззрений свидетельствует о том, насколько актуальна и в то же время недостаточно разработана данная проблема. Задача конференции состояла не в том, чтобы сразу же прийти к каким-либо единообразным выводам, общеобязательным для всех, а в том, чтобы показать разные аспекты возможного изучения, открывая тем самым пути для дальнейшего плодотворного исследования вопроса.

Можно надеяться, что издание настоящей книги еще в большей мере привлечет внимание литературоведов к проблемам русского Просвещения XVIII в. и тем самым будет способствовать их правильному решению.



ДОКЛАДЫ

П. Н. БЕРКОВ

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ИЗУЧЕНИЯ РУССКОГО ПРОСВЕТИТЕЛЬСТВА

В известной статье «От какого наследства мы отказываемся?» (1897) В. И. Ленин при определении идейного содержания так называемого «наследства 60-х годов» дал знаменитую характеристику русских просветителей 40—60-х годов XIX в.; попутно В. И. Лениным был сделан ряд замечаний о западных просветителях XVIII в. В то время как термин «русские просветители 40—60-х годов» В. И. Ленин нигде и никогда впоследствии не употреблял, о западных просветителях он высказывался еще несколько раз. Эти ленинские суждения о просветительстве западном и русском, взаимно дополняя друг друга, образуют целостную концепцию и имеют для советской исторической и литературной науки исключительно важное значение: они раскрывают классовое содержание общего понятия «просветительство», перечисляют его основные определяющие черты — признаки как общие, так и специально русские, дают его хронологическое приурочение для Запада и для России.

Вместе с тем из характеристики русских просветителей 40—60-х годов с неизбежностью возникает вопрос: означают ли слова В. И. Ленина, что до 40—60-х годов XIX в. у нас не было никакого просветительства, что оно только к этому времени сложилось? На этот вопрос, к сожалению, мы в произведениях В. И. Ленина ответа не находим. Он неоднократно говорил о Радищеве, о дворянских революционерах-декабристах, о революционных демократах-разночинцах, т. е. настойчиво подчеркивал революционную линию в русском освободительном движении и развивал свои взгляды на русских революционеров как на предшественников марксистов. А о просветителях после 1897 г. он не упоминал ни разу.

Несмотря на отсутствие у В. И. Ленина прямых ответов на поставленные выше вопросы, в советской исторической и литературной науках давно установилась и широко распространилась точка зрения, согласно которой в России уже в XVIII в. существовало «раннее просветительство». Так, еще в 1935 г. И. Верцман в статье «Просвещение» (Литературная энциклопедия, т. 9, стлб. 336), говорил о «раннем русском просветительстве» и называл при этом Новикова, Крылова-журналиста и, с другой стороны, Радищева. В 1940 г. Л. Бычков в статье «Просветители в России» в первом издании БСЭ писал: «Блестящими представителями раннего просветительства в России явились в конце 18 века А. Н. Радищев, Ф. В. Кречетов и Н. И. Новиков».¹ Во втором издании БСЭ в статье «Просветители в России» хронологический предел «раннего просветительства» отодвинут еще дальше назад: «Просветители 40—60-х гг. 19 в. имели своих предшественников еще во 2-й половине 18 в.».² Эта точка зрения нашла среди литературоведов особенно усердных сторонников в лице Г. П. Макогоненко, В. Н. Орлова и некоторых других. На этой же позиции стоит и редакция первого тома академической трехтомной «Истории русской литературы» (1958).

Однако наряду с данной концепцией все чаще и чаще приходится встречать в наших литературоведческих работах употребление терминов «просветители», «просветительство», «русское Просвещение» в применении к более ранним периодам русской литературы — к середине и даже всей первой половине XVIII в., по отношению к Ломоносову, Третьяковскому, Кантемиру и Феофану Прокоповичу. В последнее время эта точка зрения находит все большее и большее распространение.

Но подобным расширительным толкованием терминов «просветители», «просветительство» наши литературоведы не ограничиваются. В своих работах о Симеоне Полоцком И. П. Еремин называет этого раннего представителя русской литературы «просветителем»: «Громадное значение Симеон Полоцкий, как истый просветитель, придавал всемерному развитию в Русском государстве школьного образования (...). Не меньшее просветительное значение придавал Симеон Полоцкий и развитию в Русском государстве книгопечатания (...). «Вертоград» Симеона Полоцкого (...) — выдающийся памятник русского просветительства второй половины XVII века».³

¹ БСЭ, т. 47, 1940, стлб. 313.

² БСЭ, изд. 2-е, т. 35, 1955, стр. 89.

³ Симеон Полоцкий, Избранные сочинения, Подготовка текста, статья и комментарии И. П. Еремина, Изд. АН СССР, М.—Л., 1953, стр. 228, 229, 237.

Все эти хронологические передвижки в применении интересующих нас терминов никак нельзя признать произвольными, необоснованными. В защиту своих положений авторы приводят конкретные материалы и не лишены убедительности соображения. Таким образом, получается парадоксальный вывод: русское просветительство имело двухсотлетнюю длительность и растянулось от Симеона Полоцкого до просветителей 40—60-х годов XIX в., в то время как на Западе период Просвещения обычно исчисляется не более чем тремя четвертями века — от 1715 г. до французской революции 1789 г.⁴ Впрочем, если иметь в виду не одну только Францию, но и Англию и Голландию, а также предшественников Просвещения во Франции (янсенисты, Сент-Эвремон, П. Бейль), то и здесь придется начинать не с 1715 г., а со второй половины и даже середины XVII в.

И все же можно заранее сказать, что широкое применение советскими литературоведами терминов «просветительство», «Просвещение» в отношении таких разнородных явлений, как Симеон Полоцкий и Чернышевский, оказывается возможным только при неординарном понимании этих терминов.

В самом деле, если применить определение, данное В. И. Лениным просветителям 40—60-х годов, к Третьяковскому, Кантемиру, Феофану Прокоповичу, Симеону Полоцкому и даже к некоторым писателям второй половины XVIII в., то все они под эту характеристику не подойдут. Но самая постановка вопроса о применении к «ранним просветителям» ленинского определения исторически неправомерна: ленинская характеристика имеет в виду, с одной стороны, взгляды западных экономистов XVIII в., с другой, — преломление этих взглядов «через призму русских условий» 40—60-х годов XIX в. Прилагать к Третьяковскому, Кантемиру, Феофану Прокоповичу, Симеону Полоцкому мерку, основанную на произведениях западных писателей более позднего времени, в лучшем случае современников некоторых из них, абсолютно не исторично, тем более, что и русские условия 40—60-х годов XIX в. значительно отличались от обстановки первой половины XVIII в., а еще в большей степени — от условий второй половины XVII в.

Следовательно, нельзя применять к русскому просветительству — от Симеона Полоцкого до Белинского, Герцена, Чернышевского, Добролюбова и Писарева — одну и ту же общую мерку, надо расчленить это суммарное понятие, определить границы, характерные признаки и последовательность отдель-

⁴ М. Н. Розанов. Очерк истории французской литературы эпохи «Просвещения». М., 1916, стр. 15; M. Sommerfeld. Aufklärung. В кн.: Reallexikon der Literaturgeschichte, Bd I. Berlin, 1925/1926, стр. 92 („die Epoche von etwa 1720 bis etwa 1785“).

ных этапов русского просветительства и тем самым более или менее точно очертить границы собственно русского Просвещения, затем сопоставить его с западным Просвещением и в итоге установить национальные особенности русского Просвещения. Но это только одна сторона вопроса — идеологическая; для нас, литературоведов, не менее важна и вторая сторона: как литературно-стилистически выражалось русское просветительство и русское Просвещение.

Прежде чем обратиться непосредственно к рассмотрению этих проблем, необходимо решить один терминологический вопрос: являются ли синонимами понятия «просветительство» и «Просвещение»? идентичны ли они, и если нет, то как они соотносятся, какое из них представляет родовое понятие и какое — видовое? Напомним, что В. И. Ленин говорил не о Просвещении, а о западных просветителях XVIII в. и о русских просветителях 40—60-х годов.

Самое слово «просветительство», по-видимому, весьма недавнего происхождения. Его нет ни в одном из четырех изданий «Словаря» Даля, т. е. ни в прижизненных изданиях второй половины XIX в., ни в осуществленных И. А. Бодуэн-де-Куртенэ изданиях 1904—1912—1913 гг. В «Словаре» Ушакова оно пояснено как «просветительная, культурническая деятельность» (т. III, 1939, стлб. 995). В «Словаре» С. И. Ожегова дано не определение, а описательное объяснение: «Просветительство — деятельность просветителей» (изд. 3-е, стр. 568), а слово «просветитель» истолковано как «прогрессивный общественный деятель, распространитель передовых идей и знаний» (там же). Насколько широко и внеисторично подобное толкование, ясно само по себе. С этой точки зрения «просветителем» должен быть назван любой передовой мыслитель и общественный деятель любой эпохи, вплоть до египетского фараона Эхнатона, Перикла и Пьера Абеляра, или всякий член Всесоюзного общества по распространению политических и научных знаний. Если от толковых словарей обратиться к словарям энциклопедическим и специально философским, то, к нашему удивлению, мы увидим, что слово «просветительство» в них не объясняется.

Приведенная лексикографическая справка показывает, что понятие «просветительство» принадлежит к категории понятий неустановившихся, понятий, которые еще по-разному истолковываются лицами, употребляющими их. Поэтому для ясности последующего изложения целесообразно здесь указать, какое содержание вкладываю я в понятия «просветитель», «просветительство».

Просветитель — это общественный деятель совершенно определенной в хронологическом отношении эпохи, который видит

в распространении образования, пропаганде знаний единственное средство развития общества в экономической, социальной и юридической областях. Характеризуя в статье «От какого наследства мы отказываемся?» «тон», т. е. тактику, «просветителя» Скалдина, В. И. Ленин писал: «Что же касается до его тона, то он действительно, пожалуй, не типичен (для 60-х годов, т. е. для революционных демократов, — П. Б.) по своей спокойной рассудительности, умеренности, постепенности и т. д.»⁵ Следовательно, революционным демократам, «типичным» представителям 60-х годов, свойственны не эти, а иные, по-видимому противоположные, свойства. Характерно, что, давая в своей статье примечание о «нетипичности» Скалдина для 60-х годов, В. И. Ленин говорит, что его в данной связи интересует не «тон» Скалдина, а «музыка», «т. е. содержание его взглядов», и именно по этим взглядам В. И. Ленин определяет умеренного, спокойно рассудительного, постепенца Скалдина как несомненного представителя «наследства»⁶. Таким образом, противоположность между просветителями и революционерами заключается не в различии «содержания их взглядов», их программ, а в том, какими средствами, с помощью какой тактики полагали они осуществить эту программу. Поэтому понятия «просветитель» и «революционер» не должны рассматриваться метафизически, как понятия взаимоисключающие. Напротив, исторически может оказаться — и так и было в действительности, — что некоторые просветители (например, Руссо) были непосредственными учителями революционеров, а у некоторых революционеров-демократов (например, у Писарева) просветительские элементы были сильнее революционных.

Итак, просветительство — это такое философско-политическое течение, которое видело единственно возможное средство улучшения жизни общества в распространении образования и пропаганде знаний и в вытекающих из этого постепенных изменениях, реформах всех сторон социально-экономического и государственно-правового уклада. Течение это возможно не в любое время и не в любых социальных условиях, а лишь при определенной исторической обстановке, именно тогда, когда производительные силы общества требуют решительного технического прогресса, основанного на выводах науки, в первую очередь физики и естествознания. Совершенно очевидно, что ни в рабовладельческом, ни в раннефеодальном и развитом феодальном обществе просветительство не имело материальных

⁵ В. И. Ленин, Сочинения, т. 2, стр. 473, примечание.

⁶ Там же

предпосылок для своего возникновения. Складываться же оно начало тогда, когда буржуазия оформилась как класс и стала идти к захвату экономической, а затем и политической власти.

Просвещением же — здесь мы об этом скажем пока только кратко — следует считать определенный этап в истории просветительства, характеризуемый четко оформившейся идеологической системой, буржуазно-революционной по своей природе, но в то же время не признававшей революции как метода переустройства общества. Поэтому просветительство оказывается шире Просвещения: просветительство может и предшествовать Просвещению, и развиваться рядом, борясь с ним, и существовать после него. В то время как Просвещение есть идеология революционной буржуазии в период широко понимаемой подготовки революции (как было отчасти в Англии, в особенности в Голландии и во Франции), просветительство в форме «просвещенного абсолютизма» может быть использовано и в интересах феодального класса, для укрепления его позиций в период разложения феодально-крепостнической системы (Пруссия при Фридрихе II, Австрия при Иосифе II, Россия при Екатерине II). При этом следует помнить основной принцип историчности: явление, становящееся на определенном этапе своего развития реакционным, могло быть на более ранних ступенях прогрессивным. Поэтому «просвещенный абсолютизм» Петра I — прогрессивное явление, тогда как «просвещенный абсолютизм» Екатерины II — явление противоречивое, по своим целям и принципам реакционное, но по некоторым результатам (организация школ, научных учреждений и обществ, развитие переводческого дела и т. п.) прогрессивное.

При таком понимании соотношения просветительства и Просвещения напугавшая нас в начале двухсотлетия длительность русского просветительства — от Симеона Полоцкого до Писарева — перестает быть столь устрашающей.

В похвалах Симеона Полоцкого типографскому искусству:

Ничто бо так славу расширяет,
Яко же печать. . .

. . . Убо подобает,

Да и Россия славу расширяет
Не мечом токмо, но и скоротечным
Типом, через книги сущим многовечным
(Желание творца),

в словах Сильвестра Медведева, обращенных к царевне Софье:

. . . Ты свет наук явшти
Хощешь России. . .

(Вручение привилегии на Академию),

в призывах Кариона Истомина к той же царевне Софье:

О учении промысл сотворити,
Мудрость в России святу вкоренити,
Да учатся тои юны отрочата
И навыкают зело дела свята

(Стихи царевне Софье Алексеевне),

мы спокойно можем признать проявления «раннего просветительства», применяя слова В. И. Ленина, «разумеется, с соответственным преломлением (...) через призму русских условий». Это значит, что если на Западе в том же XVII в. просветительство отражало интересы буржуазии, начинавшей свой путь к господству, то в России, где как раз в это время только зарождались буржуазные отношения, выразителями просветительских тенденций выступали передовые представители духовенства и относительно прогрессивного дворянства.

Таков первый период «раннего просветительства» — просветительства XVII в. Конечно, при еще более свободном, более широком пользовании этим термином можно признать в организации братских школ на Украине и в Белоруссии в XVI и XVII вв. также проявления «раннего просветительства», но сейчас мы на этом вопросе останавливаться не будем. Отметим лишь, что было бы ошибкой считать, что «просветительство» Симеона Полоцкого, Сильвестра Медведева и Кариона Истомина имело только религиозный характер. Все три стихотворца XVII в., как и представители следующего этапа русского просветительства, хорошо владели современной им латинской образованностью, по крайней мере в форме *septem artes liberales* — семи свободных наук, и Карион Истомин, обращаясь к царевне Софье, просил ее организовать школу именно такого характера:

Паки тя молю, деву благородну,
Да устроиши науку свободну!..

(Стихи царевне Софье Алексеевне).

Второй период русского «раннего просветительства» — период петровского «просвещенного абсолютизма». Характернейшей чертой этого периода было стремление создать сильное государство, способное не только отстаивать свою территориально-политическую независимость, но и играть соответствующую его военной и экономической мощи роль в европейской и азиатской — по существу, тогдашней мировой — политике. «Просвещенно-абсолютистский» способ осуществления этой цели требовал прежде всего отказа от наиболее отсталых форм старомосковской, феодальной идеологии — от почти всеохватывающей религиозно-церковной регламентации жизни. Поэтому секуляризация быта, культуры, отказ от церковной авторитар-

ности мышления — все это и было основой петровских реформ. Пресловутая «европеизация» России при Петре состояла из двух параллельных процессов — ломки наиболее препятствовавших военному и экономическому развитию России старомосковских церковных форм культуры и быта и усвоения форм европейской культуры, наиболее необходимых для реализации поставленных целей. Таким образом, «европеизация» была только частью, причем не всегда важнейшей, тех изменений, которые произошли в России при Петре I.

Наиболее крупными идеологическими документами русского прогрессивного «просвещенного абсолютизма» были законодательные акты и прочие «письма и бумаги» Петра I, а также литературные и публицистические произведения Феофана Прокоповича. Характерно при этом, что своим воззрениям и Петр и Феофан Прокопович находили поддержку в учениях ранних западных просветителей XVII в. — Гоббса, Гуго Гроция и особенно С. Пуфендорфа, который применил прогрессивные учения английских и голландских просветителей для обоснования феодальных порядков Германии второй половины XVII в. Однако для России начала XVIII в. и это специфически препарированное просветительство было фактом несомненно передовым.⁷ Особенно важно было то, что на смену церковным теориям происхождения власти пришло «*jus naturae et gentium*», «естественное право», или, как говорили в ту эпоху, «право природы и народов». Заметим попутно, что широкое пользование трудами английских, голландских и немецких просветителей их русскими коллегами было возможно только потому, что почти все произведения западных просветителей XVII в. были написаны на хорошо известной в России латыни.

Со смертью Петра I прекращается второй период русского просветительства и первый период русского «просвещенного абсолютизма». Мы говорим «первый», потому что выше было уже указано, что в последнюю треть XVIII в., при Екатерине II, был второй, по внешности относительно «либеральный», по существу же реакционный, период «просвещенного абсолютизма» в России. Здесь уместно напомнить, что кратко перечисляя признаки развития монархической власти в России в XVIII в., В. И. Ленин указывал «на самодержавие XVIII века с его бюрократией, служилыми сословиями, с отдельными периодами „просвещенного абсолютизма“...»,⁸ т. е. он считал, что таких периодов было несколько, по крайней мере больше, чем один.

⁷ При характеристике отношений Феофана Прокоповича к западным просветителям надо учесть и роль протестантского теолога И. Ф. Буддеуса.

⁸ В. И. Ленин, Сочинения, т. 15, стр. 308.

Период между прогрессивным «просвещенным абсолютизмом» Петра I и противоречивым, «либерально-консервативным», говоря сказанными по другому поводу словами Энгельса, «просвещенным абсолютизмом» Екатерины II был, как известно, периодом реакции, когда борьба за традиции Петра, за его реформы имела исключительно важное, передовое значение. Поэтому просветительство Кантемира, Тредиаковского, Ломоносова и его ученика Поповского было существеннейшим звеном в истории русского просветительства, соединявшим передовые идеи Петровской эпохи с идеями эпохи Новикова, Фонвизина и Радищева. И в эту переходную эпоху, в третий период русского просветительства, действуют люди, получившие основы своего образования либо непосредственно в Славяно-греко-латинской академии, как Тредиаковский, Ломоносов и Поповский, либо от выходцев из нее, как Кантемир, бывший учеником И. Ю. Ильинского. Это давало всем названным деятелям, хорошо владевшим латинским языком, возможность черпать философско-политические знания, подобно их предшественникам, из европейско-латинской философской, юридической и исторической литературы.

Однако всех просветителей этой переходной эпохи объединяет и другая черта: к знанию латыни они присоединяют знание новых европейских языков, в первую очередь французского и отчасти немецкого. Благодаря этому просветители 30—50-х годов XVIII в. переводят не только с латинского языка («Аргенида» Баркляя), но и с французского («Разговоры о множестве миров» Фонтенеля и «Письма о природе и человеке», представляющие «Трактат о существовании бога» Фенелона в переводе Кантемира, «Похождения Телемаковы» Фенелона в переводе А. Вольтерского и братьев Хрущевых, «Телемахиды» в переводе Тредиаковского, «Опыт о человеке» Попа, переведенный Н. Н. Поповским не непосредственно с английского, а с французского, и т. д.). К сказанному следует прибавить, что своеобразной инерцией этого периода был перевод просветительского романа «Жизнь Сифа, царя египетского» аббата Терассона, сделанный в самом начале 1760-х годов студентом Московского университета Д. И. Фонвизиним.

Последнее десятилетие эпохи Петра и весь переходный период совпадают, как известно, с началом и расцветом французского Просвещения. Однако на воззрениях Кантемира, Тредиаковского, Ломоносова и Поповского ранее французское Просвещение не отразилось, во всяком случае не наложило на них сколько-нибудь отчетливой печати. В то же время едва ли подлежит сомнению, что с творениями Вольтера и Монтескье Кантемир, Ломоносов и другие просветители 1730—1750-х годов

были знакомы. Поэтому одна из предстоящих нашей науке задач — более тщательное изучение необходимых материалов для вынесения окончательного суждения по данному вопросу.

Поскольку перед просветителями переходного периода стояла задача сохранить петровские реформы, постольку важнейшее достижение прогрессивного «просвещенного абсолютизма» — «естественное право», признававшее за человеком свободу, равенство, собственность и безопасность, — продолжало играть существеннейшую роль в идеологических построениях русских просветителей 30—50-х годов XVIII в. Идеи равенства людей и значения их личных заслуг, а не заслуг рода мы находим в сатирах Кантемира и — в более общей форме, только идею равенства, — в «Письме о пользе стекла» Ломоносова. Сюда же следует отнести популярные в то время, именно с позиции «естественного права» понятия, переводы «*Beatus ille*» Горация (Тредиаковский, Поповский).

Вторая часть формулы «право природы и народов» понималась представителями просветительства 30—50-х годов неодинаково: в слове «народ» Кантемир и несколько позднее Сумароков и его последователи вкладывали узкоклассовое, сословно-дворянское содержание, тогда как Ломоносов и Поповский толковали его в более демократическом смысле. Участие Кантемира, Феофана Прокоповича, В. Н. Татищева в так называемых «событиях 1730 г.» — это прямое выражение их дворянского понимания «*jus naturae et gentium*». Впрочем, в тогдашних исторических условиях общественно-политическая позиция названных лиц была глубоко прогрессивна, поскольку дворянство, по крайней мере частично, в определенной мере сохраняло роль прогрессивного класса.

Время начиная с 1760-х годов и до появления «Путешествия из Петербурга в Москву» Радищева — это четвертый период в истории русского просветительства. К этому моменту французское Просвещение уже достигло своего полного развития. Только в течение нескольких лет появились такие произведения, как «Общественный договор» Руссо (1762), «Система природы» Гольбаха (1770); завершается издание «Энциклопедии».

Тот, хронологический разрыв, который наблюдался в два предыдущих периода русского просветительства, когда у нас усваивались воззрения европейских авторитетов предшествующих поколений, к концу 1750-х—началу 1760-х годов постепенно ликвидировался. В Петербурге и Москве начинают внимательно следить за новейшей литературой французского Просвещения. В 1758 г. выходит в свет «*De l'esprit*» Гельвеция, а

через год 16-летней княжна Екатерина Воронцова, известная потом как княгиня Е. Р. Дашкова, приобретает эту книгу и делает на ней свою владельческую надпись. Труды теоретиков французского Просвещения получают в этот период широкое распространение в среде передовой русской молодежи. Весьма существенно, что в это же время в России, с одной стороны, начинается борьба с влиянием Вольтера и тем более энциклопедистов, а с другой — кокетничающая своим философским и политическим свободомыслием Екатерина II ставит своей целью использовать авторитет наиболее популярных французских просветителей в личных и государственных — конечно, как она их понимала, — интересах. Менее всего склонны мы сводить русское просветительство 1760—1780-х годов, равно как и «либерально-консервативный» «просвещенный абсолютизм» Екатерины II, к воздействию книг и идей французских просветителей. Полностью признавая приоритет русской социально-политической, экономической и культурной действительности (вопрос о деспотизме Екатерины II, положение крепостных и т. д.), мы вместе с тем включаем в эту русскую действительность и идейное наследие предшествующих эпох русского просветительства, и новые философско-политические учения, шедшие с Запада, — в первую очередь и в преобладающем количестве из Франции.

1760—1780-е годы, по нашему мнению, являются одновременно и периодом русского Просвещения, и периодом (последним) «просвещенного абсолютизма» в России. Все зависит от того, под каким углом зрения рассматривать исторический и литературный материал. Ниже нам придется подробнее остановиться на том, что мы называем русским Просвещением, а сейчас объясним, почему появление «Путешествия из Петербурга в Москву» Радищева мы считаем хронологической гранью этого периода. Дело в том, что при всем своем философском и политическом радикализме французское Просвещение, даже в лице своих наиболее материалистически настроенных теоретиков, не выдвинуло никаких иных требований, кроме тех, которые заключались в учении «естественного права». Знаменитый лозунг французской революции, прямой наследницы идей Просвещения, — «Liberté, égalité, fraternité» («Свобода, равенство и братство») — является почти простым повторением четырехчленной формулы «естественного права» — «Свобода, равенство, собственность и безопасность». «Право собственности», отсутствующее в трехчленном лозунге французской революции, находится зато во втором и особенно в знаменитом семнадцатом параграфах

«Декларации прав человека и гражданина», прокламирующих «священное право собственности».

Французская революция явилась естественной и закономерной гранью для французского Просвещения, она его диалектически «сняла». В России, как известно, в начале 1790-х годов революции не было, но книга Радищева явилась таким же диалектическим «снятием» русского Просвещения. Теоретическим рассуждениям о праве человека на свободу, равенство, собственность и безопасность, которые так и оставались просветительскими рассуждениями, Радищев противопоставил чреватое непосредственными революционными выводами положение: «Право без силы было всегда в исполнении почитаемо пустым словом».⁹ Признание и оправдание Радищевым крестьянской революции означало отрицание просветительского принципа мирной пропаганды мирных реформ. Тем самым просветительство переставало существовать как просветительство и перерастало в революционный демократизм. Дальнейшая история русского освободительного движения есть история движения революционного: дворянского, разночинского, пролетарского. Просветительство оставалось, говоря словами В. И. Ленина, как «содержание», как «музыка», а не как «тон».

Вместе с тем — и в этом сказываются своеобразные условия русской истории — просветительство после Радищева не сразу прекратилось. Так называемые «радищевцы» — Пнин, Борн, Попугаев и другие, — принимавшие у Радищева, как принято считать, «все, кроме крестьянской революции», конечно, являлись просветителями, а не революционерами и тем более не революционными демократами. Просветительскими были и многочисленные кружки и тайные общества начала XIX в., преддекабристские и даже последекабристские, вроде «Общества независимых», в котором принимал кратковременное участие Кольцов, о чем писал Ю. Г. Оксман и о чем напомнил недавно Н. К. Пиксанов. Но все это уже относится к XIX в. и подлежит компетенции других специалистов.

Возвращаясь к рассмотрению идейного содержания русского Просвещения 1760—1780-х годов, мы прежде всего должны заметить, что наша наука располагает для подобной характеристики далеко не полными материалами. В нашем распоряжении имеются почти исключительно печатные тексты, предназначавшиеся для екатерининской цензуры и, следовательно, сознательно для нее приносившие и испытывавшие на

⁹ А. Н. Радищев. Путешествие из Петербурга в Москву. Фототипическое издание. Изд. «Academia», М., 1935, стр. 104 (глава «Новгород»).

себе ее ограничения. Рукописные материалы дошли до нас в совершенно ничтожном количестве и притом имеют случайный характер. Каковы они, можно судить по единственному номеру рукописного журнала Фонвизина «Друг честных людей, или Стародум». Ни архивы Радищева, Фонвизина, Новикова, Козельского, Аничкова, Десницкого, ни иные документы, которые могли бы полнее и ярче раскрыть истинную идейную суть русского Просвещения, до нас не дошли. Поэтому приходится заранее признать, что восстанавливаемая нашей наукой на основании цензурованных печатных текстов картина является только приблизительной, а никак не точной.

Кратко характеризуя социально-политическую программу русского Просвещения, можно сказать, что оно боролось против екатерининского деспотизма, против крепостного права, против реакционного, невежественного и тунеядствовавшего духовенства, требовало права свободно мыслить и так же свободно высказывать свои взгляды, выдвигало идею создания парламентарных учреждений, отстаивало право общества организовывать учебные заведения, независимые от правительственной политики. Литературными средствами русского Просвещения были сатира, сатирическая журналистика, сатирикополитическая комедия, сатирическая или утопическая «восточная повесть», такого же характера жанр «сна», «разговора в царстве мертвых» и т. п. Часть этих литературных форм унаследовала от четвертого периода русского просветительства — русского Просвещения — русская литература 1790-х годов и начала XIX в.

Сказанное — мы хорошо это знаем и уже предупреждали об этом читателей — не исчерпывает идейного богатства русского Просвещения, здесь, как и в других областях, нашей науке предстоит сделать многое.

Движение народных масс, возглавленное Пугачевым, а затем французская революция окончательно уничтожили екатерининскую политику «просвещенного абсолютизма» — остался откровенный монархический деспотизм. Таким образом, к началу 1790-х годов и русское Просвещение, и «либерально-консервативный» екатерининский «просвещенный абсолютизм» сошли со сцены.

Нам остается рассмотреть еще одну своеобразную разновидность русского просветительства середины и второй половины XVIII в. — просветительство дворянское. Говоря о первых трех этапах «раннего русского просветительства», мы уже отмечали, что в нем заметную роль играло дворянство. При характеристике третьего периода русского просветительства, т. е. просветительства 30—50-х годов, указывалось, что дворянское про-

светительство Кантемира отличалось от демократического просветительства Ломоносова и Поповского. От этого ломоносовского просветительства пошла демократическая линия русского Просвещения, представленная Я. П. Козельским, Д. С. Аничковым, С. Е. Десницким, И. А. Крыловым и др., а также такими деятелями, как дворяне Новиков и Фонвизин, купец Плавильщиков и пр.

Но дворянское просветительство Кантемира не заглохло, не исчезло бесплодно. Оно вскоре же возродилось в деятельности такого крупного представителя русской дворянской культуры, как Сумароков — отец русского дворянского либерализма. Поэт, драматург, журналист, историк, философ, филолог, Сумароков неустанно стремился просветить дворянский корпус, убедить правящий класс в том, что звание «сынов отечества» дворяне должны оправдать своей просвещенностью, своим интеллектуальным и моральным превосходством над другими, низшими классами общества, которых он колоритно называл «рабами отечества». По существу, прямых и непосредственных учеников—просветителей, продолжателей его дворянской пропаганды (если не считать очень умеренного Хераскова, автора трех «политических» романов) Сумароков не имел, но он оказал несомненное общетеоретическое влияние на Новикова и Фонвизина. Лишь позднее, больше чем через десять лет после смерти Сумарокова, в роли дворянского идеолога-просветителя, журналиста, публициста, пропагандиста «либерально-консервативного» европеизма выступил Н. М. Карамзин.

Вкратце рассмотренная нами картина развития русского просветительства от середины XVII в. до начала XIX в. показывает, что при всей сложности и противоречивости этого процесса все же несомненно существуют какие-то общие черты у различных ветвей этого общественно-литературного течения и в разные моменты его истории. Черты эти — стремление улучшить социально-политическое и культурное положение народа, которое всеми признавалось то в большей, то в меньшей степени неудовлетворительным, и вера в то, что «слово», «пропаганда» могут оказать в этом отношении решающее воздействие.

Есть еще одна характерная для всего русского просветительства черта — его политическая направленность, его постоянная разработка темы «верховой власти». Сначала эта тема выступала в форме противопоставления образа «тирана» образу «истинного государя».

Анализируя идейное содержание поэзии Симеона Полоцкого, И. П. Еремин останавливается на одном цикле стихотво-

рений последнего; «назначение» этого цикла, по мнению исследователя, «заключается в том, чтобы наглядно показать читателю, что такое идеальный правитель государства и что такое правитель-тиран (слово «тиран» в этом именно его значении «дурного, жестокого царя» ввел в русскую поэзию впервые Симеон Полоцкий) (<...>). Противопоставляя первого второму, Симеон Полоцкий дал первую в русской литературе попытку обрисовать идеальный образ «просвещенного» монарха». ¹⁰

Еще более основательно и подробно развил тему «идеального государя» Феофан Прокопович в трактате «Правда воли монаршей». Он писал: «Всякая (<...>) власть верховная единая своего установления конечную вину имеет: всенародную пользу». «Может монарх государь, — говорит Феофан в другом месте, — законно повелевати народу не только все, что к знатной пользе отечества своего потребно, но и все, что ему ни понравится, только бы народнсей пользе и воле божией не противно было». ¹¹

Проблема «верховой власти» — «идеального государя» в разном классовом понимании проходит через «Книгу о скудости и богатстве» И. Посошкова, «проекты» 1730 г., оды Тредиаковского и Ломоносова, трагедии Сумарокова, Княжнина и Плавильщикова, публицистику Новикова и Фонвизина; эта проблема является основным стержнем «комедии народной» — «Недоросля». Решению той же проблемы «идеального государя» служили упоминавшиеся ранее переводы «Аргениды», «Тилемахиды», «Жизни Сифа» и неупомянутые переводы «Золотого прута, или Царей Шешинских» Виланда, а также переводы с китайского в журналах Новикова и «Та-Гюю» в переводе с французского Фонвизина, равно как и оригинальные русские «политические» романы и поэмы Хераскова «Нума Помпилий», «Кадм и Гармония» и «Полидор, сын Кадма и Гармонии», «Россиада», «Владимир», «восточная повесть» «Арфаксад» Захарьина и т. д. Завершается этот длинный ряд разнообразных по своему содержанию, трактовке вопроса и жанровой природе, но единых по теме произведений «Запиской о древней и новой России» Карамзина.

Однако наряду с разработками темы «идеального государя» и его противоположности — «тирана» в конце XVIII в. явно обозначается если не полное разочарование, то во всяком случае глубокое сомнение в самой возможности существова-

¹⁰ Симеон Полоцкий, Избранные сочинения, стр. 234. Впрочем, эта тема встречается и в более ранней русской литературе, но не имеет столь существенного значения.

¹¹ Феофан Прокопович. Правда воли монаршей. СПб., 1722, стр. 37, 36.

ния «идеального государя». Таковы «восточная повесть» «Кайб» Крылова и трагедия «Вадим Новгородский» Княжнина. В гениальном «Путешествии из Петербурга в Москву» окончательно развенчивается просветительский «идеальный государь» и выдвигается проблема демократической республики, становящаяся основной политической темой у некоторой части декабристов и в особенности у революционных демократов 40—60-х годов XIX в.

Значительно меньшее место занимает в русском просветительстве XVII—XVIII вв., в силу особых условий политики самодержавия, борьба с церковью. Той остроты, которой достигает разработка этой темы во французском Просвещении, русское просветительство не знало. Говорить о борьбе русских просветителей XVII—XVIII вв. с церковью было бы беспорочной натяжкой, но критика, хотя и довольно осторожная, отрицательных явлений в русской церковной жизни в русском просветительстве имела. При этом началась она, как это ни парадоксально, у первых русских просветителей — лиц духовного звания. Так, Симеон Полоцкий пишет большое стихотворение «Монах»,¹² в котором в живых ярких образах перечисляет нарушения монастырского устава и даже просто-го приличия представителями черного духовенства:

Но увы бесчиния! Благ чин погубися,
иночество в бесчинство в многих преложися

Эта же тема разрабатывается Феофаном Прокоповичем (трагедокомедия «Владимир», отчасти «Духовный регламент»), особенно Кантемиром в сатирах, Ломоносовым (в «Гимне бороде» и других произведениях, в том числе в «Письме о сохранении и размножении российского народа»), Новиковым в сатирических журналах («Письмо отца Тарасия»). Фонвизиным («Послание к слугам моим, Шумилову, Ваньке и Петрушке», «Поучение, читанное в Духов день нереем отцом Василием»), Крыловым (в «Почте духов») и т. д.

Мы не станем подробно останавливаться на других сторонах и особенностях русского просветительства в целом и русского Просвещения в частности. Для нас существенно было очертить важнейшие моменты в этом идеологическом течении. Однако обойти один вопрос мы никак не должны и не можем — это вопрос о воспитании и сатире. На первый взгляд может показаться, что это не один, а два вопроса и к тому же несколько не связанных. На самом деле это не так. Общая всем

¹² Симеон Полоцкий, Избранные сочинения, стр. 8—10.

просветителям XVII—XVIII вв., как западным, так и русским, черта — это теория «*tabula rasa*», вера в то, что человек рождается «чистой доской», на которой воспитанием можно написать все что угодно (знаменитые слова Гельвеция: «*L'homme est tout éducation*», т. е. «человек полностью зависит от воспитания»). Другая черта, характерная для всего рассматриваемого периода, это воззрение, получившее в более позднее время окончательное выражение в виде афористической формулировки «*c'est l'opinion qui gouverne le monde*» — «мнения правят миром». Поэтому всем русским просветителям XVII—XVIII вв. была свойственна вера в то, что путем убеждения, распространения правильных и осмеяния неправильных, ложных «мнений» можно искоренить пороки, дурные нравы и через посредство «просвещенных государей», слушающихся своих «советодателей» — философов-просветителей, ввести разумные, справедливые законы. Поэтому у всех них такое большое место занимали проблема воспитания детей и юношества и сатира, которая рассматривалась как одна из форм общественного воспитания, воспитания взрослых. Этим, как нам кажется, объясняется наличие в литературе русского просветительства сильной сатирико-критической струи, такого явления, как сатирические журналы Новикова и Крылова, как комедии Сумарокова, Фонвизина, Крылова, Клушина и др.

Повторяем, указанными свойствами, конечно, далеко не исчерпывается содержание русского просветительства, и для того чтобы судить о его национальном своеобразии, безусловно необходимы еще длительные и подробные исследования, и не одного лица, а большого коллектива.

Кроме того, как нам представляется, при определении национального своеобразия русского просветительства необходимо сопоставлять его с Просвещением не только «трех главных европейских наций» — англичан, французов и немцев, как это до сих пор у нас принято, но и других народов, например итальянцев и поляков. В самом деле, экономически и общественно-политически англичане и французы значительно опередили Россию XVII и XVIII вв., немцы — правда, меньше, но развитие их Просвещения, как прекрасно показано в недавно вышедшей книге Г. М. Фридендера «Лессинг» (М., 1957), шло в иной плоскости, нежели та, которая была важна для русских просветителей с их прежде всего политической направленностью.¹³ Просвещение же в Италии и Польше, экономически

¹³ «В силу исторической отсталости Германии немецкие просветители не могли с такой конкретностью ставить и решать в своих произведениях непосредственные политические и экономические вопросы, связанные с борьбой за буржуазное общество, как их английские и французские

и общественно-политически более близких к тогдашней России, представляет для нас несомненный интерес.

Не имея сейчас возможности входить в подробности, замечу только, что в последнее время в Италии уделяется серьезное внимание изучению национального Просвещения, называемого там «*illuminismo*». ¹⁴ В частности, выходит серия «*Illuministi italiani*» в пяти томах, напоминающая наши «Избранные произведения русских философов». Насколько мне известно, пока вышел только третий том под редакцией профессора Франко Вентури. Во вступительной статье к тому указывается, что итальянское Просвещение имело длительность всего лишь в 25 лет: началось после окончания Семилетней войны (1756—1763) и закончилось, как только разразилась французская революция. Все это движение протекало под лозунгом реформы «нравов» и «законов». ¹⁵ В серии «*Illuministi italiani*» собраны произведения юристов, публицистов, философов, т. е. просветителей-теоретиков. Несомненно, все это заслуживает нашего внимания (напомним, что произведениями Ч. Беккария и Г. Филанджери интересовались Пнин, Борн и другие «радищевцы»), но еще большее значение для нас имеет художественная литература итальянского Просвещения, в особенности комедии Гольдони, пользовавшиеся в России, как известно, большим успехом.

Не менее важно для нас изучение польского Просвещения, так называемого «*Oświecenia*». Благодаря работам покойного проф. Т. Микульского, объединенных в сборнике его статей «*Ze studiów nad Oświeceniem*» (Wrocław, 1956), мы получили

собратья. Их внимание привлекали не столько конкретные проблемы экономики и политики нового общественного строя, сколько более абстрактные вопросы формирования нового человека и новой морали. Преимущественный интерес немецких просветителей к вопросам философии, эстетики, морали обусловил большую теоретичность и отвлеченность их мировоззрения по сравнению с мировоззрением французских просветителей. Но вместе с тем интерес этот позволил им разработать в их сочинениях ряд важных вопросов буржуазного гуманизма. Со времен европейского Возрождения проблемы гуманистического воспитания человеческой личности нигде не поднимались с такой всесторонностью, как в произведениях Винкельмана, Лессинга, Гете и Шиллера, и это составляет несомненную заслугу немецкого Просвещения, несмотря на черты отвлеченности и умозрительности, свойственные гуманизму немецких писателей». (Г. М. Фридлендер. Лессинг. Очерк творчества. ГИХЛ, М., 1957, стр. 9—10).

¹⁴ Подробный обзор литературы по этому вопросу см. в кн.: *Illuministi italiani*, t. III. *Riformatori lombardi, piemontesi e toscani*. A cura di Franco Venturi. Riccardo Ricciardi editore. Milano-Napoli, [1958], стр. XIX—XXIII (Bibliografia).

¹⁵ F. Venturi. Introduzione. В кн.: *Illuministi italiani*, t. III, стр. IX, XII.

возможность узнать много ценного о явлении, в ряде пунктов аналогичном нашему Просвещению того же времени. Так, например, в польском «Oświeceniu» большое, может быть даже преимущественное, значение имели сатира, сатирическая журналистика, комедия, «восточная повесть», очень широкое распространение получила литература рукописная, а одним из зачинателей и крупнейшим представителем польской просветительской литературы и театра было лицо духовного звания — ксендз Фр. Богомолец.

Отмечу еще один, как мне представляется, полезный объект изучения западных материалов для сопоставления с нашей литературой эпохи Просвещения. Я имею в виду немецкую литературу в Австрии. Обычно на нее не обращают должного внимания: литература Лессинга, Гете, Шиллера совершенно заслоняет собой литературу монархически-католической Австрии времен Марии-Терезии и Иосифа II. Между тем австрийский «просвещенный абсолютизм», так называемый «йозефинизм», представляет для нас несомненный интерес, хотя бы уже по одному тому, что его практика в определенной мере была использована Екатериной II, пригласившей из Австрии для проведения своей школьной реформы такого крупного умеренно либерального просветителя, как славянин Янкович-де-Мириево. Заслуживает также внимания то обстоятельство, что трагедия австрийца Блумауэра «Die travestierte Aeneis» пользовалась в России большим успехом (русские ирои-комические поэмы Н. Осипова, Котельницкого) и — через русское посредство — повлияла на украинского «Энея» И. П. Котляревского. Необходимо более тщательно обследовать также такой важный факт в истории русско-австрийского литературного общения, как появление в Вене в 1787 г. немецкого перевода «Недоросля» Фонвизина.¹⁶

В предшествующем изложении мы рассматривали русское просветительство и русское Просвещение прежде всего как явления идеологические¹⁷ и лишь в качестве иллюстраций

¹⁶ Э. Хексельшнайдер. О первом немецком переводе «Недоросля» Фонвизина. Сб. «XVIII век», вып. 4, Изд. АН СССР, М.-Л., 1959, стр. 330—334; G. Wytrzens. Eine unbekannte Wiener Fonwisin Übersetzung aus dem Jahre 1787. Wiener slawistisches Jahrbuch, Bd. 7, 1959, стр. 118—128.

¹⁷ Особый вопрос представляет выяснение социально-экономической основы, на которой возникло европейское и русское просветительство. В научной литературе широко распространена точка зрения, согласно которой Просвещение есть идеология складывающегося капитализма, или, более точно, первого, мануфактурного периода капитализма. Проф. Эд. Винтер, член Берлинской академии наук, считает Просвещение «идео-

привлекали материалы собственно литературные. Однако после выяснения характерных признаков русского просветительства литературоведы обязаны заняться вопросом о том, каково было выражение Просвещения в области эстетики и искусства вообще и литературы в частности, иными словами, каково было литературно-стилистическое выражение русского просветительства и Просвещения.

В советской научной литературе вопрос этот не ставился. Поднят он был в 1958 г., незадолго до IV международного съезда славистов проф. Э. Винтером. Оспаривая взгляды Д. И. Чижевского (Гейдельберг) и доц. А. Андяла (Дебрецен, Венгрия), считающих, как утверждает проф. Винтер, что в XVII—XVIII вв., даже в начале XIX в., в славянских литературах безраздельно господствовало течение барокко, сменившееся затем сразу и непосредственно романтизмом, этот видный немецкий историк предложил поместить между названными литературными стилями особый стиль — «Просвещение». «По мере того, — пишет проф. Винтер, — как во всеобщей истории постоянно возрастает понимание особого характера Просвещения, будет оно пробивать себе путь и у историков литературы. У Просвещения в славянских литературах нельзя будет уже отнять его самостоятельного места между барокко и романтизмом».¹⁸

Концепция проф. Винтера вызывает некоторые возражения. Во-первых, Д. И. Чижевский вовсе не отрицает того несомненного факта, что между барокко и романтизмом в славянских литературах — точнее только в русской и польской литературах — существовало особое литературное течение, классицизм. В своей обзорной работе «Очерк сравнительной истории славянских литератур» (1952) он посвятил классицизму целую

логией ранней стадии общественного процесса становления буржуазных наций на основе развивающегося мануфактурного способа производства» (E. Winter. Die Aufklärung bei den slawischen Völkern und die deutsche Aufklärung. Zeitschrift für Slawistik, Jahrg. II, 1957, H. 2, стр. 153). Становление буржуазных наций — это, как известно, одна из сторон развития капитализма. Характерно, однако, что в таких странах, как Россия и Польша, где развитие капитализма происходило медленнее, чем на Западе, и где буржуазия была очень слаба, главными деятелями Просвещения были не представители буржуазии, еще не окрепшей и не осознавшей себя в качестве силы, возглавляющей антифеодалное движение, а передовое дворянство. Ср. по этому поводу другую работу проф. Э. Винтера: E. Winter. Die Aufklärung in der Literaturgeschichte der slawischen Völker. Сб. «Славянская филология», сб. III, Изд. АН СССР, М.-Л., 1958, стр. 283—294.

¹⁸ E. Winter. Die Aufklärung in der Literaturgeschichte der slawischen Völker, стр. 291.

главу,¹⁹ правда, написанную в явно неприязненных тонах, в особенности на тех страницах, где речь идет об «Enlightment» («Просвещение»). Впрочем, это вполне понятно: Чижевский открыто симпатизирует всяким мистическим и полумистическим направлениям в философии и искусстве, например барокко, реакционному романтизму и символизму, и слово «реализм» употребляет только иронически. Таким образом, сослаться на точку зрения Чижевского проф. Винтеру нельзя. Остается один только А. Андял, экстравагантное мнение которого стоит особняком в научной литературе, никак не обосновано и никем не признано.

Во-вторых, проф. Винтер не учел того, что в русском литературоведении с 20—30-х годов прошлого века и до наших дней главный литературный стиль XVIII столетия определяется как «классицизм». Следовательно, то, что предлагает проф. Винтер, фактически уже существует, с той только разницей, что, по мнению нашего немецкого коллеги, этот литературный стиль должен получить название идеологического направления — «Просвещения».

В-третьих, вовсе не является общепризнанным — и в данном случае авторитет Д. Чижевского и А. Андяла не помогает — что предшественником классицизма в русской литературе было барокко. Это вопрос частный и спорный; дискуссия на IV международном съезде славистов показала это с достаточной очевидностью.²⁰ То, что Чижевский, Андял и другие исследователи, в частности И. П. Еремин, относят в русской литературе XVII—XVIII вв. к «барокко», в действительности представляет собой общую для европейского, латински мыслявшего и писавшего средневековья (вплоть до XVIII в. включительно) трактовку античной литературы. Я не могу сейчас на этом задерживаться и сошлюсь только на места спорные, но чрезвычайно интересные и дающие возможность во многом по-новому понять русскую литературу XVII—XVIII вв. книги Э. Р. Курциуса «Европейская литература и латинское средневековье»²¹

¹⁹ D. Cizevsky. Outline of Comparative Slavic Literatures. Survey of Slavic Civilization, vol. I. Boston, Mass., American Academy of Arts Sciences, 1952, стр. 70—84.

²⁰ Наиболее слабой частью «барочной» концепции славянских литератур Чижевского являются его суждения о русском барокко (там же, стр. 68—69). Он то относит Ломоносова и Тредиаковского к стилю барокко, то признает, что оба поэта «восприняли незначительные (minor) элементы поэзии классицизма, но не были в состоянии следовать им» (там же, стр. 80). В другом месте Чижевский утверждает, что некоторые славянские поэты были способны «объединять (to combine) влияния барокко и классицизм» (там же, стр. 70—71).

²¹ Ernst Robert Curtius. Europäische Literatur und lateinisches Mittelalter. Bern, A. Francke, 1948; 2. Aufl., 1954.

и П. ван-Тийгема «Латинская литература эпохи Возрождения. Этюд из истории европейской литературы».²² Итак, предложение проф. Винтера не меняет существующего в данной области порядка вещей. Вопрос, поставленный выше, остается нерешенным, и нам надо на него так или иначе ответить. Можно ли считать, что идеологическое течение просветительство, столь существенно изменявшееся в продолжение второй половины XVII и всего XVIII в., не нашло никакого литературно-эстетического, стилевого выражения? Напомню, что в нашей науке высказывалось мнение, будто историю русского классицизма надо начинать с Симеона Полоцкого (П. Н. Сакулин).

Не имея возможности подробно обосновать сейчас свою точку зрения и предполагая сделать это в особой работе, я в тезисной форме изложу свой взгляд на этот вопрос. Охарактеризованные выше первый и второй периоды русского просветительства (вторая половина XVII — первая четверть XVIII в.) имели литературно-стилистическое выражение в виде «предклассицизма» (т. е. исходили, с одной стороны, из европейского средневеково-латинского понимания античной литературы, с другой — опирались на традиции древнерусской литературы и, с третьей, — учитывали идеологические и общеэстетические потребности современности). Третьему периоду (30—50-е годы XVIII в.) соответствует классицизм (в двух вариантах — демократическом и дворянском). Литературно-стилистическое выражение четвертого периода — эпохи русского Просвещения — суммарно можно было бы назвать «постклассицизмом»: здесь мы встречаем и элементы сентиментализма в классицизме, и перерастание классицизма в реализм, и черты преромантизма. Было бы, однако, ошибкой прямолинейно называть это многообразие стилистических исканий каким-либо одним термином, например сентиментализмом, реализмом или преромантизмом. Это сильно обеднило бы наше представление о художественной, эстетической жизни последней трети XVIII в.

Мы любим вспоминать — и правильно делаем, что не забываем, — что русская культура в течение 100—150 лет, т. е. с конца XVII в. до Пушкина, прошла путь идейного и художественного развития, который европейские литературы проделали с VIII по XIX в., т. е. в течение более чем тысячи лет. Это верно, но нельзя забывать, что мы не только жадно усваивали и приноравливали к своим условиям достижения Запада, но и воспринимали их на основе традиций древнерусской куль-

²² Paul van Tieghem. La littérature latine de la Renaissance Etude d'histoire littéraire européenne. Paris, Droz, 1944.

туры: секуляризованная при Петре, она в форме языка, этических и эстетических ценностей продолжала существовать. И не только воспринимали, но и создавали новые ценности. Внимательно, всесторонне и строго научно изучить их, изучить историю русского просветительства XVII—XVIII вв., историю русского Просвещения XVIII в. и их литературно-художественные выражения — это, по нашему мнению, генеральная задача, стоящая перед современным поколением советских литературоведов, посвятивших себя исследованию данной эпохи.





И. З. СЕРМАН

ПРОСВЕТИТЕЛЬСТВО И РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XVIII ВЕКА

Просветительская идеология — одно из самых важных и характерных явлений русской общественной жизни на протяжении XVIII—XIX вв.

Во Франции революция 1789—1793 гг. покончила с просветительской идеологией; на смену ей пришли, с одной стороны, различные направления буржуазного либерализма, с другой — утопический социализм. Но в собственном смысле просветительская идеология, как особая форма буржуазной и буржуазно-демократической мысли, во Франции в XIX в. уже не существовала. В Германии, совершившей свою революцию «в мысли», просветительство сменилось в конце XVIII в. другими направлениями в философии и литературе, из которых каждое представляло своеобразное идеологическое отражение французской революции или реакцию на нее.

Ни в одной европейской стране просветительская идеология не имела столь длительного и плодотворного существования, не оказала столь решительного влияния на общественное самосознание и развитие литературы, как в России. Именно русское просветительство выдвинуло из своих рядов деятелей гигантского масштаба и значения — деятелей, подготовивших на русской почве торжество марксизма.

Изучение просветительства в его связях с русской литературой XVIII и XIX вв. — одна из бесспорных заслуг советского литературоведения. Однако в этой широкой и разнообразной разработке истории русской просветительской мысли есть один очень серьезный пробел. До сих пор совершенно неясно, когда же возникло в России просветительство, какие исторические причины обусловили его появление и в какой форме была связана просветительская идеология, просветительская мысль в период ее возникновения с русской литерату-

рой? По этому вопросу существует несколько различных взглядов, и очень характерно, что разноречивость встречается и в коллективных литературоведческих трудах, где по вопросам такой принципиальной важности могло бы быть достигнуто хоть относительное единомыслие.

Современное состояние изучения просветительства XVIII в. лучше всего можно показать на примере того, как освещен этот вопрос в первом томе «Истории русской литературы», издаваемой под редакцией Д. Д. Благого. Как и всякое коллективное издание, «История русской литературы» подводит итоги большому периоду изучения русской литературы XVIII в. В качестве такого итога она верно отражает действительное положение дел в науке и противоречивость существующих решений.

В первом томе указанного труда, в разделе «Русская литература XVIII века», три главы из пяти посвящены эпохе Просвещения: глава третья — «Начало периода русского Просвещения», глава четвертая — «Развитие русского Просвещения в борьбе с антипросветительской идеологией» и глава пятая — «Вершинные достижения русского Просвещения». Начало русского просветительства, или Просвещения, как предпочитают говорить авторы трехтомника, датируется точно: «В 60-е годы XVIII века возникает ряд произведений русской общественной мысли, представляющих собой ранние памятники русской антифеодальной идеологии».¹ И далее характеризуются работы Я. Козельского, С. Десницкого, Д. Аничкова. Однако ранее, в главе второй, мы находим утверждение, что уже в период 1730—1750-х годов «на первый план выходят передовые писатели, выступающие активными борцами за дело дальнейшего государственного и культурного развития страны. Они воодушевлены идеями просветительства и проникнуты сознанием того, что литература является в их руках влиятельной общественной силой».² Далее мы узнаем, что русскому классицизму в целом были свойственны «общие просветительские тенденции». Оказывается, следовательно, что и русский классицизм и вообще основные деятели русской литературы 1730—1750-х годов «воодушевлены» просветительскими идеями или проникнуты просветительскими тенденциями, т. е. просветители в русской литературе появились еще до того, как появилось просветительство. . .

Нам кажется, что противоречивость, которую обнаруживают авторы «Истории русской литературы» в этом вопросе,

¹ История русской литературы в трех томах, т. I. Изд. АН СССР, М.—Л., 1958, стр. 457.

² Там же, стр. 408.

не является только их логической ошибкой. Это противоречие возникает неизбежно при столкновении общепринятой схемы с реальными фактами истории и литературы. В то время как очень многочисленные факты убеждают в том, что просветительство возникло в русской литературе задолго до 1760-х годов и что идеологией просветительства в основном определялась литературная деятельность крупнейших поэтов первой половины XVIII в., от Кантемира до Ломоносова, в наших историко-литературных трудах продолжает пересказываться исторически неверная, устаревшая схема развития и истоков русского просветительства XVIII в., согласно которой просветительство как направление общественной мысли появилось в России только в 1760-е годы.

Конечно, авторы трехтомника не могли пересмотреть заново всю историю литературы и общественной мысли первой половины XVIII в., но для нашей науки в целом решение этого вопроса представляется чрезвычайно важной и актуальной задачей, так как без ясного ответа на вопрос о начале и об истоках русского просветительства невозможно дать правильную характеристику целой, притом очень значительной, литературной эпохе конца XVII — начала XVIII в. Только на основе исторически обоснованного решения вопроса о начале русского просветительства можно объяснить действительную сущность того качественного скачка, который сделала русская литература во второй трети XVIII в. по сравнению с литературой предшествующих эпох — феодальной Руси и самодержавно-абсолютистского государства.

При изучении истории русского просветительства и его взаимоотношений с литературой нужно прежде всего условиться о терминах и понятиях. Обычно, когда говорят о русском просветительстве, ссылаются на известную ленинскую характеристику русских просветителей и привлекают ее как мерило для определения принадлежности того или иного деятеля русской культуры к просветительству. По Ленину, просветительство 1840—1860-х годов характеризуется тремя чертами. Первой характерной чертой просветительства Ленин считает «горячую вражду» «к крепостному праву и *всем его* порождениям в экономической, социальной и юридической области (...). Вторая характерная черта, общая всем русским просветителям, — горячая защита просвещения, самоуправления, свободы, европейских форм жизни и вообще всесторонней европеизации России. Наконец, третья характерная черта „просветителя” это — отстаивание интересов народных масс, главным образом крестьян (которые еще не были вполне освобождены или только освобождались в эпоху просветителей), искренняя

еера в то, что отмена крепостного права и его остатков принесет с собой общее благосостояние, и искреннее желание содействовать этому. Эти три черты и составляют суть того, что у нас называют „наследством 60-х годов”...».³

Одно из прочных завоеваний нашей науки — это понимание того, что и русское просветительство, как любое другое явление общественной мысли, имеет свою историю, что оно не возникло сразу в готовом и совершенно развитом виде, а прошло целый ряд этапов в соответствии с общим ходом исторического процесса в России. Поэтому мы считаем, что вполне правомерно говорить о просветительском содержании взглядов того или иного писателя XVIII в., хотя бы он еще и не выступал как сознательный защитник интересов народных масс или убежденный враг крепостного права.

На основе такого строго исторического понимания природы и эволюции просветительства ведется у нас изучение его явлений во второй половине XVIII в. В отношении же просветительства первой половины XVIII в. и его связей с русской литературой исследователями до сих пор владеет непонятная робость, преодолеть которую, при должном учете всех сторон вопроса, необходимо как можно скорее.

Полезно было бы нам внимательно учесть опыт наших товарищей, изучающих французское или немецкое просветительство в развитии, на разных этапах его истории. В отношении французского просветительства, например, всегда указывается на различие двух его этапов, границей между которыми является рубеж 1740—1750-х годов. С. С. Мокульский в «Истории французской литературы» так характеризует каждый из этих этапов развития просветительства во Франции: «Именно в годы Регентства (1715—1723) начинается во Франции первая волна просветительского движения, возникающего под английским влиянием и окрашенного на первых порах в цвета деизма и политического конституционализма английского образца. Идеями вождями этого раннего Просвещения были Монтескье и Вольтер».⁴ «К середине XVIII в. первый период Просвещения, период собирания революционных сил и постепенного просачивания просветительских идей в художественную литературу, заканчивается. Просветительское движение переходит в новую стадию, отмеченную господством более радикальных философских и политических учений. Деизм сменяется

³ В. И. Ленин, Сочинения, т. 2, стр. 472.

⁴ История Французской литературы, т. I. Изд. АН СССР, М.—Л., 1946, стр. 594.

атеизмом и материализмом, пропаганда „просвещенного абсолютизма” — распространением республиканских взглядов».⁵

Исследователи истории немецкого просветительства обычно подробно останавливаются на борьбе Лессинга против Готшеда и готшедианцев, представлявших более раннюю формацию немецкой просветительской мысли. Вопрос же о начале и общем ходе развития русского просветительства в XVIII в. еще не только не решен, но и не поставлен с необходимой ясностью.

Сколько-нибудь внимательное изучение идеологии и творчества Кантемира, Третьяковского, Ломоносова, Сумарокова и других литературно-общественных деятелей 1730—1750-х годов (о которых в трехтомнике говорится, что они были «воодушевлены просветительскими идеями») убеждает в том, что вся их деятельность базируется на идеологических основах, созданных ранее, т. е. в Петровскую эпоху и в значительной степени самим Петром I и его сторонниками. Петровские реформы своим практически-жизненным содержанием породили новые для русской идеологической жизни идеи. Уже к 1720 г. представление о переломе в истории страны, произведенном Петром, о двух Россиях, «старой» и «новой», всецело завладевает сознанием современников и становится отправным пунктом всех русских идеологических построений первой половины XVIII в. Феофан Прокопович уже в 1716 г. говорил: «Что бо была Россия прежде так не долгого времени и что есть ныне?»⁶ Вслед за ним Кантемир, Третьяковский, Татищев, Ломоносов, Сумароков неизменно исходили в своих общественно-политических суждениях из представления о решающем влиянии, которое оказала личность и деятельность Петра Великого на весь ход русской истории конца XVII—первой половины XVIII в. Таким образом, просветительская идея просвещенного абсолютизма («философ на троне») как орудия национального общественного и культурного прогресса возникла в русских условиях первых десятилетий XVIII в. как идеализированное отражение деятельности Петра Великого. Если французские просветители 1720-х годов вынуждены были обращаться к далекому прошлому, к событиям более чем столетней давности, чтобы найти в национальной истории материал для создания образа просвещенного и добродетельного монарха (Генрих IV в посвященной ему поэме Вольтера), то русским сторонникам просвещенного абсолютизма этого делать было не надо.

⁵ Там же, стр. 595.

⁶ Феофан Прокопович. Слова и речи, ч. I. СПб., 1760, стр. 110 («Слово похвальное в день рождения царевича Петра Петровича»).

Поразительные итоги петровских реформ говорили сами за себя: за четверть века Россия выдвинулась в ранг сильнейшей европейской державы, которой, как казалось тогдашним русским деятелям, предначертана великим преобразователем прямая дорога непрерывного культурного прогресса. Общее мнение хорошо выразил в 1759 г. Сумароков: «До времен Петра Великого Россия не была просвещена ни ясным о вещах понятием, ни полезнейшими знаниями, ни глубоким учением; разум наш утопал во мраке невежества, искры остроумия угасали и воспламениться не имели силы. Вредительная тьма разума приятна была, и полезный свет тягостен казался. . . Возмужал Великий Петр, взошло солнце, и мрак невежества рассыпался. Обманулись невежи и упрямцы, с суеверами, возбуждителями своими, в мерзкой своей надежде <...>. Властолюбие и лихоимство бессовестных людей прибегали к суеверию, суеверие — к варварству; ибо варварство во все времена паче всего суеверию повиновалось».⁷

Но Петровская эпоха не только содействовала созданию в России идеологии просвещенного абсолютизма. В первую четверть XVIII в. впервые в истории русской общественной жизни была создана внерелигиозная политическая идеология, притом идеология официальная, государственная. Ее создавал и развивал сам Петр в своих законодательных актах и его ближайшие сотрудники — Шафиров, Прокопович. Хотя в официальной политической литературе Петровской эпохи встречаются неизбежные ссылки на божественное предопределение, петровский абсолютизм идеологически обосновывался, по существу, вне всякой связи с религией и церковью. Феофан Прокопович в «Правде воли монаршей» (1722) утверждал, как указал П. Морозов, что всякое правительство основано на общественном договоре: «имеет начало от первого в сем или оном народе согласия».⁸ Таким образом, официальный программный правительственный документ опирался на теории общественного договора и «естественного права», на Гуго Гроция, а не на апостола Павла. Через десять лет Феофан уже в духе гоббсовской апологетики абсолютизма станет объяснять происхождение власти в обществе всеобщей враждой и страхом человека за свою жизнь и безопасность в условиях «естественного» состояния: «Верховная в человецех власть — сия то есть и злострастиям человеческим узда, и человеческого сожительства ограда, и обережение, и заветреннее пристанище.

⁷ А. П. Сумароков Слово похвальное о государе императоре Петре Великом. Трудолюбивая пчела, изд 2-е, СПб., 1780, стр. 582—583.

⁸ П. О. Морозов Феофан Прокопович как писатель. СПб., 1888, стр. 303

Если бы не сие, уже бы давно земля пуста была, уже бы давно исчезл род человеческий. Злобы человеческие понудили человек во един общества союз и сословие собираться и предержащими властями, силою, от всего народа, паче же от самого Бога, данною, вооруженными хранить и заступати себе как от внешних супостатов, так и от внутренних злодеев». ⁹ И с этой теоретической предпосылкой согласуется практический вывод Феофана о спасительности абсолютизма (единодержавия, как он говорит) для России: «Пушай кто хочет диспутует и в рассуждении трудится, который лучший и который худший правительства образ и который которому народу угодный или противный? А нам все того взыскание стало ненужное, излишнее; научили нас, что нам добро и что зло, многолетних времен искусства (<...>). Се и в недавные годы, когда неким похотелось правительства Шуйского, что с нами быти имело, нетрудно всякому рассудити. Но (<...>) бог (<...>) наступившее оное бедство прогнал умирающей монархии оживлением». ¹⁰

Мысль о том, что самодержавие для России — единственное спасение и что только самодержавный, абсолютистский строй может вести страну по пути общественного и культурного прогресса, не была на рубеже 1720—1730-х годов только иллюзией или сознательным лицемерием, как это стало полустолетием позже. Практически-реформаторская деятельность Петра в конечном счете служила интересам господствующего класса помещиков. Но, осуществляя свои реформы, создавая абсолютистскую дворянскую монархию, Петр содействовал общенациональному культурному прогрессу. Деятельность Петра и его сподвижников во многих случаях выходила за рамки конкретных классовых интересов дворянства и служила интересам общенациональным. Поэтому созданная в Петровское время официальная идеология с ее теорией «общественного договора» и полным подчинением личности «общему благу», с превращением церкви в слугу государства и секуляризацией общественной мысли, с утверждением ценности личных заслуг, а не «породы», с идеей широкого светского образования, уже с 1730-х годов, в условиях послепетровской реакции, когда не общенациональные задачи, а исключительно классовые интересы помещиков определяли политику самодержавия, была переосмыслена новым течением русской общественной мысли — просветительством.

Парадоксальность положения заключалась в том, что наиболее завершенная, полная, всеохватывающая стадия развития

⁹ Феофан Прокопович. Слова и речи, ч. III. СПб., 1762, стр. 80.

¹⁰ Там же, стр. 173—175.

абсолютизма в России вынуждена была окончательно порвать с идеологическим наследием русского средневековья — с религией как основой официальной идеологии — и опереться на самое прогрессивное достижение европейской культуры XVII столетия — на философский рационализм в его различных вариантах. Так, самому Петру был ближе математический метод гоббсовского «Левиафана», а Прокопович больше склонялся к картезианству и протестантской рационалистической теологии.

Не бог и не религия, не отцы церкви и официальная богословская наука, а разум как единственный критерий, как всеобщая мера вещей — таков был исходный пункт всех идеологических построений Кантемира, Татищева, Тредиаковского — русских просветителей 1730-х годов, которым пришлось действовать после Петра, в условиях все усиливающегося к середине века влияния реакционного духовенства на общественную жизнь и культуру страны.

Как уже говорилось, второй характерной чертой просветительства, общей всем русским просветителям, была «горячая защита просвещения, самоуправления, свободы, европейских форм жизни и вообще всесторонней европеизации России».¹¹

В 1730—1750-е годы «горячая защита просвещения» как одного из условий «всесторонней европеизации России» была великой исторической миссией русского просветительства и сто величайшей исторической заслугой. Беспощадное разоблачение в сатирах Кантемира реакционных церковников, обскурантов и сановных невежд имело такое же общественное значение, как попытка Тредиаковского превратить собрание переводчиков при Академии наук в Российскую академию, которая должна была бы выработать для России новый литературный язык и обосновать новые принципы литературного творчества. «Горячая защита просвещения», таким образом, требовала деятельности двоякого рода: позитивной и негативной. Нужно было одновременно и строить новую культуру, и защищать тот общественный строй, который представлялся просветителям единственной опорой этой новой культуры, т. е. просвещенный абсолютизм, от всех его противников — и из народной, и из аристократической среды.

Позиция Кантемира в борьбе с «верховниками» хорошо известна. Тредиаковский в своих одах 1730-х годов пользуется любым поводом, чтобы вспомнить о «верховниках» и осудить их. В оде на возведение на престол Анны Иоанновны он писал (в начале 1733 г.):

¹¹ В. И. Ленин, Сочинения, т. 2, стр. 472.

Со злобами стали все слепы,
 Шатались больше, неж пиани,
 Обуяли, к разуму звани,
 И се умыслы чинят в, гордости не лепы.
 Мнят, что Россию утверждают,
 Ухищряют правило не право,
 Шепчет им гордость, что то здраво.
 Ах, не видят, не видят, что тем разоряют

Ломоносов в «Петре Великом» изображает стрелецкий бунт как величайшую опасность для всей страны, для ее национального существования. Именно русские просветители 1730—1750-х годов вводят в русское общественное сознание идею просвещенного абсолютизма, подчиняя пропаганде и утверждению этой «просвещенности» все свое творчество и не отличаясь в этом смысле от своих французских или немецких современников. В 1730—1740-е годы и Вольтер, и Готшед (при всех различиях между ними) придерживались очень сходных взглядов на прогрессивность и даже спасительность просвещенного абсолютизма для культурного развития и общественного прогресса. Эта вера в спасительность просвещенного абсолютизма и его всемогущество сохранялась, как известно, у французских просветителей еще в 1770-е годы. Такой замечательный мыслитель и политический деятель, как Тюрго, был убежден, что при помощи абсолютистской власти он сможет мирно превратить Францию из абсолютистско-дворянской монархии в буржуазное государство. Ему понадобилось два года пребывания на посту генерального контролера, чтобы излечиться от своих просветительских иллюзий.

Но в первой половине XVIII столетия просвещенный абсолютизм еще не обнаружил свою практическую несостоятельность, и потому его защита, его поэтическое восхваление было у русских просветителей выражением их глубокой веры в возможность длительной культурной «революции сверху».

Как указывал В. И. Ленин, «просветители не выделяли, как предмет своего особенного внимания, ни одного класса населения, говорили не только о народе вообще, но даже и о нации вообще».¹²

В представлении русских просветителей первой половины XVIII в. «горячая защита просвещения» отвечала интересам всей нации, без различия сословий. Поэтому и такие несомненные защитники интересов дворянства, как Кантемир, Татищев, Сумароков, были искренне убеждены в том, что они создают общенациональную культуру, и это убеждение придавало

¹² Там же, стр. 493.

необходимую энергию их общественно-литературной деятельности.

Русские просветители 1730—1750-х годов создали русскую литературу, являющуюся выражением самосознания нации. Литература Петровской эпохи в общем довольствовалась старыми литературными жанрами, но они получили новое содержание. Так, пережили своеобразный расцвет в начале XVIII в. церковная проповедь и виршевая панегирическая поэзия. Новый жанр повествовательной прозы, возникший в начале XVIII в. (так называемая «петровская» повесть), изображал частную судьбу, не соотношенную с ходом истории и общенациональными задачами. Да и самый исторический перелом в жизни России никак не был осмыслен безымянными создателями повестей о Василии Кириацком и дворянине Александре. Изменившиеся условия жизни они воспринимали как нечто само собой разумеющееся и очевидное, не нуждающееся ни в оценках, ни в сопоставлении с недавним прошлым, ни тем более в защите. Не через эти повести пролегал путь к литературе общенациональной.

Во Франции общенациональную литературу создал в XVII в. классицизм. К тому времени, когда русским просветителям пришлось самостоятельно решать проблему создания общенациональной литературы, французский классицизм завершил основную фазу своего художественного развития. Спор «древних» и «новых», закончившийся победой последних, был началом нового периода в развитии французской литературы, сущность которого состояла в подчинении литературных жанров, созданных классицизмом, пропаганде просветительских идей.¹³ В России зачинатели классицизма были одновременно и основоположниками просветительства. Русская литература XVII—начала XVIII в. не знала тех жанров, в которых с наибольшей силой могли быть выражены новые идеи и прежде всего «горячая защита просвещения» и просвещенного абсолютизма как орудия культурного прогресса. Такие жанры появились к 1730-м годам — это были сатира и ода. Именно с сатир Кантемира и од Тредиаковского начинается история русского классицизма.

Самый ход этого развития показателен. Не было и не могло быть решения «завести» у себя классицизм, подобно тому, как создали флот и Академию наук, но острая потребность общественной жизни заставила Кантемира обратиться от любовных

¹³ См. об этом: Н. А. Сигал Спор древних и новых. (У истоков французского просвещения). В кн.: Романо-германская филология. Изд. ЛГУ, Л., 1957, стр. 251.

песен к жанру сатиры, а Тредиаковского, переведившего за границей любовно-аллегорический роман, взяты по возвращении в Россию за разработку жанра оды. И уже через несколько лет, 14 марта 1735 г., Тредиаковский в знаменитой своей речи в «Российском собрании» выступил с идеей своего рода «петровской реформы» всей современной ему литературы. Реформа эта включала создание грамматики «доброй и исправной, согласной мудрых употреблению и основанной на оном», словаря «полного и довольного», риторики и «стихотворной науки». При этом Тредиаковский очень хорошо понимал огромность и трудность исполнения своих планов: «Сия трудность есть превелика; однако она не из таковых, чтобы не возмогла быть преодолена. Всегдашнее тщание, непрестанное размышление, неусыпный труд и на преждиком море строит города, и на превысокие горы взводит реки, и в преглубоких безднах находит перла. Знаю, что трудно будет начало, но своя есть честь и начатию. Ведаю, что скучно будет продолжение, но и с тем громкая сопряжена слава. А из полезного окончания коликая похвала, коликие благодарения и коликие прославления произойти могут, кто сего не чувствует? Кто сего уразуметь не может? Одно б разве сие токмо отвратить от предприятия нас могло, что не надеемся мы быть щасливы в окончании и что другим сей преславный жребий готовится, а не нам (. . .). На что нам завидовать щастью и славе других в окончании, когда, довольно одного и оныя с нас в начатии и продолжении? (. . .) не начиная же ничего, ничего и не будет».¹⁴

Намеченной Тредиаковским программы литературных реформ хватило на целое полустолетие. А «дикционарий», в котором по его мнению заключалась «вся сила», был выпущен Российской академией только в 1789—1794 гг.

Тот разрыв с допетровской Русью, который, по представлению русских просветителей, совершил Петр в государственном масштабе, Тредиаковский хотел осуществить в литературе. Его реформа стиха была как бы завершением начатой Петром секуляризации русской культуры. Отвергнув в предисловии к «Езде в остров любви» славянский язык потому, что «он у нас есть язык церковный», Тредиаковский реформировал и силлабическую систему стихосложения, которая ему представлялась частью церковно-школьного обихода, а следовательно, несла на себе печать средневеково-схоластического, «неразумного» происхождения и потому должна была быть отброшена совершенно.

¹⁴ В. К. Тредиаковский, Стихотворения, Библиотека поэта, Большая серия, изд. «Сов. писатель». Л., 1935, стр. 330.

Процесс постепенного развития и обогащения русского классицизма в первой половине XVIII в. совершался в основном на рационалистически-просветительской основе, если брать классицизм в целом, не останавливаясь на борьбе направлений внутри него и на особенностях индивидуальных творческих позиций. Конечно, два наиболее значительных программных произведения русского классицизма — «Две епистолы» (1748) Сумарокова и «Риторика» (1748) Ломоносова — обнаруживают разный подход к поэтическому слову, однако по своим установкам они воодушевлены чисто просветительским отношением к литературе, к ее общественно-воспитательскому значению.

Приведу только один пример. Сумароков в епистоле «О стихотворстве» подробно излагает свою точку зрения на стихотворную сатиру и басню, т. е. жанры, в наибольшей степени рассчитанные на непосредственное воспитательно-дидактическое воздействие на читателя. При этом неподражаемым образцом баснописца для Сумарокова является Лафонтен:

Склад басен должен быть шутив, но благороден,
И низкий в оном дух по простым словам пригоден,
Как то де Лафонтен разумно показал
И басенным стихом преславлен в свете стал,
Наполнил с головы до ног все притчи шуткой
И, сказки пев, играл все тою же погудкой
Быть кажется, что стих по воле он вертел,
И мнится, что, писав, ни разу не вспотел;
Парнасски девушки пером его водили
И в простоте речей искусство погрузили.

В свою очередь Ломоносов в «Риторике» (1748) дает определение притчи, которую он отличает от басни, и подкрепляет свои очень краткие рассуждения тремя переводами басен Лафонтена. Оба поэта видят в басне жанр значительный по своей общественной роли, по своим открыто дидактическим возможностям. Такое отношение к басне вытекало из общей рационалистически-просветительской основы, на которой создавался русский классицизм. Недаром позднее Белинский счел возможным выделить в русской литературе XVIII в. особое сатирическое направление как наиболее исторически и общественно ценное.

Возникшее на рубеже 1720—1730-х годов русское просветительство изменялось в соответствии с общим ходом исторического развития России. К концу 1750-х годов русский абсолютизм все больше превращался в деспотию, а в духовной жизни страны все сильнее становилось хозяйничанье реакционных церковников. В этих условиях у русских просветителей

критика абсолютизма начинает занимать гораздо больше места, чем его апологетика.

Характерно, что Кантемир, по словам Альгаротти, знавшего сатирика в последние годы его жизни в Париже, называл свободу «небесной богиней, которая <...> делает приятными и улыбающимися пустыни и скалы тех стран, где она благоволит обитать».¹⁵ Биограф Кантемира аббат Гуаско писал о нем, что «его восхищала Англия, где парламент сдерживает власть монарха в определенных пределах и не позволяет ей стать выше законов, ограждая подданных от печальных последствий самовластия».¹⁶

Тредиаковский свои просветительские убеждения и политические взгляды выражал большей частью в переводах. Значение для русских читателей переведенной Тредиаковским «Аргениды» очень хорошо определил Л. В. Пумпянский: «Тредиаковский — абсолютист, вне монархии он не видит возможности национального единства, но, переводя «Аргениду», он, в сущности, выступает с уроком царям».¹⁷

С 1749 г. основным делом жизни Тредиаковского стал перевод «Древней истории» и «Римской истории» Шарля Роллена. Г. Лансон очень остроумно объяснил, почему «История» Роллена воспринималась в XVIII в. как явление просветительской литературы: «В рассказах из древней истории, с которыми обращался к молодежи этот старый мученик янсенизма <...>, мы находим по меньшей мере одну вещь, которую он усматривает в древности и на которую указывает, не подозревая всего ее разрушительного значения для установленного порядка: непреклонную энергию характеров, добровольное и постоянно повторявшееся принесение в жертву интересов, привязанностей и самых жизней ради отечества, свободы или добродетели. Курс истории доброго Роллена <...> был курсом республиканской нравственности; он пробуждал в сердцах такие чувства, такую потребность свободной и великодушной деятельности, которые в конце концов делали для них невыносимым существовавший общественный порядок».¹⁸

«Тилемахида» Тредиаковского в советской науке получила, наконец, должную оценку, впервые высказанную А. С. Орло-

¹⁵ Ф. Я. Прийма. Антиох Дмитриевич Кантемир. В кн.: А. Д. Кантемир. Собрание стихотворений, Библиотека поэта, Большая серия, изд. «Сов. писатель», Л., 1956, стр. 41.

¹⁶ В. Я. Стоюнин. Князь Антиох Кантемир. В кн.: А. Д. Кантемир. Сочинения, т. I, СПб., 1867, стр. VI.

¹⁷ История русской литературы, т. III, Изд. АН СССР, М—Л., 1941, стр. 245.

¹⁸ Г. Лансон. История французской литературы, т. II, М., 1898, стр. 126—127.

вым: «Критика и оппозиция абсолютной монархии, пацифистские идеи и утопические уроки Фенелона, переведенные Тредиаковским, не только обидели Екатерину, но показались ей прямо опасными, так как через издание „Тилемахиды” входили в общественное обращение».¹⁹

Одическое творчество Ломоносова всегда, в сущности, было оппозиционно к правящему монарху. Каждому царствованию противопоставлялась идеальная программа необходимой деятельности, ретроспективно обращенная к прошлому, чаще всего к Петру I. При этом характерно, что только перемена фигур на троне позволила Ломоносову дать должную оценку минувшему царствованию. Его стремление воспевать «героев славы вечной» не находило для себя опоры и материала в конкретной деятельности царствующих особ. В «Разговоре с Анакреонтом» у Ломоносова явственно звучит сомнение в правильности выбранной им общественно-литературной позиции, сомнение, так сказать, в результативности героического стоицизма:

Анакреонт, ты был роскошен, весел, сладок,
Катон старался ввести в республику порядок,
Ты век в забавах жил и взял свое с собой,
Его угрюмством в Рим не возвращен покой.

В черновых заметках, сделанных в самом конце жизни (в 1764 г.), Ломоносов пророчески предсказывал неизбежный взрыв народного недовольства: «Я не тужу о смерти: пожил, потерпел и знаю, что обо мне дети отечества пожалеют. Ежели не пресечете, великая буря восстанет».²⁰

Русские просветители первой половины XVIII в. еще не пытались разрешить крестьянский вопрос или даже поставить его в центр внимания, сделать его предметом серьезного изучения. Однако общественное неравенство, сословные противоречия не были от них скрыты. И в этом вопросе уже просветители 1720—1730-х годов по-своему переработали идеологическое наследие Петровской эпохи.

Взамен официально-религиозного взгляда на человека и его отношение к государству Петр усвоил идеи, которые развивались теоретиками «естественного права» из лагеря сторонников абсолютизма. Он считал, что основой власти в государстве является страх и что человек в «естественном» состоянии подчиняется только инстинктам (страстям). Поэтому только

¹⁹ А. С. Орлов. «Тилемахида» В. К. Тредиаковского. Сб. «XVIII век», вып. 1, Изд. АН СССР, М.—Л., 1935, стр. 23—24.

²⁰ М. В. Ломоносов, Полное собрание сочинений, т. 10, Изд. АН СССР, М.—Л., 1957, стр. 357 (План беседы с Екатериной II, 26 февраля—4 марта 1765 г.)

государственная власть абсолютной монархии может оказать на него воспитывающее, облагораживающее действие. В одном из своих указов от 5 ноября 1723 г. Петр писал: «Понеже наш народ, яко дети, неучения ради, которые никогда за азбуку не примутся, когда от мастера не приневолены бывають, которым сперва досадно кажется, но когда выучатся, потом благодарят, что явно из всех нынешних дел, не все ль неволею сделано, и уже за многое благодарение слышится, от чего уже плод произошел».

Русские просветители 1730-х годов уже не разделяют подобного взгляда на человека (как на существо, нуждающееся в насильственном просвещении со стороны абсолютистской государственной власти). Они, хотя и с некоторыми колебаниями, становятся сторонниками идеи «естественного равенства» людей как морального равенства, — идеи еще сравнительно недавно, в конце XVII столетия, совершенно чуждой русской общественной мысли.

Татищев в «Разговоре о пользе наук и училищ» указывал на «свободу», как на естественное, данное от природы право каждого человека: «Понеже человек по естеству в защищении и охранении себя имеет свободу, того ради он также лишение своя воли терпеть более не должен, как до возможного к освобождению случая».²¹ Отношения слуги и господина он считал результатом свободного договора двух равных сторон.

Кантемир, при переработке своих сатир более последовательно развивая идею «естественного равенства», вставил во II сатиру (только в редакцию 1738 г.) знаменитые строки:

Та ж и в свободных
И в холопах течет кровь, та ж плоть, те ж кости
Буквы, к нашим именам приданные, злости
Наши не могут прикрыть.

Тредиаковский и Ломоносов в более осторожной форме, чем Кантемир, но с неменьшей убежденностью пользовались каждым удобным случаем, чтобы высказать эту же идею. В предисловии к первому тому своего перевода «Римской истории» Роллена Тредиаковский писал о ее авторе: «Был он, впрочем, муж низкого состояния по рождению: сын ножевого художника парижанина; он имел свыше превысокие дарования умственные и нравственные. Толь сие праведно, что разум и добродетель есть жребий всего человеческого рода, а не человек только породных».²²

²¹ В. Н. Татищев. Разговор о пользе книг и училищ. М., 1887, стр. 141.

²² Ш. Роллен. Римская история, т. I СПб., 1761, стр. Б

Ломоносов, критикуя академический регламент 1747 г., писал: «Другие европейские государства наполнены людьми учеными всякого звания, однако ни единому человеку не запрещено в университетах учиться, кто бы он ни был, и в университете тот студент почтеннее, кто больше научился; а чей он сын, в том нет нужды».²³ Так прямо он писал в служебном документе, для печати не предназначенном. Почти в то же время он дорабатывал свою «Риторику». Здесь он поместил (параграф 283) в числе других переводных «Разговоров», которые могут служить «к поправлению нравов», «Разговор Александра Великого и Ганнибала» Лукиана Самосатского. Речь Ганнибала представляет собой энергичную и страстную защиту личных заслуг против притязаний наследственного аристократа. В переводе Ломоносова Ганнибал следующим образом доказывает свое превосходство над Александром: «Итак, я говорю, что того, который, равно как я, возвысил себя своею собственною силою и счастье свое только одному самому себе должен, надлежит предпочесть тому, кто имеет свою славу от предков».²⁴

Конечно, русские просветители 1730—1750-х годов не сделали из теории «естественного равенства» тех революционных выводов, к которым пришла просветительская мысль позднее. Частично они еще надеялись на просвещенный абсолютизм (Третьяковский, Ломоносов), частично пытались совместить и согласовать идею «естественного равенства» с крепостным правом, хотя и были убежденными противниками наиболее варварских сторон последнего (продажи людей, жестоких наказаний, произвола господ и т. п.). При этом не только классовый интерес заставлял Татищева, Кантемира, Сумарокова защищать и идеологически обосновывать необходимость сохранения крепостного права, т. е. самой вопиющей формы сословного неравенства. В их представлении отмена крепостного права ставила под сомнение самое существование русского государства. Татищев, признававший «вольность» крестьян возможной и даже полезной в других государствах, считал, что она «с нашею формою правления монархического не согласует и вкоренившийся обычай неволи переменить не безопасно».

Такая позиция в решении основного политического вопроса общественной жизни XVIII в. — вопроса крестьянского — характерна для русского просветительства на протяжении всего столетия. Даже среди декабристов не было полного едино

²³ П. С. Билярский. Материалы для биографии Ломоносова. Спб., 1865, стр. 48.

²⁴ М. В. Ломоносов, Полное собрание сочинений, т. 7, Изд. АН СССР, М.—Л., 1952, стр. 343

мыслия по этому вопросу, а самостоятельное решение народом (крестьянством) своей судьбы представлялось катастрофичным для судеб нации в целом еще Пушкину.

Это не значит, конечно, что русское просветительство во второй половине XVIII в. ничем существенным не отличалось от просветительства 1730—1750-х годов. Просветительская мысль 1770—1790-х годов делает крестьянский вопрос предметом своего особого и пристального внимания; в русском просветительстве этого периода отчетливее звучат антидворянские ноты. Идея «естественного равенства» людей превращается в мысль о превосходстве человека из народа над представителями привилегированного сословия. Однако в целом русское просветительство додекабристской эпохи явственно носит на себе отпечаток сословно-дворянский, несмотря на значительное участие в нем разночинцев. Проблема непосредственного представительства интересов народа выдвигается русским просветительством впервые в 40-е и особенно 60-е годы XIX в., когда разночинец становится ведущей фигурой этого направления русской общественной мысли.

Но как бы ни была громадна разница между Чернышевским и его далекими предшественниками, наша наука не должна забывать и того общего, что их объединяет и позволяет говорить о единстве истории русской просветительской мысли при всем разнообразии индивидуальностей, ее создававших.





Ф Я Ш О Л О М

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ ИДЕИ В УКРАИНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ СЕРЕДИНЫ XVIII ВЕКА

Середина XVIII в. (примерно 1730—1780-е годы) в истории украинской культуры и литературы характеризуется усилением борьбы прогрессивных идей и тенденций с мертвящей схоластикой церковности, дальнейшим развитием элементов реализма и народности, зарождением новой украинской литературы. Эти передовые идеи, заложенные еще Феофаном Прокоповичем в первой трети века, получили свое развитие в лучших украинских произведениях середины XVIII столетия, в деятельности выдающегося украинского писателя и философа-просветителя Г. С. Сковороды (1722—1794), который был тесно связан с передовой русской общественно-политической мыслью, культурой и литературой, плодотворно влиявшими на его творчество.

В середине XVIII в. в России и на воссоединенной с ней Левобережной Украине достиг наивысшего развития феодально-крепостнический строй, в недрах которого уже начали зарождаться новые, буржуазно-капиталистические отношения. Начавшийся еще ранее кризис самодержавно-крепостнической социальной системы в России особенно усилился во второй половине XVIII в. Наряду с развитием промышленности, ростом числа мануфактур и наемных рабочих происходило дальнейшее закрепощение крестьянства. Количество крепостных во второй половине века (только за период царствования Екатерины II) увеличилось с 7,6 до 20 млн человек, составив более половины (55,5%) всего населения тогдашней России. Оформив юридически закрепощение украинских крестьян указом от 3 мая 1783 г., Екатерина II вместе с тем выдала в 1785 г. «Жалованную грамоту малороссийскому дворянству», которое после долгих домогательств получило, наконец, равные права с великороссийскими дворянами. Все это еще больше ухуд-

шило положение трудящихся, углубило социальную дифференциацию и противоречия внутри общества, обострило классовую борьбу. Разразившаяся в 70-х годах XVIII в. антикрепостническая война под водительством Емельяна Пугачева нашла живой отклик и горячую поддержку также и среди закрепощенного украинского крестьянства и казаков, выступивших против насильственного порабощения их как украинскими, так и русскими помещиками. В течение всего XVIII столетия на Украине вспыхивали одно за другим крестьянские восстания; особенно широкий размах получило гайдамацкое восстание 1768 г. под названием «Коліїщина», впоследствии воспетое Т. Г. Шевченко в псе́ме «Гайдамаки».

Злейший враг трудящихся всех национальностей тогдашней России, царизм, опираясь на реакционную верхушку местных помещиков и нарождавшейся буржуазии, жестоко угнетал нерусские народы. В 1764 г. царизм упразднил на Украине гетманскую власть, заменив ее так называемой Малороссийской коллегией; указом от 3 августа 1775 г. Екатерина II ликвидировала Запорожскую Сечь, «причислив оную к Новороссийской губернии».

Однако, несмотря на руссификаторскую политику царизма, жестоко подавлявшего национально-освободительное движение, постоянно пресекавшего стремления к созданию украинской государственности и чинившего всяческие препятствия развитию украинского языка и культуры, в ходе общей борьбы против самодержавно-крепостнического гнета и иноземных захватчиков развивалось и крепло боевое содружество русского и украинского народов.

При благотворном воздействии передовой русской культуры и литературы в середине XVIII в. на Украине возникли и стали развиваться прогрессивные просветительские идеи, появились новые литературные жанры, в частности социально-политическая сатира, обличавшая феодально-крепостнический строй и защищавшая права простого народа.

Важную роль в развитии передовых просветительских идей в XVIII в. играла также Киево-Могилянская академия, служившая до середины XVIII в. одним из главных поставщиков кадров образованных людей не только для Украины, но и для многих районов России. Именно из ее стен вышли такие, впоследствии известные деятели русской культуры и литературы, как Епифаний Славинецкий, Арсений Сатановский, Симеон Полоцкий, Дмитрий Ростовский, Стефан Яворский, Феофан Прокопович, Лаврентий Горка, Гавриил Бужинский, Иоанн Максимович, Михаил Козачинский, Гедеон Сломинский, Георгий Конисский, Яков Козельский, Иоиль Быковский и многие

другие. Существует предположение, что в 1733/34 учебном году в Киево-Могилянской академии учился и М. В. Ломоносов. Хотя во второй половине XVIII в. Киевская академия постепенно превращалась фактически в высшее духовное учебное заведение,¹ все же и в этих условиях, несмотря на подавление со стороны реакционеров свободолобивых тенденций, среди различного студенчества и преподавателей распространялись передовые идеи и сочинения русских просветителей XVIII в., писателей и ученых, — А. Д. Кантемира, М. В. Ломоносова, В. К. Тредиаковского, А. П. Сумарокова, Н. И. Новикова, а также революционные идеи А. Н. Радищева, обличительные произведения которого нашли широкий отклик и на Украине (в Государственной публичной библиотеке УССР в г. Киеве хранится экземпляр первого издания «Путешествия из Петербурга в Москву», попавший на Украину вскоре после напечатания книги в 1790 г.).

Во второй четверти XVIII в. профессорами и студентами Киево-Могилянской академии были написаны и поставлены чрезвычайно интересные в идейно-художественном отношении драмы и интермедии. Так, созданная неизвестным автором историческая драма «Милость божія, Украину от неудоб носимых обид лядских чрез Богдана Зиновія Хмельницкого преславнаго войск запорозких гетмана свободившая, и дарованными ему над ляхами побѣдами возвеличившая, на незабвенную толиких его щедрот память репрезентованная в школах кievских 1728 лѣта» была посвящена народно-освободительной войне 1648—1654 гг. и воссоединению Украины с Россией. В драме нашла яркое отражение идеология рядового украинского казачества, выступавшего за свои права, против угнетения казацкой старшиной. С большой любовью нарисован образ главного героя драмы — Богдана Хмельницкого, в лице которого простые украинские казаки видели своего пламенного защитника и освободителя.

Начавшийся еще со времени появления трагедокомедии «Владимир» Феофана Прокоповича упадок украинской школьной драмы церковно-религиозного содержания особенно четко проявился в 30—40-е годы. Профессор Киевской академии по классу пиитики, автор латинского курса теории поэзии Митрофан Довгалеvский, написавший, согласно существовавшей тогда академической традиции, две церковно-религиозные драмы — рождественскую «Комическое дѣйствие» и пасхальную «Властотворный образ», вдохновил своих слушателей, по

¹ Только в 1819 г. Киево-Могилянская академия была преобразована в Киевскую духовную академию.

всей вероятности прогрессивно настроенных студентов, на сочинение десяти интермедий к этим драмам. При этом интермедии к первой драме по своему объему значительно превзошли основной текст пьесы. В интермедиях показаны социальные противоречия и классовая борьба, дружба и взаимопомощь между представителями трудящихся России и Украины, в частности братская помощь русского солдата украинскому казаку в борьбе против польского пана-шляхтича:

Козак: А доки ж вы, бестелюги,² будете звагати,
Чи то ми вас не зможем кіямы прогнати,
Земку, о земку,³ швидко давай поратунку,
Ос тут добичи озмем не одну вже сунку.
Москаль: Што они тебя, гаспадин пан казак, не ругают ли?
Козак: Деж пак не лают? от так лают, що аж лихо!
Москаль: Дабро ти, казак, вос ми убіером их тихо
Поляк: *Numy też bracia chwytacie do swego ogęza*
Aby nie utvacie żadnego żołnerza.
Москаль: Казак, приймайся, небоися, бери з плечи двоих,
А я тот час уберу долгополих от тих.
А то здез о рубежах они спаминали,
Будто ляшонки Украйну в областях держали, —
Добро, вот покажем рубежи кнутами на спинѣ.
Козак: І добре земочку, щоб другій памятав
Да и дѣдчои своеи дитинѣ закавав.⁴

Такое широкое отражение прогрессивной идеологии украинского трудового казачества в драматических произведениях 20—30-х годов не было случайностью. Оно, в частности, вытекало из социального состава студентов Киево-Могилянской академии: из общего количества 365 студентов, обучавшихся в ней в 1736/37 учебном году, насчитывалось 84 сына рядовых казаков и лишь 22 представителя казацкой старшины.⁵

В конце 30-х—начале 40-х годов XVIII в. на Украине становятся широко известными теоретические трактаты и литературные произведения А. Д. Кантемира, В. К. Тредиаковского и М. В. Ломоносова, распространявшиеся как в печатном виде, так и в рукописях, о чем свидетельствуют, например, многочисленные рукописные сборники, сохранившиеся до нашего времени в Отделе рукописей Государственной публичной библиотеки УССР в г. Киеве.⁶

² Обращение к польским шляхтичам.

³ Обращение к русскому солдату.

⁴ Киевская старина, 1897, № 10, Приложение, стр. 98.

⁵ Н. И. Петров. Акты и документы, относящиеся к истории Киевской академии, Отделение II, т. I, ч. 2. Киев, 1904, стр. VI—VII.

⁶ Подробно о влиянии А. Д. Кантемира, В. К. Тредиаковского и М. В. Ломоносова на украинскую литературу XVIII в см. в наших статьях: Ф. Я. Шолом, 1) Російсько-українські зв'язки в галузі громадсько-

Так, профессор Киево-Могилянской академии Михаил Козачинский (1699—1755), готовясь к предстоявшему в 1744 г. приезду Елизаветы Петровны в Киев, написал и издал в честь императрицы свой «Панегирик» и драму «Благоутробіе Марка Аврелія Антонина, кесаря римского». По всей вероятности, пьеса была поставлена на сцене Киевской академии 5 сентября 1744 г. в присутствии самой Елизаветы. Известный уже к этому времени поэт и драматург, автор исторической «Трагедии, сиречь печальной повѣсти о смерти послѣдняго царя сербскаго Уроша V-го и о паденіи Сербскаго царства», написанной и поставленной в 1733 г. в сербском городе Карловцы, Михаил Козачинский в своей драме «Благоутробіе Марка Аврелія», построенной на материале из истории римского императора-философа, в аллегорической форме прославлял российскую императрицу. Следуя содержанию и форме панегирических од М. В. Ломоносова, М. Козачинский, как справедливо заметил еще Н. И. Петров, «проводил в своих одах те же мысли и чувства, какие высказывал и Ломоносов в своих одах. Оба эти писателя были выразителями общих чувств русских людей, видевших в Елизавете свою родную государственную, освободившую их от владычества иноземцев».⁸ В стихотворениях М. Козачинского, как и в стихотворных опытах его современника, профессора Харьковского коллегиума Стефана Витинского, мы встречаемся с первой на Украине, хотя и не совсем удачной, попыткой использования принципа силлабо-тонического стихосложения, изложенного в 1735 г. В. К. Тредиаковским в «Новом и кратком способе к сложенію российских стихов».⁹ И хотя в художественном отношении «Панегирик» и особенно драма «Благоутробіе Марка Аврелія» не отличаются высокими качествами (к сожалению, не сохранились четыре интермедии к этой пьесе, которые, надо пола-

політичні поезії XVIII ст. Наукові записки Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка, т. XI, вип. IX, Філологічний збірник № 4, Київ, 1952, стр. 125—151; 2) Російсько-українські літературні зв'язки після возз'єднання України з Росією в 1654 році Нариси з історії російсько-українського літературного єднання у другій половині XVII—XVIII ст. Наукові записки Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка, т. XIII, вип. II, Збірник філологічного факультету № 6, Київ, 1954, стр. 27—60.

⁷ С. І. Маслов. Мануїл (Михаїл) Козачинський і його «Трагедія о смерти послѣдняго царя сербскаго Уроша V-го и о паденни Сербскаго царства» Радянське літературознавство, Київ, 1958, № 4, стр. 46—52.

⁸ Н. И. Петров. Очерки из истории украинской литературы XVII и XVIII вв. Киев, 1911, стр. 350.

⁹ П. Н. Берков. Ломоносов и литературная полемика его времени, 1750—1765. М.—Л., 1936, стр. 35, 38—40; С. І. Маслов. Мануїл (Михаїл) Козачинський і його «Трагедія. », стр. 52.

гать, были в большей степени связаны с реальной жизнью народа), все же обращение к исторической тематике в этой пьесе свидетельствовало о продолжении лучших традиций украинской школьной драмы, шедших еще от «Владимира» Ф. Прокоповича.

Интересные мысли обличительного характера, напоминающие до некоторой степени сатирические обличения Феофана Прокоповича и Антиоха Кантемира, высказаны в «Трагедокомедии о тщетѣ міра сего, составленной Варлаамом Лашевским и репрезентованной в Академіи кievской» около 1742 г.¹⁰ Автор остро бичует невежество:

Інні буквар толко ізучат единій,
 Да когда еще знают что и от латини,
 Запросы ис писаній вездѣ сочиняют, —
 Аки бы всѣх мудрѣйши были, притворяют, —
 А спросит к спасенію нужнѣйшого слова.
 Безотвѣтна увидеть того суеслова.¹¹

Написанная в духе церковно-религиозной, христианской морали, трагедокомедия В. Лашевского в аллегорических образах дочерей некоего Вротоса, гражданина города Космополя, — благочестивой Агафии и злочестивой Фавли — восхваляет благочестие и скромность и резко осуждает легкомыслие и разврат. Встретившись после смерти со своей добродетельной сестрой Агафией, злочестивая Фавля рассказывает ей о своем прежнем поведении и о тех муках, которые она терпит за свои грехи, испрашивая у сестры хоть какой-нибудь отрады:

Злочестива

Знаю и я, знаю,
 Как многих своим было образом прелщаю,
 Вимивахся по всяк час, нѣ ступив без мила;
 Благовонніе краски, драгіе белила
 Устроєвах на тваре, а чернія цвѣти
 Прилѣплях, зовомые мушки, на ланити.
 А ныне, яко зриши, твар оная бѣла,
 Как жупелем геенским вовся очернѣла;
 Краски моя суть нынѣ — огонь неугасимій,
 Аромата — в тлѣніи смрад ест нестрепимій.
 Мушки живіе, паче ль черв неусипаяй,
 По тварѣ и всем тѣлѣ сидит угрызая.

Благочестива

Помнишь ли, что вся та на грѣшних грядуща,
 Множицею рекох ти, еще в мірѣ суща?

¹⁰ Н. И. Петров. Очерки. . ., стр. 358—363

¹¹ Вол. Резанов. Драма українська, I. Старовинний театр український, вип. VI. Київ, 1929, стр. 150.

Злочестива

О, добрѣ помню. горе ж, что тѣм не внушая,
 Не престаюх никогда дерзать на вся злая!
 Увы мне, яко ходих по їгришах всюдо,
 По улицах, по валах расхождах без студу!
 Увы, мне, яко всяко їскусна бѣх лстити,
 И самими очима, умѣх говорити!
 Увы, яко на умѣ мнѣ танцы да плясы,
 Музики, студни лики беху по вся часы!
 Увы, яко в черезвах без всякаго срама
 Срамослових и воплих и плесках рукама!
 Увы, яко житіе проведох всецѣло,
 Едною сквернѣ плѣнивши и душу и тѣло! ²

Важным событием в учебной жизни Киево-Могилянской академии начала 40-х годов было знакомство украинских профессоров, читавших студентам курсы по теории поэзии и красноречию, с новыми теоретическими трудами и литературными произведениями русских авторов — А. Д. Кантемира, В. К. Тредиаковского и М. В. Ломоносова. Так, в курсе пиитики, прочитанном в 1743/44 учебном году, Тихон Александрович не только ссылается на А. Д. Кантемира как выдающегося русского поэта, но и приводит текст его второй сатиры — «На гордость и зависть дворян злонравных».¹³ В следующем учебном году в лекциях по теории поэзии, которые, как сейчас установлено, слушал и тогдашний студент Григорий Скворода, профессор Киево-Могилянской академии Гедеон Сломинский (позже, в 1758—1761 гг., ректор Московской славяно-греко-латинской академии) также обращается к творчеству А. Кантемира, который в представлении Сломинского выступает очень элегантно и ученым поэтом — «poëta elegantissimus ac doctissimus», пишущим чудесным стилем — «stylo venusto».¹⁴ Правда, сведений о теоретических трактатах В. К. Тредиаковского и М. В. Ломоносова в пиитике Сломинского мы еще не встречаем.¹⁵

Начавший в 1745/46 учебном году преподавательскую деятельность в Киево-Могилянской академии бывший ее воспи-

¹² Там же, стр. 146—147.

¹³ П. М. Попов З історії поетики на Україні (XVII—XVIII ст.) В кн.: Матеріали до вивчення історії української літератури в п'яти томах, т. I. Давня українська література (доба феодалізму-до кінця XVIII ст.). Упорядкували академік О. І. Білецький і доцент Ф. Я. Шолом. Изд. «Радянська школа», Київ, 1959, стр. 397.

¹⁴ Там же.

¹⁵ Подробно о пиитике Гедеона Сломинского см.: П. М. Попов, 1) Замітки до історії українсько письменства XVII—XVIII вв., I—III. Київ, 1923, стр. 13—23; 2) З історії поетики на Україні (XVII—XVIII ст.), стр. 392—403

танник Георгий Конисский (1717—1795), позднее профессор и ректор академии, а впоследствии Могилевский архиепископ (в Белоруссии), в интересно составленном курсе лекций по пиитике приводит в качестве примера оду М. В. Ломоносова на бракосочетание наследника Петра Федоровича и Екатерины Алексеевны (1745 г.), разбирая ее с точки зрения леонинского силлабического стихосложения.¹⁶

В том же 1746 г. на сцене Киево-Могилянской академии была показана специально написанная в подтверждение теоретических положений лекционного курса пиитики трагедо-комедия в 5 действиях (вместе с пятью интермедиями) Георгия Конисского «Воскресение мертвых обще убо всѣм будущее, но страждущим всем неповинно в вѣцѣ сем блаженно, а обидающим гибельно», которая явилась своего рода лебединой песнью украинской школьной драматургии XVIII в. В этой драме, несмотря на ее аллегорический и религиозно-поучительный характер, Г. Конисский резко осуждает лихоимство и взяточничество власть имущих, выступает против закрепощения украинских крестьян (в образе Гипомена) распоясавшимися феодалами-помещиками (Диоктит), представителями казачьей старшины. Как правильно замечает Н. И. Петров, «Г. Конисский коснулся самого больного места в тогдашней общественной жизни Малороссии, именно захвата казацкою старшиною чужих имений беззащитных казаков, и притом путем вопиющего неправосудия, и стал на сторону обижаемой меньшей братии».¹⁷ Наиболее показательным в этой связи является следующий диалог между богачом Диоктитом и бедняком Гипоменом:

Я В Л Е Н І Е 2

Диоктит з слугами, напавши на Гипомена, велит его в темницу отвести, сам же величается могуществом злоби, обещается Гипомена убить

Диоктит

Се он, се соперник мой, ловѣте, ловѣте!
Вязѣте, куйте, тотчас в темницу ведѣте!

Гипомен

За что ковать и вязать? Гвалт, панове, люде!
Виноват ли в чем тебе, — суд на тое буде.

(Вязут)

¹⁶ Н. Петров О словесных науках и литературных занятиях в Киевской академии от начала ее до преобразования в 1819 г. Труды Киевской духовной академии, 1866, № 7, стр. 327—328.

¹⁷ Н. И. Петров. Очерки .., стр. 367—368.

Диоктит

Буде, сподѣйся! Скоро ведѣте в темницу,
Приставте стрещи его стражей четверицу!

(Отводят. Сам говорит)

Что он мнѣ «суд» говорит? вѣт он тое знает,
Что Диоктит на судѣ и сам засѣдает:
Начнет на мя челом бит, буду стрѣшенній.
Да будут судить мои единомисленни, —
Чи не могут тѣ здѣлат ему волокити?
Чи не знают прав к моей части накрутити?
А буди бы стал на мя апеллюват вишше,
И в вишшем судѣ маю патронов излишше,
Нехай только кто схощет правду защищати,

(Капшукон трусит)

А сей мой Юда малой может доказати:
Ослѣплю очи дарми, руцѣ плѣню мздою, —
Хотя бы он и святій, потягнет за мною.

(З гневом говорит)

Или як маю тую денгу расточати,
А с харпаком безчестно на судѣ стояти?
Лучше прибую его в смерть, а тое самое
За голову заплачу, а хочай и вдвое.
Не стою о тысячу: и другіи знати
Будут, как Диоктиту грунтов не вступати.¹⁸

Не видя в силу своей социальной ограниченности конкретного выхода из создавшегося тяжелого положения украинских крестьян, Георгий Конисский «воскрешает» своих героев, воздавая им должное: за муки и терпение он помещает Гипомена в рай, а богача-эксплуататора Диоктита жестоко наказывает:

Дабы он (Диоктит, — *Ф. Ш.*) увидѣл суд божій неумитній.
Безмездній, безпоблажній и безволокитній.¹⁹

Драма «Воскресение мертвых» Г. Конисского представляет собой незаурядное явление в истории украинской литературы середины XVIII в., и не только потому, что ее автор больше других драматургов обнажил социальную несправедливость и пороки, следуя в этом отношении лучшим сатирам А. Д. Кантемира и произведениям М. В. Ломоносова, но и потому, что «в техническом отношении», «благодаря единству основной мысли <...> предмета и действия», она «долго

¹⁸ Вол. Резанов. Драма українська, стр. 161—162.

¹⁹ Там же, стр. 174

служила образцом драматических произведений этого рода и сохранилась в значительном числе списков»;²⁰ что, несмотря на книжный стиль изложения, она, однако, не лишена элементов украинского «народного языка, и местами ей присущи черты подлинно народного юмора».²¹

Будучи, по меткому выражению Н. И. Петрова, «одним из усерднейших проводников влияния севернорусской художественной литературы на южнорусскую»,²² «много заботясь, — по словам М. А. Максимовича, — о водворении русского языка между малороссиянами по образцам ломоносовским»,²³ Георгий Конисский сыграл значительную роль в деле распространения на Украине прогрессивных теоретико-литературных идей М. В. Ломоносова и В. К. Тредиаковского. В составленной им, как ректором Киево-Могилянской академии, академической инструкции 1752 г. официально сказано, чтобы в курсе пинтики «предложить de generibus carminum науку, и читать, например, на русском Феофановы или Ломоносовы (...) избрании стихи и роды стихов».²⁴

В последующие годы в стенах Киевской академии Игнатием Максимовичем была создана «Ода на первый день мая 1761 года», написанная под непосредственным влиянием од М. В. Ломоносова и сохранившаяся в рукописном сборнике середины XVIII в., полностью составленном из произведений Ломоносова.²⁵

Тема «Ломоносов и украинская литература XVIII в.» заслуживает специального большого исследования, так как в XVIII и начале XIX в. одним из самых популярных среди украинского народа писателей был несомненно М. В. Ломоносов. Это подтверждается многочисленными рукописными сборниками его стихотворений, составленными на Украине в XVIII в., а также популярностью ряда его стихотворений и в устной передаче, в частности в исполнении украинских лирников,²⁶ о чем очень хорошо рассказал в своих воспоми-

²⁰ Н. И. Петров. Очерки..., стр. 368.

²¹ История украинской литературы, т. I. Дооктябрьская литература. Изд. АН УССР, Киев, 1954, стр. 105.

²² Н. И. Петров. Очерки..., стр. 363—364.

²³ М. А. Максимович, Собрание сочинений, т. I, СПб., 1876, стр. 529.

²⁴ Макарий (Булгаков). История Киевской академии. СПб., 1843, стр. 127. Цит. по: П. М. Попов: З історії поезики на Україні (XVII—XVIII ст), стр. 403.

²⁵ Подробно об этом см.: Ф. Я. Шолом. Оди М. В. Ломоносова і українська поезія середини XVIII ст. Наукові записки Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка, т. XVIII, вип. II, 1954, стр. 40—45.

²⁶ Там же

наниях А. В. Никитенко.²⁷ Особенно большое влияние оказал М. В. Ломоносов на творчество Г. С. Сковороды и на формирование прогрессивных общественно-политических взглядов Я. П. Козельского, о чем пойдет речь ниже.

Говоря о внедрении в преподавательскую практику Киево-Могилянской академии, а также и украинских коллегий, открывшихся еще раньше в Чернигове, Переяславле и Харькове, прогрессивных идей русских просветителей XVIII в., следует особо упомянуть о том, что в рукописном сборнике 1767—1768 гг. сохранился лекционный курс пштики на русском языке под названием «Краткая наука о сложеніи російских стихов», составленный под непосредственным влиянием книг и статей В. К. Тредиаковского, М. В. Ломоносова и А. Д. Кантемира.²⁸

Лучшие, прогрессивные традиции украинской литературы середины и второй половины XVIII в. больше всего, конечно, выявились в интермедиях и «вертепной» кукольной драме, которые явились предшественниками новой украинской бытовой комедии начала XIX в., а также в общественно-политической поэзии и прежде всего в социальной сатире и бурлескно-юмористических виршах, так называемых «мандрівних дяків». Общественно-политическая сатира как жанр возникла в украинской литературе в начале 60-х годов XVIII в. Этому способствовало как общее развитие украинской культуры и литературы (развитие сатирических элементов в школьной драме, что привело к упадку последней), так и влияние сатирических сочинений русских писателей, в частности А. Д. Кантемира, М. В. Ломоносова, А. П. Сумарокова.²⁹

Характеризуя причины появления сатирических произведений в украинской литературе середины XVIII в., акад. А. И. Белецкий пишет: «К середине XVIII в. успехи письменной литературы на путях к реализму были настолько велики, что на смену литературы забавляющей могла появиться литература сатирическая, иногда с серьезным общественным содержанием».³⁰

²⁷ А. В. Никитенко. Моя повесть о самом себе и о том, чему свидетель в жизни был. Записки и дневник (1804—1877), т. II. СПб, 1905, стр. 218—219.

²⁸ См. об этом: Ф. С. Шолом. Поетичний стиль і теорія віршування в шкільних пїтиках XVIII ст. на Україні. Вплив теоретико-літературних праць М. Ломоносова і В. Тредиаковського. Наукові записки Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка, т. XIII, вип. II, 1954, стр. 45—52.

²⁹ См. Ф. Я. Шолом. 1) Російсько-українські зв'язки в галузі громадсько-політичної поезії XVIII ст.; 2) Російсько-українські літературні зв'язки після возз'єднання України з Росією в 1654 році.

³⁰ Литературная энциклопедия, т. XI. М., 1939, стр. 542.

К началу 60-х годов относится одна из самых ярких и острых сатир в украинской литературе XVIII в. — «сатирическое стихотворение 1764 г.», подписанное инициалами К. Р. Автор этой сатиры, по словам акад. А. И. Белецкого, — типичный разночинец, дал «широкое социальное обобщение, рисуя бесстыдную эксплуатацию крестьянства панами, судьями, попами, монахами в резкой форме, с неприкрытым негодованием».³¹

Точно не известный сатирик (по нашему мнению, это был Иван Георгиевич Некрашевич в ранний период своей литературной деятельности),³² резко выступив в защиту простого народа, стонавшего под гнетом власть имущих, делает общий вывод о тяжелом положении трудящихся:

Ни одного не сыщешь малого куточка,
Чтоб где лиха не была великая бочка.³³

Этот вывод (как и все стихотворение) напоминает сатиры А. Д. Кантемира, но под пером украинского сатирика он звучит уже более остро и убедительно, что объясняется новыми историческими условиями. Идеино-художественный анализ социально-политической сатиры и бурлескно-юмористических виршей XVIII в. показывает, что в этих анонимных произведениях, которые распространялись только рукописным путем, наиболее полно отразились стремления украинского трудового народа к свободе и независимости, его горячий протест против социального и классового угнетения и что именно здесь выявились те новые ростки реализма и народности, которые способствовали дальнейшему развитию прогрессивных тенденций в украинской литературе.³⁴

³¹ Там же, стр. 543.

³² Ф. Я. Шолом Из історії української сатири XVIII ст (Сатиричний вірш 1764 р. К. Р. та питання про його автора) Вісник Київського університету, № 1, 1958, Серія філології та журналістики, вип. I, Київ, 1958, стр. 7—22.

³³ Государственная публичная библиотека УССР (г. Киев), Рукописные сборники №№ Д. А., лл. 26 и 78 п/210.

³⁴ Об украинской социально-политической сатире и бурлескно-юмористических стихотворениях см.: П. Е ф и м е н к о. Образцы обличительной литературы в Малороссии. Киевская старина, 1882, № 3, стр. 543—551. П Ж и т е ц к и й «Энеида» Котляревского и древнейший список ее в связи с обзором малорусской литературы XVIII в Киев, 1900; Ф. Я. Шолом. 1) Сатиры А. Д. Кантемира та українські сатиричні вірші XVIII ст. Наукові записки Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка, т. XI, вип. IX, Філологічний збірник № 4, Київ, 1952, стр. 125—138; 2) Реалістичні тенденції в українській соціально-політичній сатири XVIII ст. XII наукова сесія Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка. Тези доповідей. Секція філології. Київ, 1955, стр. 5—8; 3) Из історії української сатири XVIII ст., стр. 7—22; 4) Соціально політична сатира та бурлескно-гумористичні вірші XVIII ст. В кн.: Матеріали до вивчення історії укра-

Передовые мысли в защиту прав украинских крестьян высказывал в своих виршах и стихотворных диалогах Иван Георгиевич Некрашевич (последняя треть XVIII в.),³⁵ творчество которого тесно связано как с традициями Киево-Могилянской академии, так и с украинским народным юмором. Правда, обличения социальных пороков в этих произведениях священника Некрашевича более умеренны и сдержанны, чем в сатире, написанной им в начале литературной деятельности, в 1764 г.

Политические события в жизни украинского народа середины и второй половины XVIII в., в частности упразднение гетманства и ликвидация Запорожской Сечи, дальнейшее усиление гнета со стороны русского царизма и украинских феодалов, — все это породило многочисленную виршевую литературу. В целом ряде анонимных стихотворений и песен высказывались мысли и чаяния трудящихся масс Украины, их свободолюбивые патриотические чувства, воспевалась тесная дружба русского и украинского народов, осуждались как действия русского царизма, так и националистические тенденции украинской казацкой старшины, высмеивались представители украинского панства, стремившегося получить дворянский чин (стихотворения «Доказательства Хама Данилея Куксы потомственны» и «Плач дворянина»). Но появились также и произведения, написанные идеологами украинской казацкой старшины, которые, используя традиционную, исторически сложившуюся дружбу украинского народа с русским, пытались выразить свои классовые тенденции и стремления. Таким явился большой (свыше тысячи строк) стихотворный диалог «Разговор Великороссии с Малороссиею», написанный в 1762 г. переводчиком генеральной войсковой канцелярии в Глухове Семеном Дивовичем.³⁶

їнської літератури в п'яти томах, т. I. Давня українська література (доба феодалізму — до кінця XVIII ст.). Упорядкували академік О. І. Білецький і доцент Ф. Я. Шолом. Изд. «Радянська школа», Київ, 1959, стр. 543—573; Б. А. Деркач. 1) Гумористично-сатиричні віршовані оповідання XVIII ст. Література в школі, 1958, № 5, стр. 27—33; 2) Соціально-політична віршована сатира XVIII ст. Радянське літературознавство, 1959, № 2, стр. 47—54.

³⁵ О творчестве Ив. Некрашевича см.: В. Н. Перетц. Историко-литературные исследования и материалы, т. III. Из истории развития русской поэзии XVIII в., ч. I. Жизнь и труды свящ. Ив. Некрашевича СПб., 1902, стр. 371—422; Приложения, стр. 151—168; Н. И. Петров. Очерки..., стр. 452—467; П. Житецкий. «Энеида» Котляревского ..., стр. 108—115; Н. Кістяківська. Твори Івана Некрашевича. Киев, 1929; Ф. Я. Шолом. Из історії української сатири XVIII ст., стр. 17—22.

³⁶ Детальный анализ «Разговора Великороссии с Малороссиею» см. в статье: Ф. Я. Шолом. Историчний віршований діалог «Разговор Велико-

Одной из важных особенностей украинского историко-литературного процесса второй половины XVIII в. является тесная связь литературы с устным народным творчеством, что прежде всего видно при сравнительном анализе виршевой лирики и украинских народных песен. Традиционные русско-украинские взаимосвязи в области лирической поэзии к этому времени заметно расширяются и углубляются.³⁷

В развитии передовых просветительских идей в украинской литературе и культуре XVIII в. в целом большую роль сыграл Н. И. Новиков. Его сатирические издания широко распространялись среди украинских читателей, способствуя росту сатирических тенденций в украинской литературе. С именем Н. И. Новикова непосредственно связано расширение книгопечатного и книготоргового дела не только в России, но и на Украине.³⁸

Интенсивное развитие передовой русской культуры и литературы в середине и второй половине XVIII в., расширение народного образования в связи с открытием новых учебных заведений и прежде всего Московского университета (1755) — все это оказывало благотворное влияние на украинскую культуру и просвещение. Украинские представители в Комиссии по составлению нового Уложения еще в 1767 г. высказали требование о создании университета и на Украине, так как Киево-Могилянская академия начала постепенно утрачивать роль одного из ведущих высших учебных заведений России и превращаться в сугубо духовное заведение. О последнем красноречиво свидетельствует статистика. Так, если в 1744 г. из общего числа 1102 студентов академии дети разночинцев составляли две трети (722 человека), а дети священников занимали только 380 мест, то в 1801 г. картина получилась обратной: дети разночинцев составили менее одной трети (217 человек), в то время как две трети (500 человек) приходились на детей духовенства.³⁹ И хотя введение в 1783 г. обязательного «препо-

россии с Малороссією» (1762) Семена Дівовича. В кн.: Матеріали до вивчення історії української літератури в п'яти томах, т. I, стр. 529—540.

³⁷ Наиболее полная характеристика как русских, так и украинских песенников XVII—XVIII вв. дана в ряде статей А. В. Позднеева, прежде всего в работе: А. В. Позднеев. Рукописные песенники XVII—XVIII вв. (Из истории песенной силлабической поэзии). Сокращенное изложение диссертации на соискание ученой степени доктора филологических наук. Ученые записки Московского государственного заочного пединститута, т. 1, М., 1958, стр. 5—112.

³⁸ С. О. Петров. Книготорговая и книгоиздательская деятельность Н. И. Новикова. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук. Киев, 1951.

³⁹ В. Серебряников. Киевская академия с половины XVIII в. до преобразования в 1819 г. Киев, 1897, стр. 201—202.

давания русского языка и словесности, общеобразовательных предметов» на смену «схоластицизму и латинизму»,⁴⁰ безусловно, явилось весьма положительным фактом не только в жизни академии, но и в культурной жизни всей Украины,⁴¹ однако Киево-Могилянская академия в силу сложившихся исторических условий не могла уже играть той передовой роли, которая принадлежала ей в XVII и первой половине XVIII в. Поэтому вполне естественно, что некоторые воспитанники Киевской академии, не удовлетворившись полученными знаниями, продолжали учебу в Московском университете, в Петербургской медико-хирургической академии, в Петербургском академическом университете. Последний, например, окончил в 1757 г. Я. П. Козельский (ок. 1729—1795), впоследствии замечательный русский философ-материалист и просветитель, связанный с украинской действительностью не только происхождением и обучением в Киевской академии, но и многими другими узами в течение всей своей деятельности. Получив прекрасный аттестат об окончании Петербургского университета за подписью М. В. Ломоносова, Я. П. Козельский проявил себя и как талантливый преподаватель естественных наук, и как выдающийся философ, и, наконец, как искусный переводчик литературных произведений. Так, в 1764 г. он перевел на русский язык лучшую трагедию английского драматурга XVII в. Томаса Отвея (1652—1685) «Спасенная Венеция» (1681); он перевел также ряд научных сочинений, в частности исторического характера.⁴² В своих «Философических предложениях» Я. П. Козельский очень смело выступил против социального неравенства; в качестве идеала он предлагал создать общество, основанное на всеобщем труде, который, по его мнению, следует ограничить восемью часами в сутки. Я. П. Козельский был ярким пропагандистом передовых просветительских идей в России и на Украине; он говорил, что, лишь облегчив трудности в жизни народа, можно добиться его всеобщего просвещения.

⁴⁰ В. Н. Перетц. Историко-литературные исследования и материалы, т. III, ч. 1, стр. 390.

⁴¹ Интересно отметить также и то, что в 1792 г. преподаватель пиитики и других дисциплин Киевской академии Ириной Фальковской организовал из числа студентов «Вольное пиитическое общество» с целью обеспечения его членам «всегдашнее чтение самых хороших книг» (см. об этом рукописный «Пиитический сборник» XVIII ст., № 693/489 с, Государственной публичной библиотеки УССР).

⁴² О деятельности Я. П. Козельского существует сравнительно небольшая литература. Одной из последних работ о нем общего характера является небольшая книга В. С. Дмитриченко «Суспільно-політичні погляди Я. П. Козельського» (Изд. Киевского государственного университета, Киев, 1957; на стр. 3 здесь указана библиография работ о нем).

По всей вероятности, прогрессивную роль в развитии просветительских идей в России второй половины XVIII в. сыграл и такой выходец из Украины, как Иоиль Быковский (с 1760 г. архимандрит Спасо-Ярославского монастыря),⁴³ издавший в 1787 г. в Ярославле трактат «Истинна, или Выписка о истинне».⁴⁴ Можно предположить, что именно Иоиль Быковский передал в конце XVIII в. Мусину-Пушкину и рукописный сборник со «Словом о полку Игореве». Этот вопрос, по нашему мнению, заслуживает самого пристального изучения.

Вершиной развития украинской просветительской мысли XVIII в. является несомненно творчество выдающегося писателя и философа, ученого педагога и горячо любимого народом просветителя Григория Саввича Сковороды (1722—1794). Выходец из семьи простого украинского казака из села Чернухи на Полтавщине, Г. С. Сковорода получил образование в Киево-Могилянской академии, которую окончил в 1750 г. Жизнь в течение 1742—1744 гг. в Петербурге, а потом, после окончания академии, в 1750—1753 гг. за границей способствовала расширению и углублению прогрессивных демократических и просветительских идей молодого Сковороды. Провозгласив тезис «А мой жребій с голяками», Г. С. Сковорода остался верным ему на всю жизнь. Он страстно бичевал пороки и язвы как светских, так и духовных панов, защищая интересы простого трудового народа. Впитав в себя лучшие достижения передовой русской литературы и общественно-политической мысли, Г. С. Сковорода в своих философских и литературных произведениях боролся за прогрессивные идеалы, за материализм в философии, за реализм в литературе.

⁴³ К. В. Харлампович. Малороссийское влияние на великорусскую церковную жизнь, т. I. Казань, 1914, стр. 776.

⁴⁴ [И о и л ь, архимандрит]. Истина, или Выписка о истинѣ. Ярославль. Печатано с указаго дозволенія 1787 г. Трактат этот, с которым мы познакомились по любезному совету акад. А. И. Белецкого, находится в Москве, в Государственной библиотеке СССР им. В. И. Ленина, под шифром «Ярославль/87-й». На стр. 3 трактата помещено предисловие автора:

«Для любопытного читателя

«Сочинитель выписки упомянул, что он выбирал из книг и тетрадок, из ведомостей и прибавлений печатных Россійских, коих только он у себя имѣл и коих вблизи доставать мог. Упомянул же о богословских добродѣтелях, то есть о вѣрѣ, надеждѣ и любви, которая между собою связаны и каждая с другими имеет сообщеніе. К сей выписке принудило его то, что он, дожив до 80 лет, примѣтил кривотолков о нужном в жизни, а паче о христіанствѣ. Тут же вмѣщены нѣкоторыя званія, которыя упоминаются в богослуженіи греческого исповѣдані, також о челоуѣчествѣ, отчасти о нѣ которых науках. И вкратцѣ о системѣ свѣта и о прочем в славу недомысленнаго существа».

Именно благодаря прогрессивности всей своей деятельности Г. С. Сковорода стал таким популярным еще при жизни не только на Украине, но и в России. Поэтому так высоко оценивал его деятельность и В. И. Ленин, как вспоминает об этом В. Д. Бонч-Бруевич: «Что касается того, читал ли Владимир Ильич Г. С. Сковороду или нет, — писал В. Д. Бонч-Бруевич в 1955 г. в письме к А. М. Ниженец, — то я могу наверное сказать, что читал, потому что я ему посылал свои книги, когда он жил в Женеве, в Цюрихе, в Париже, в Лондоне. Но говорить с ним на эту тему мне не приходилось. Отношение же Владимира Ильича к Г. С. Сковороде выявилося очень ясно. Когда мы с Владимиром Ильичом гуляли в Александровском саду и остановились около колонны, которая поставлена была в конце сада, я сказал, что это неприлично, что такая колонна стоит почти рядом с погибшими бойцами революции, которые покоятся на Красной площади у Кремлевских стен, что необходимо эту колонну снять и сделать на этом месте новую, которую наше правительство пожелает сделать.

Владимир Ильич очень обрадовался и сейчас же предложил выяснить вопрос, можно ли все это быстро сделать, и когда выяснилось, что можно, то он предложил Московскому Совету составить список тех фамилий, которые в настоящее время там есть, и там действительно среди философов на первом месте стоял Сковорода. Когда он читал в списке фамилию Сковороды, то он сказал мне: имейте в виду, что мы на этой колонне делаем надписи тех наших знаменитых людей, которым надо поставить в настоящем и будущем памятники, которыми мы должны будем украсить нашу Москву. И вот, добавил он, когда придет время и будут ставить памятник Сковороде, то вы должны выступить и объяснить народу, кто был Сковорода, какое значение имел он для жизни русского и украинского народов. Это уже показывает полное сочувствие Владимира Ильича к деятельности и философским работам Григория Саввича. Конечно, Владимир Ильич прекрасно знал, что он является просветителем своей эпохи, что от него нельзя требовать ничего нам современного. Это просто смешно, когда начинают философию Сковороды сравнивать с диалектическим материализмом. Владимир Ильич почитал его как философского деятеля своего времени. Том Сковороды, который я издал, стоял у него в библиотеке, так же как и все другие мои издания, которые сначала назывались „Материалы к истории и изучению русского старообрядчества и сектанства“; потом я их переименовал, также по желанию Владимира Ильича, в „Материалы по истории и изучению рели-

гиозно-общественных движений”, и если Сковорода не относится к сектантству как таковому, то к религиозно-общественным движениям он несомненно относится». ⁴⁵

В заключение можно с уверенностью сказать, что просветительские идеи, возникнув в украинской литературе и культуре середины XVIII в. способствовали зарождению качественно новых фактов и явлений в идеологической и культурной жизни народа, содействовали становлению новой украинской литературы.



⁴⁵ А. М. Ніженець. В. Д. Бонч-Бруевич про Г. С. Сковороду, Радянське літературознавство, 1958, № 3, стр. 91.



А В. ПРЕДТЕЧЕНСКИЙ

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ Н. М. КАРАМЗИНА В 1790-Х ГОДАХ

Мысль об эволюции мировоззрения Н. М. Карамзина была высказана давно. Еще В. В. Сиповский в своей известной монографии «Н. М. Карамзин, автор „Писем русского путешественника”» (СПб., 1899) говорил об изменениях в мировоззрении писателя. О таких же изменениях упоминал — именно упоминал, а не показывал их — Г. А. Гуковский в работе о Карамзине, напечатанной в V томе академической «Истории русской литературы» (1941). Гуковского неудержимо притягивала к себе мысль о неизменности самой основы взглядов Карамзина. Правда, он писал о «поправении» писателя, но писал с явной неохотой, вынужденный уступить фактам, которые невозможно оспорить.

Очень отчетливо поставил вопрос об эволюции мировоззрения Карамзина Ю. М. Лотман в своем превосходном исследовании, напечатанном в 1957 г., — «Эволюция мировоззрения Карамзина (1789—1803)» (Ученые записки Тартуского государственного Университета, № 51). Но работа Лотмана трактует об эволюции философского и, как не раз подчеркивает автор, идейно-художественного мировоззрения Карамзина. Об общественно-политических взглядах писателя Лотман говорит лишь постольку, поскольку это нужно для освещения его темы.

Настоящая работа представляет собой попытку проследить развитие общественно-политического мировоззрения Карамзина. В советской исторической и литературной науке не установилось точного и общепризнанного содержания этого понятия. В практике исследовательской и учебной работы понятие «общественно-политическая мысль» бытует постоянно. Но вряд ли можно утверждать, что все, оперирующие этим понятием, всегда вкладывают в него одинаковое содержание. Поэтому кажется необходимым условиться, какое содержание следует вкладывать в это понятие.

Общественно-политическая мысль (общественное сознание), в понимании автора, есть отношение, высказываемое различными по своему социальному положению группами или отдельными лицами, принадлежащими к этим группам, к социально-экономическому и политическому строю данного и других государств, к духовной культуре (в наиболее широком смысле этого понятия) их населения, к политике их правительств. Это отношение может быть положительным или отрицательным, безразличным оно быть не может. Проявляется оно разнообразными способами: в прямых и косвенных высказываниях в любых жанрах и формах, в активной борьбе с правительством или активной поддержке его, в объединении отдельных лиц в политические, литературные и всякие другие организации и т. д. и т. п.

Таким пониманием общественно-политической мысли руководствовался автор при поисках ответа на вопрос об общественно-политических взглядах Карамзина в 1790-х годах. Конечно, нельзя было обойти совершенным молчанием некоторые подробности, относящиеся к философским и эстетическим взглядам Карамзина. Но эти вопросы затронуты в работе лишь для лучшего понимания ее основной темы.

Впервые в развернутой форме Карамзин изложил свои общественно-политические взгляды в «Письмах русского путешественника». Обилие и разнообразие впечатлений, полученных им во время заграничного путешествия, дали ему возможность высказаться по вопросам общественно-политического характера. «Письма русского путешественника» с этой точки зрения заслуживают пристального изучения. Система взглядов Карамзина, отраженная в «Письмах», есть прежде всего результат осмысления непосредственных заграничных впечатлений. Во всех посещенных Карамзиным странах поводов к тому, чтобы поставить перед собой ряд общественно-политических вопросов и даже разрешить их, было более чем достаточно. Но если над многими темами Карамзин мог впервые задуматься, находясь за границей, то это не значит, конечно, что он приехал из России без уже сложившегося в основных чертах философского и общественно-политического мировоззрения. Вдумчивое отношение к миру, отличавшее Карамзина с юношеских лет,¹ окружение, в котором он находился (бли-

¹ В письме Лафатеру от 25 июля 1787 г он писал: «Не боясь прослыть хвастуном, я могу назвать себя любознательным (...). Знание для души моей необходимо, почти так же необходимо, как для тела пища»

зость к масонскому кружку Н. И. Новикова), его широкая осведомленность в политической и философской литературе — все это не могло не способствовать выработке у него, пусть даже и не совсем законченной, системы взглядов. Эта система предопределила отбор Карамзиным из общего потока зарубежных впечатлений того, что более всего отвечало его интересам и что казалось ему заслуживающим внимания в первую очередь. Эта система вместе с тем окрасила в определенный цвет его зарубежные впечатления, вызвавшие, как было уже сказано, в силу своей новизны и разнообразия много новых мыслей и содействовавшие значительному обогащению его духовной природы. Путешествие сделало Карамзина, как он сам признавал, более опытным, знающим и увеличило в нем способность «чувствовать красоты физического и нравственного мира».²

Уехал Карамзин из России в свое зарубежное путешествие человеком, перечитавшим, несмотря на свою молодость (ему было 24 года), бездну книг. Эрудиция его необыкновенна, и читателя «Писем русского путешественника» поражают его обширные познания в области художественной, философской, политической и естественно-научной литературы. Эти познания он приобрел еще до отъезда за границу; во время путешествия, длившегося всего лишь полтора года, у него было мало досуга для чтения. В «Письмах» постоянно мелькают имена Шекспира, Оссиана, Ричардсона, Стерна, Джонсона, Гете, Шиллера, Клопштока, Лессинга, Виланда, Гердера, Мольера, Вольтера, Руссо, Лафонтена, Рабле, Гельвеция, Мабли, Монтескье, Канта, Лавуазье, Лейбница, Декарта, Ньютона, Линнея, Коперника, Галилея, Рубенса, Ван-Дейка, Веронезе, Рафаэля, Корреджио, Генделя, Пиччини и многих, многих других. О каждом из этих людей Карамзин говорит со знанием дела, многим дает подробные характеристики. Нельзя не подивиться высокой культуре Карамзина (так же как, заметим кстати, высокому культурному уровню его читателей, а их у Карамзина было немало — «Письма» выдержали несколько изданий). Изученная Карамзиным литература будила его мысль, заставляла его размышлять над многими философскими и политическими вопросами, расширяла его умственный и нравственный горизонты. Но она же наложила на мировоззрение Карамзина отпечаток некоторой книжности. Тысячи прочитанных им страниц заслоняли от него живую жизнь, не

(Переписка Карамзина с Лафатером Записки императорской Академии наук, т. 73, № 1, приложение, СПб., 1893, стр. 26, 28).

² Избранные сочинения Н. М. Карамзина, под ред. Льва Поливанова, ч. I, М., 1884, стр. 427.

всегда давая ему возможность познакомиться с ней непосредственно. Представления, созданные Карамзиным на основании чтения, цеплялись за его сознание столь крепко, что реальная жизнь иной раз не без труда вносила в них свои поправки.

Одной из основ карамзинского мировоззрения в период создания «Писем» был его оптимизм. Он твердо проникался убеждением в том, что, по его выражению, «род человеческий возвышается и хотя медленно, хотя неровными шагами, но всегда приближается к духовному совершенству».³ Добро господствует в мире, и зло существует не в качестве противоборствующего добру начала, одинаково с ним сильного, а лишь для того, чтобы резче оттенить господство добра. Источником добра является бог, ведущий человечество к совершенству через изливаемое им в мир добро. Эти взгляды могли быть выработаны Карамзиным отчасти под влиянием общения с масонами, отчасти же были внушены ему чтением Гердера, Бонне, Геллерта, Лафатера и других философов и поэтов, произведения которых Карамзин хорошо знал и переводы которых печатал. В «Созерцании природы» Бонне, переведенном и напечатанном Карамзиным, такие сентенции автора, как «мир имеет все совершенство, какое только мог он получить от причины» (бога), «нет совершенного зла во вселенной, ибо она не заключает в себе ничего такого, что бы не могло быть действием или причиною какого ни есть добра, которое бы не существовало без того, что мы злом называем»,⁴ как нельзя более отвечали основному тону мирозозерцания Карамзина. Подобного рода мысли Карамзин мог не раз встретить и у Гердера. Гердеру он посвятил довольно много места в «Письмах русского путешественника» и даже привел из него длинную цитату, «отменно полюбившуюся» ему, по его собственному выражению. Следующие слова из этой цитаты, подчеркнуты Карамзиным: «Нет смерти в творении, или смерть есть не что иное, как удаление того, что не может быть долее, т. е. действие вечно юной неутомимой силы (<...>). По изящному закону премудрости и благости все в быстрейшем течении стремится к новой силе юности и красоты, стремится и всякую минуту превращается».⁵

Некоторые из заграничных впечатлений укрепили в Карамзине его оптимистические настроения. В «Письмах русского путешественника» он, рассказывая о том волнении, которое возбудило в нем созерцание природы, пишет, что никогда не

³ Н. М. Карамзин. Письмо Мелодора к Филалету. В кн.: Избранные сочинения Н. М. Карамзина, стр. 468.

⁴ Избранные сочинения Н. М. Карамзина, стр. 56.

⁵ Там же, стр. 56.

чувствовал так живо счастья, никогда не ощущал такой благодарности богу за дарованную ему жизнь. «Прости мне, мудрое провидение, — восклицает он, — если я когда-нибудь, как буйный младенец, проливая слезы досады, роптал на жребий человека».⁶

Но оптимизм Карамзина и его глубокая религиозность не превратили его в мистика и не вызвали в нем того смирения, которое грозило бы сузить его умственный кругозор и убить в нем столь свойственную ему пытливость. Н. И. Гречу он рассказывал, что перед отъездом за границу заявил своим друзьям-масонам о разрыве с ними. Он никак, по его признанию, не мог разделить с масонами мысли, что нужна «какая-либо таинственность для того искания истины, которое составляло основу масонской философии».⁷ Карамзин был подлинным сыном своего века, и было бы странно, если бы его совсем не коснулись влияния рационализма. Это философское направление отнюдь не сделалось основой его мировоззрения, но совершенно чуждым рационализму он не остался. Вольтером Карамзин в ранней юности зачитывался и даже хотел перевести его на русский язык. С годами это увлечение ослабело, но кое-что от Вольтера было усвоено Карамзиным прочно. В «Письмах» он так отзывается о «славнейшем из писателей нашего века»: «К чести его (Вольтера, — А. П.) можно сказать, что он распространил сию взаимную терпимость в верах, которая сделалась характером наших времен, и наиболее посрамил гнусное лжеверие, которому еще в начале осьмогонадесять века приносились кровавые жертвы в нашей Европе. Но я не могу одобрить Вольтера, когда он от суеверия не отличал истинной христианской религии (...). Никакая философия не могла устоять против Вольтеровой иронии».⁸ Преклонение перед Монтескье, которого Карамзин называет «автором бессмертной книги о законах»; дифирамбы Руссо, расточаемые в «Письмах»; проникнутые глубоким уважением и помещенные там же отзывы о Виланде; отвращение к средневековью, которого «бледные тени ужасают робкое просвещение наших дней», как выразился Карамзин в письме, рассказывающем о свидании его с Кантом; мысль о том, что не английская конституция, которой англичане так гордятся, а «просвещение англичан есть истинный их палладиум», — все это показывает, что просветительские идеи XVIII в. встречали

⁶ Н. М. Карамзин. Письма русского путешественника. Изд. М. В. Ключкина, М., 1900, стр. 71, 134.

⁷ М. Погдин. Н. М. Карамзин по его сочинениям, письмам и отзывам современников, ч. I. М., 1866, стр. 68.

⁸ Н. М. Карамзин. Письма русского путешественника, стр. 206.

в Карамзине явное сочувствие. Это не мешало ему ко всяким намекам на атеизм и материализм относиться резко отрицательно.⁹

Одной из основ мировоззрения Карамзина, выработанной им с юношеских лет, был гуманизм. В стихотворении «Поэзия» (1787) он говорит о человеке как о прекраснейшем создании, приветствуемом при самом своем появлении восторгом и любовью всего мира. Нельзя не восторгаться человеком, ибо он — самое совершенное, самое чудесное творение бога. В «Послании к Дмитриеву», написанном в 1794 г., Карамзин вспоминает о своей юности, когда он «любил с горячностью людей» и готов был пожертвовать кровью для их счастья.¹⁰

Гуманизм Карамзина находил свое выражение не только в прямых признаниях по поводу его отношения к людям. Очень показательны взгляды Карамзина на войну. Он убежденный пацифист и принимает войну только как неизбежное зло. «Военная песнь» (1788), содержащая призыв к сынам России «разить бесчисленных врагов», кончается весьма неожиданно: «Когда же враг погибнет, сраженный храбростью твоей, смой кровь с себя слезами сердца: ты ближних, братьев поразил».¹¹ В «Письмах русского путешественника», рассказывая о беседе с каким-то прусским офицером по поводу войны, Карамзин пишет, что он «вооружился против войны всем своим красноречием, описывая ужасы ее (<...>). Миротлюбивое мое сердце оскорбилось».¹² Следует помнить, что эти пацифистские мотивы раздавались в период наиболее громких успехов русского оружия.

Столь же показательны для гуманизма Карамзина его высказывание по поводу бросившегося ему в глаза отношения к бедным в Англии. Его поразил жестокий закон капитализма, всю силу которого он впервые понял в этой стране. Англичане говорят, пишет он, «кто у нас беден, тот недостоин лучшей доли — правило ужасное. Здесь бедность делается пороком (<...>). И, какое ложное правило! Разве стечение бед не может и самого трудолюбивого довести до сумы? Например, болезнь».¹³ Людям, читавшим Карамзина, предстояло примирить его столь участливое отношение к английскому бедняку и его же активную защиту крепостного права в России.

⁹ См., например, отзыв о Гельвеции: там же, стр. 334

¹⁰ Н. М. Карамзин, Сочинения, т. I, Стихотворения, Пгр., 1917, стр. 99.

¹¹ Там же, стр. 17

¹² Н. М. Карамзин. Письма русского путешественника, стр. 27.

¹³ Там же, стр. 497—498.

Вопрос о политических взглядах Карамзина в период, предшествовавший его путешествию за границу, решается не так просто, как это могло бы показаться при первом рассмотрении его. Прямых высказываний по указанному вопросу у Карамзина нет, поэтому приходится воссоздавать систему его политических взглядов по различным косвенным данным. Прежде всего должно быть отмечено пребывание Карамзина в новиковском кружке. Обращение к масонам само по себе уже говорит о неудовлетворенности Карамзина тем социально-политическим строем, какой утверждался екатерининским государством. Общение же с Новиковым могло только помочь формированию из этой неудовлетворенности политического радикализма. Верноподданнические мотивы совершенно отсутствуют в ранних произведениях Карамзина, а всякий, кто не был проникнут ими, должен был неизбежно стать на путь критического отношения к русской действительности. Симпатии Карамзина к французской просветительской философии заставляют предполагать, что это критическое отношение простиралось довольно далеко.

Для выяснения политических взглядов молодого Карамзина имеют значение напечатанные им в 1786 г. отрывки из «Юлия Цезаря» Шекспира. Английского драматурга Карамзин ставил чрезвычайно высоко: «Шекспир велик, Шекспир неподражаем», — так писал он в предисловии к переводу «Юлия Цезаря». В столь же восторженных выражениях он отзывался о Шекспире и в «Письмах русского путешественника». В переводе Карамзина нельзя не обратить внимания на выбор отрывков из трагедии. Речь Брута, обращенная к народу, в которой он оправдывается в убийстве Цезаря, содержит призыв к свержению деспотизма. Свободолюбивый дух пронизывает ее насквозь. Быть может, страстно протестующий против насилия Брут и привлек более всего к себе Карамзина. писавшего в предисловии: «Характер Брутов есть наилучший (...). Он действительно изящнейший из всех характеров, когда-либо в драматических сочинениях изображенных».¹⁴

Пребывание Карамзина в течение полутора лет за границей дало ему множество новых впечатлений и заставило его задуматься над некоторыми новыми вопросами. Неизбежно должен был возникнуть перед ним целый комплекс вопросов, связанных с отношением к родине. Находясь вне России, Карамзин, естественно, не мог не размышлять над такими проблемами, как соотношение между национальным и общечеловеческим, взаимовлияние России и Западной Европы, значе-

¹⁴ Избранные сочинения Н. М. Карамзина, стр. 24

ние привязанности человека к родине и т. д. Карамзин не мог пройти мимо этих вопросов, с тем большей настойчивостью требовавших своего разрешения, чем глубже он пытался осмыслить всю совокупность своих заграничных впечатлений.

Карамзин был глубоко привязан к родине. В одном из писем, написанных из Швейцарии, он говорит, что для него непонятно, как может человек, живя вдалеке от родины, не тосковать о ней. «Сей человек никогда не будет мне другом», — заявляет Карамзин.¹⁵ Заключительное письмо в «Письмах русского путешественника», написанное из Кронштадта, полно самой восторженной радости по поводу возвращения в Россию. Карамзину дорого и близко русское прошлое. Рассыпанные в «Письмах» отдельные замечания об истории России убедительно свидетельствуют об этом. Карамзин сетует по поводу того, что до сих пор не создано «хорошей российской истории, т. е. писанной с философским умом, с критикой, с благородным красноречием».¹⁶

Привязанность к родине, однако, никак не влечет за собой ни шовинизма, ни каких бы то ни было элементов национальной ограниченности. В том письме из Парижа, где Карамзин высказал в развернутой форме свои взгляды на историю, затрагивается и проблема соотношения национального и общечеловеческого. Говоря о Петре, Карамзин горячо приветствует его преобразовательную деятельность, которую он рассматривает как использование иностранного опыта. В этом использовании Карамзин не видит решительно ничего антинационального. «Путь образования или просвещения один для народов, — пишет он, — все они идут им вслед друг за другом. Иностранцы были умнее русских, итак надлежало от них заимствовать, учиться, пользоваться их опытами». В решимости перенять европейский опыт и умения сделать это Карамзин видит величайшую историческую заслугу Петра I.¹⁷ Многочисленных ошибок, совершенных в этом отношении Петром, Карамзин в ту пору не замечает. Все разговоры по поводу потери Россией национальной самобытности в результате западных заимствований кажутся Карамзину «жалкими иеремиадами». «Мы не таковы, как брадатые предки наши, — тем лучше», — заявляет он. Такого рода рассуждения приводили Карамзина к провозглашению определенного вывода: «Все народное ничто перед человеческим. Главное дело быть людь-

¹⁵ Н. М. Карамзин. Письма русского путешественника, стр. 215.

¹⁶ Там же, стр. 327.

¹⁷ В письме из Лиона Карамзин писал: «Петр (...), как лучезарный бог света, явился на горизонте человечества и осветил глубокую тьму вокруг себя» (там же, стр. 258)

ми, а не славянами. Что хорошо для людей, то не может быть дурно для русских, и что англичане или немцы изобрели для пользы, выгоды человека, то *мое*, ибо я человек». ¹⁸

Такова формула русского космополитизма конца XVIII в., провозглашенная Карамзиным. Вопрос о генезисе русского космополитизма, о его философской и социально-политической сущности требует привлечения материала, далеко выходящего за пределы карамзинских высказываний. Этот вопрос должен быть предметом специального изучения. Здесь же следует сделать только одно замечание. Космополитизм есть мировоззрение наиболее реакционной части русского дворянства. У Карамзина эта система взглядов скоро уступит место шовинизму и ярко выраженной национальной ограниченности. Таков, по-видимому, путь всего российского дворянства, в мировоззрении которого откладывались элементы космополитизма. Передовые же представители дворянской интеллигенции не были затронуты веяниями космополитизма: достаточно указать хотя бы только на Радищева.

Посещение Карамзиным Швейцарии, Франции и Англии столкнуло его со многими явлениями политической жизни этих стран, до того, вероятно, мало ему знакомыми. Реакция Карамзина на эти явления дает возможность установить его политическое мировоззрение с большей определенностью, чем его скупые высказывания в период, предшествующий написанию «Писем русского путешественника».

В Швейцарии Карамзин увидел крестьян, поразивших его своим относительным благосостоянием. Очень любопытно его объяснение этого факта. Карамзин пишет, что «цветущее состояние швейцарских земледельцев происходит наиболее от того, что они не платят почти никаких податей и живут в совершенной свободе и независимости». ¹⁹ В письме из Базеля Карамзин отмечает демократический строй Швейцарии, открывающий дорогу «ко всем достоинствам в республике каждому гражданину». ²⁰ В тексте этого письма нет никаких намеков на неодобрительное отношение Карамзина к указанному явлению. В умных и тонких письмах из Англии, наполненных массой метких наблюдений над жизнью и нравами англичан, Карамзин не раз говорит об английской конституции. Он восхищается тем, что основы ее были установлены в те отдаленные времена, «когда все другие европейские народы были погружены в мрачное варварство». ²¹ В одном из писем Ка-

¹⁸ Там же, стр. 327—329.

¹⁹ Там же, стр. 166

²⁰ Там же, стр. 130.

²¹ Там же, стр. 473.

рамзин весьма сочувственно отзываясь о суде присяжных. Часто он говорит об английском парламенте и относится к нему с явным уважением.

Все эти впечатления, воспринятые Карамзиным без тени враждебности и так резко контрастирующие с тем, что ему пришлось видеть на родине, совершенно естественно подняли вопрос о возможности установления в России такого строя, при котором русский крестьянин мог бы достичь уровня «счастливого швейцара», а политическая организация государства — уподобиться английской. Карамзин не мог не задуматься над этим вопросом и дал на него ясный, хотя и не в прямой форме, ответ. В одном письме из Англии, где шла речь об английской конституции, он говорит: «Всякие гражданские учреждения должны быть сообразены с характером народа: что хорошо в Англии, то будет дурно в иной земле».²² Не может быть никакого сомнения, что «иная земля» — это прежде всего Россия.

Очень важны для выяснения политической идеологии Карамзина его высказывания по поводу французской революции, начальные события которой он имел возможность наблюдать сам во время своего пребывания в Париже. Карамзин явно враждебно относится к революции. В этом никакого сомнения не оставляют следующие его сентенции: «всякие насильственные потрясения губительны, и каждый бунтовщик готовит себе эшафот»; «легкие умы думают, что все легко, мудрые знают опасность всякой перемены и живут тихо»; «утопия будет всегда мечтой доброго сердца или может исполниться неприметным действием времени посредством медленных, но верных, безопасных успехов разума, просвещения, воспитания, добрых нравов» и т. п. Карамзин приводит несколько слышанных им в Париже анекдотов, характеризующих «народное невежество». В них — нескрываемо враждебное отношение к восставшему народу, который вызывает у Карамзина настоящий страх: «Народ есть острое железо, которым играть опасно, а революция — открытый гроб для добродетели и самого злодейства». В мощном движении, охватившем Францию, Карамзин увидел лишь выступление кучки «дерзких»: «Не думайте, однако же, чтобы вся нация участвовала в трагедии, которая играется ныне во Франции — едва ли сотая часть действует». Карамзин даже не понимает причин разыгравшейся трагедии: «бедный находил себе хлеб, богатый наслаждался своим избытком. Но дерзкие подняли секиры на священное дерево, говоря: мы лучше сделаем». Такие

²² Там же, стр. 498.

выражения Карамзина по адресу революции, как «ужасная политическая перемена», «ужасы революции» и др., не раз встречающиеся в письмах из Франции, дополняют представление о резко враждебном отношении его к величайшему социальному движению XVIII в.²³

Общественно-политические взгляды Карамзина в том виде, в каком они сложились к началу 90-х годов XVIII в., могут быть сформулированы в следующих положениях. Общее мировоззрение Карамзина оптимистично и глубоко религиозно. Однако он далек от мистицизма и верит в силу просвещения, которое считает важнейшим источником познания. Материализму он остается чуждым. Гуманизм является одной из основ карамзинского мировоззрения и мироощущения. Он с уважением относится к европейской свободе и демократии, хотя и воздерживается от признания возможности установления этих институтов в России. Революция встречает у Карамзина резкое осуждение.

Девяностые годы XVIII в. явились для Карамзина временем значительных колебаний в его взглядах и суждениях. Он, видимо, переживал серьезный душевный кризис, отразившийся в ряде поэтических и прозаических произведений этого периода. Основным источником перемен, возмутивших ясное, спокойное, уравновешенное мирозерцание Карамзина и посеявших в нем некое смятение, была французская революция. В этом почти не оставляет сомнений высказывание Карамзина с революции, относящееся к 1797 г. Личная антипатия его к революции не только не угасла, но, напротив, стала, может быть, даже сильнее. В издании «Писем русского путешественника», выпущенном в 1797 г., он в письмах из Парижа счел нужным некоторым своим характеристикам придать более резкий оттенок. Так, например, «народ» он заменил «чернью», «уличный шум» у него превратился в «шум пьяных бунтовщиков» и т. д.²⁴ Но прежний взгляд на революцию, как на бунт кучки «дерзких», который скоро будет подавлен, после чего страна вернется к нормальной жизни, — этот взгляд изменился. В том же 1797 г. в статье о русской литературе, напечатанной в «Le Spectateur du Nord», он смотрит на революцию иными глазами. Он осознал глубокий смысл пронесшейся над Францией и Европой грозы. «Французская революция, — пишет Карамзин, — относится к числу событий, которые определяют судьбы людей на долгие годы. Начинается новая эпоха(. . .). Хотят видеть уже конец революции. Нет,

²³ Там же, стр. 294—297.

²⁴ В. В. Сиповский, Карамзин — автор «Писем русского путешественника». СПб., 1899, стр. 165.

нет! Увидят еще много необыкновенного — крайнее возбуждение умов предсказывает это».²⁵ В этих словах никак нельзя усмотреть примирения с революцией, но Карамзин не мог в конце концов не признать громадного значения революции, хотя его субъективное отношение к ней продолжало оставаться по-прежнему отрицательным.

Мир идей Карамзина, прочно вошедших в его сознание, был поколеблен революцией. У него появляются настроения и мысли, до сих пор ему вовсе не свойственные. В «Послании к Дмитриеву» (1794) он говорит о разочаровании в людях, о том, что они не вызывают в нем прежнего страстного стремления делать им добро. В «Послании к А. А. Плещееву» пессимистические ноты звучат еще сильнее: «Перестанем льстить себя мечтою искать блаженства под луною». И все же действительность не кажется такой ужасной, чтобы стремиться уйти от нее: «Каков ни есть подлунный свет (<...>), но мы для света рождены (<...>) и должны в нем, мой друг, остаться(<...>). Добра немного на земле, но есть оно, и тем милее ему быть должно для сердец». Пессимистическими настроениями окрашено и небольшое лирическое стихотворение «К самому себе» (1795).²⁶ Колебания Карамзина в его до сих пор ничем не смущаемом оптимистическом отношении к миру нашли наиболее яркое отражение в «Письме Мелодора к Филалету» (1795). Пессимист Мелодор полон глубокого разочарования по отношению к XVIII в.: вместо ожидаемого величия человечества он принес войну, опустошающую Европу и грозящую гибелью ценностям, собиравшимся веками. Мелодор предвидит неминуемое падение нравственности и просвещения, что вызовет отход Европы на несколько столетий назад. «Мой друг, — восклицает он, — на что жить мне, тебе и всем? На что жили предки наши? На что будет жить потомство?».²⁷

И все же оптимизм Карамзина не был сломлен проникшими в его сознание настроениями грусти и разочарования. Вера в торжество добра и правды, вера в человека борется с этими настроениями и побеждает их. В статье «Что нужно автору?» (1793) Карамзин требует от писателя неизменного служения идее всеобщего блага, в победе которого над злом и страданиями он убежден. Рассуждение «Нечто о науках» (1793) полно глубокой веры в благодетельную силу просвещения. В «Ответе Филалета к Мелодору», написанном

²⁵ Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву. СПб., 1866, стр. 480

²⁶ Н. М. Карамзин, Сочинения, т. I, Стихотворения, стр. 95—100. 101—106, 129—130.

²⁷ Избранные сочинения Н. М. Карамзина, стр. 468—473.

вслед за «Письмом Мелодора к Филалету», звучит уже прежний карамзинский оптимизм. Филалет — его устами говорит сам Карамзин — твердо верит в благодать провидения, которое не может допустить гибели просвещения и добродетели. «Семя добра есть в человеческом сердце, — говорит он, — и не исчезнет веки <...>. Верю и всегда буду верить, что добродетель свойственна человеку и что он сотворен для добродетели». Он готов согласиться с Мелодором, что на восемнадцатый век возлагали преувеличенные надежды и прославляли его напрасно, но светлое будущее, в которое Филалет твердо верит, заставляет его примириться с тяжелым наследством минувшего века. «Все неправедное, все ложное гибнет <...> одна истина пребывает веки», — заключает свое послание Филалет. Наконец. «Разговор о счастье» (1797), написанный в форме диалога между теми же Мелодором и Филалетом, еще раз внушает читателю мысль, что счастье существует, и существует не в загробном мире, а на грешной земле. Для того чтобы быть счастливым, надо точно исполнять естественные законы, «а как они основаны на общем добре и противны злу, то быть счастливым есть быть добрым», — так заканчивается диалог.²⁸

Пора сомнений и колебаний прошла, и Карамзин к концу 90-х годов снова обрел обычное для него спокойствие, столь резко нарушенное происшедшими во Франции событиями. Теперь в революции он увидел нечто гораздо более значительное, чем ему показалось при первом столкновении с ней. Но вместе с тем она сделала его политические взгляды более консервативными.

Революция оказала влияние не только на общее мировоззрение и мироощущение Карамзина. Она заставила его задуматься над некоторыми подробностями русской жизни, до сих пор, видимо, мало его занимавшими. Мысль Карамзина обратилась к проблеме, значимость которой постоянно чувствовалась в среде передовой русской интеллигенции. Но после революции эта проблема приобрела особую остроту. Речь идет о крестьянском вопросе. Величайшее народное движение XVIII в., происходившее при самом широком участии крестьянства, не могло не поставить перед русской дворянской интеллигенцией вопроса, суть которого сводилась к одному: может ли в России произойти нечто подобное тому, что случилось во Франции, способен ли русский крестьянин к восстанию против существующего порядка, свойственны ли ему ненависть, злоба, жажда мести, т. е. те качества, проявление

²⁸ Там же, стр. 434, 438—456, 473—479, 497.

которых в первую очередь увидел встревоженный взор русского дворянина в картине народного движения во Франции. Значительная часть русской дворянской интеллигенции ставила вопрос именно в таком психологическом, а не социально-экономическом плане. Поставил его перед собой и Карамзин. Как же он разрешил его?

Две повести Карамзина явились ответом на самый волнующий из вопросов современности: — «Фрол Силин» (1791) и «Бедная Лиза» (1792). Первая из них изображает крестьянина великодушного, щедрого, проникнутого человеколюбием, христиански настроенного. Отзывчивость Фрола Силина на всякое человеческое горе возводится Карамзиным до степени подвига. Правда, Фрол Силин не беден и делится со своими ближними отнюдь не последним, но он всегда полон бескорыстного желания оказать всякому помощь и поддержку. «Бедная Лиза» раскрывает в русской крестьянской душе новую черту — способность к чувствам, которые до того в кругах русских читателей художественной литературы считались уделом лишь немногих. Любовь Лизы к Эрасту, изображенная Карамзиным во всеоружии современного ему мастерства психологического анализа, демонстрирует духовное богатство русского крестьянина.

Читатели обеих «крестьянских» повестей Карамзина должны были сделать тот вывод, на который и наталкивал их автор: русский крестьянин великодушен, отзывчив, религиозен, способен на высокий подвиг любви и самопожертвования, ему чужды злоба, ненависть, жажда богатства. Следовательно, пойти по пути, на который вступило французское крестьянство, он не может, и России нечего опасаться революции.²⁹

Не следует забывать, что этот вывод был сделан Карамзиным почти в то же время, когда создавалось «Путешествие

²⁹ В художественной литературе 90-х годов крестьянский вопрос затронут был не одним Карамзиным. В журналах «С.-Петербургский Меркурий», «Приятное и полезное препровождение времени», «Иппокрена» и других было напечатано множество рассказов, повестей, «анекдотов» под заглавиями, выразительность которых не оставляет сомнения в их одинаковой с Карамзиным тенденции: «Великодушный солдат», «Добрый крестьянин», «Благородство духа в самом низком состоянии», «Честный крестьянин» и т. п. (В. В. Сиповский. Очерки из истории русского романа, т. 1, вып. 2. СПб, 1910, стр. 738). Обилие произведений подобного рода, впервые появлявшихся на страницах русских журналов, свидетельствовало о высокой актуальности крестьянского вопроса, актуальности, порожденной французской революцией. Вряд ли можно согласиться с Сиповским, утверждающим, что появление «крестьянских» повестей и рассказов следует приписать исключительно влиянию «Фрола Силина» Карамзина (там же, стр. 737, 739).

из Петербурга в Москву». Конечно, в свете высказываний о крестьянстве Радищева, в свете его характеристик благостные мысли Карамзина могут быть оценены только как реакционные. Но в реакционности есть разные оттенки, и потому ограничиться определением взглядов Карамзина на крестьянский вопрос как реакционных было бы недостаточно. Они нуждаются в дополнительной характеристике. Необходимость ее становится очевидной, если принять во внимание следующие соображения.

Карамзин, стремясь показать, что русский крестьянин неспособен на бунт, и отталкиваясь при этом от своих выводов по отношению к французскому крестьянину, мог бы противопоставить его «дерзости» и «злодейству» покорность и смирение русского крестьянина. Однако Карамзин в пору создания «Фрола Силина» и «Бедной Лизы» этого не сделал. Персонажи его «крестьянских» повестей не задавленные рабы, с покорностью влачащие свое существование, а сильные духом, способные на высокие побуждения люди.

Революция заставила Карамзина задуматься не только над крестьянской проблемой. Вопросы о взаимоотношениях России и Западной Европы в настоящем и прошлом, о взаимоотношениях русского и европейского встали перед ним с такой же остротой, как и во время пребывания его за границей. Только теперь он решил их иначе. Если в «Письмах русского путешественника» Карамзин выступил с отрицательной оценкой допетровской Руси и горячо приветствовал реформы Петра, то теперь он склоняется к решительному пересмотру своей точки зрения. Резко враждебное отношение к французской революции не могло не отбросить тени на оценку деятельности Петра, сходствовавшей, в представлении Карамзина, с тем, что сделала во Франции революция. В свете своей, после наблюдений и размышлений над событиями во Франции ясно осознанной антипатии ко всяким резким скачкам и переломам он стал по-другому смотреть на Московскую Русь. Эта перемена отразилась в такой сентенции, провозглашенной Карамзиным в повести «Лиодор» (1792): в старину «было в дворянах наших более духа, более характерной твердости, нежели ныне, когда мы, погнавшись за блестящей наружностью других наций, оставили все то, чем бог и натура хотели отличить нас от других народов земли, оставили, забыли самих себя и сделались во всем учениками (и в самой литературе), не будучи мастерами ни в чем».³⁰ Не менее категорически высказался Карамзин в повести «Наталья бояр-

³⁰ Избранные сочинения Н. М. Карамзина, стр. 353

ская дочь» (1792): «Кто из нас не любит тех времен, когда русские были русскими, когда они в собственное свое платье наряжались, ходили своей походкой, жили по своему обычаю, говорили своим языком по своему сердцу, т. е. говорили как думали?»³¹ Подобные высказывания обозначали солидаризацию Карамзина с теми «жалкими иеремиадами» по поводу реформ Петра, которые он высмеивал в «Письмах русского путешественника». Позднее отрицательное отношение Карамзина к реформаторской деятельности Петра обнаружилось с еще большей резкостью, и если он в последующих изданиях «Писем русского путешественника» не внес никаких изменений в свои отзывы о «брадатых предках наших», то это может быть объяснено только тем, что он несколько не хотел скрывать от читателя эволюции своих взглядов.

На рубеже XVIII и XIX вв. феодально-крепостническое государство начинает новый этап своего существования. Новое столетие внесло много нового в общественное сознание и вызвало к жизни множество новых явлений. Общественно-политические взгляды Карамзина в первой четверти XIX в. — отдельная, самостоятельная проблема. Каковы бы ни были пути ее разрешения, ясно одно: дальнейшая эволюция общественно-политического мировоззрения Карамзина может быть понята до конца только при неременном учете тех изменений, какие происходили в его сознании в последнее десятилетие XVIII в.



³¹ Там же, стр. 373; см. также стр. 378.



Ю. М. ЛОТМАН

ПУТИ РАЗВИТИЯ РУССКОЙ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ПРОЗЫ XVIII ВЕКА

Становление русской литературы XVIII в. совпало с образованием двух основных типов романа: «высокого», политического, и «низкого», плутовского.

Политический роман, воплощая принципы рационалистической эстетики, как и трагедия классицизма, решал «высокие» государственные задачи. Содержание романа, как правило, посвящено было поискам истины, чаще всего политической. Главный герой — в большинстве случаев будущий монарх — сталкивался с различными типами управления, разными политическими системами, персонифицированными в образах правителей и вельмож воображаемых государств. Идеальный спутник героя, олицетворяющий отвлеченный разум, выносил им приговор. Все действие совершалось в сфере идей, все действующие лица воплощали концепции, существующие не только вне реальных социально-исторических условий, но и вне бытовой конкретизации. Окружающий героев быт, чаще всего заимствованный из арсенала античной литературы, имел насквозь условный литературный характер. Введение археологически конкретного материала, в духе «ученого» романа Бартеlemi, разрушило бы самую природу абстрактной образности политического романа. На эту особенность политического романа указал еще Карамзин, писавший: «Кто не знает Телемака Гомерова и Телемака Фенелонова? Кто не чувствовал великой разности между ними? Возьми какого-нибудь пастуха — швейцарского или русского, все равно, одень его в греческое платье и назови его сыном царя итакского: он будет ближе к Гомерову Телемаку, нежели чадо Фенелонова воображения, которое есть не что иное, как идеальный образ Царевича французского,

ведомого не греческой Минервою, а французскою философию».¹

Эстетическая природа политического романа требовала и своеобразной композиции: поскольку сюжет строился как цепь эпизодов, подчиненных идее искания истины, композиционно он воплощался чаще всего в форме путешествия. Это было не странствие по реальной географической карте, а путешествие сквозь политические системы, путешествие по воображаемой карте идей. В зависимости от того, мыслились ли эти системы и идеи автором как отрицательные или он относился к ним апологетически, повествование приобретало осудительный характер или черты литературной утопии. Однако в любом случае, герои входили в произведение лишь своими отвлеченно-умственными и нравственными качествами, а страны — законами, образом мысли правителей, моралью жителей.

Типовой политический роман рационалистического толка исходил из общих искусства эпохи классицизма представлений о человеке как существе, наделенном «божественным» разумом и низменными эгоистическими страстями. Степень подчинения страстей разуму соответствовала месту героя в иерархии персонажей. Поскольку государство мыслилось как защитник общей пользы, а сама эта польза объявлялась равнозначной разуму и противоположной личному эгоизму отдельных людей, утверждалось, что руководство в государстве должно принадлежать наиболее разумным — дворянам, а народ — раб страстей — может быть лишь объектом управления. Вместе с тем государь, не предводимый разумом, обуянный страстями, является тираном, недостойным своего сана.

Подобная теория соответствовала классовым интересам дворянского государства, она оправдывала угнетение народной массы как неизбежное подавление «эгоистов» ради общего блага, а господство дворян объявляла триумфом самопожертвования со стороны просвещенного меньшинства, отказывающегося от личного счастья ради государственной пользы.²

Окружавшая русского писателя в середине XVIII в. действительность мало походила на идеальное царство разума. Государственная теория рационалистов оправдывала господство абсолютизма. Но она же могла стать основой для критики действительно существовавшего государственного по-

¹ Н. М. Карамзин Письма русского путешественника. Московский журнал, 1791, ч. 1, кн. 1, стр. 99.

² Подробный анализ классовой природы государственной теории классицизма см. в кн. Г. А. Гуконский. Очерки по истории русской литературы XVIII в. Изд. АН СССР, М., 1936

рядка. Пусть при этом современность обличалась за отклонение от идеала дворянского государства (справедливость самой идеи абсолютизма еще не подвергалась сомнению), пусть речь шла лишь о том, что данный конкретный монарх не соответствует своему высокому сану, — для формирующегося антидворянского лагеря и это представляло значительный шаг вперед. Не подвергая еще сомнению мысль о том, что идеальное дворянское государство — это лишь орудие общей пользы, а абсолютный монарх — венценосный слуга общества, писатель начинал критиковать данного монарха и данный общественный порядок, открывая тем самым традицию критики действительности в литературе. Не случайно сыграла столь значительную роль в истории русской литературы XVIII в. идея сатиры «на лицо» опиралась именно на представление о несоответствии тех или иных конкретных государственных деятелей (включая и императрицу) теоретическому идеалу монарха, государственного мужа, вельможи.

Необходимо отметить еще одну особенность политического романа: хотя он и существовал как прозаический жанр, но по своим задачам он соотносился с эпосом классицизма. Помимо общности сюжетно-идеологической, он имел и формальное родство с эпосом. Он был героичен, не исключал элементов фантастики, полностью игнорировал характерный быт, подразумевал обильную смену картин, странствия и войны.

Нельзя не заметить и близости стилистических средств. Политический роман тяготел к «высокому», «благородному» слогу, порой приближался к ритмической прозе (Херасков). Показательно, что еще Фенелон подчеркнул эту сторону своего произведения. Превращение Третьяковским «Приключений Телемака» в «Телемахиду» в этом смысле в высшей мере знаменательно.

Русский плутовский роман возник в XVII в. в ходе формирования литературы, независимой от идеологического и стилистического влияния церковной культуры. Вместо идеи страдания на земле и загробного блаженства он выдвигал стремление к земному материальному счастью, причем в наиболее конкретных, чувственных и даже примитивных его формах.

Герой средневековой литературы был пассивен, им играли внешние силы, толкавшие его произвольно то на добродетельные, то на злые поступки. Более того, пассивность, отказ от своей воли, подчинение власти обычая, авторитета (родительского, церковного, государственного) рассматривались как добродетель. Реакция на средневековый аскетизм в литера-

турной среде, культивировавшей произведения типа «Фрола Скобеева», оформлялась как оправдание стремления к земному счастью, как проповедь активности.

В сознании средневекового писателя земная и небесная жизнь представляли как бы огромное целое, спаянное единством религиозных представлений. Конкретные явления земной жизни объявлялись быстро преходящими, тленными. Все материальное — пища для гниения — отодвигалось на задний план, давая дорогу вечным и незбылемым духовным сущностям. Эмпирическая пестрота действительного мира объявлялась лишь тенью бесплотного единства потустороннего царства. Подобно этому и в социально-политической жизни целостные идеологические понятия, такие, как церковь, обычай, государство, подавляли живую реальность человеческой личности.

В посадской литературе XVII в. освобождение от гнета церковной морали в первую очередь воспринималось как освобождение живой, реальной человеческой личности от власти отвлеченных идей. Высвобожденная из-под гнета мертвых догм личность обнаруживала вокруг себя бесконечные источники счастья, наслаждения, радости, а в себе самой — брызжащий родник энергии.

Вместе с тем эмпиризм сознания посадского человека XVII в., не признающего никаких отвлеченных норм, приводил к своеобразным явлениям. Отбросив церковную мораль жертвенности, авторы ставили на ее место интересы отдельного, конкретно данного человека. Вместо церковного идеала страдания на земле, подчинения реальной личности господству абстракций, литература выдвигала мысль о борьбе за земное счастье и отказ от любых отвлеченностей. Абстракцией объявлялась не только церковная мораль, но и сама мысль о морали. Герой стремился к земному благополучию, и вопрос о недозволенности каких-либо средств на пути к этой цели вообще перед ним не вставал.

Во Фроле Скобееве и автор, и читатель ценят ловкость, находчивость, житейскую активность, вопрос же о моральной оценке его действий не возникает в их сознании. Торжество Фрола Скобеева, Татьяны Сутуловой или бражника, который попадает в рай, ловко доказав, что все святые — пьяницы, грелюбодейцы и клятвопреступники, не вызывает у автора ни тени моралистических рассуждений. Не отягченный не только церковным морализмом, но и вообще, нравственными принципами, герой готов прибегать в жизненной борьбе к любым средствам, и автор не осуждает его за это. Татьяна Сутулова рассказывает воеводе про «попа и про архиепископа все под-

линно: и како повелеша им в конх часех приходити, и како их обманывала и в сундуках запирала. Воевода же, сне слышав, подивился разуму ее».³ Герой Чулкова студент Неох не только совершает поступки самого сомнительного свойства, но и прямо объясняет, что не гнушается ничем: «Я человек такой, из которого вы все сделать можете, что только похотите; я могу быть самой нежной Адонид, проворной Меркурий и искусный стряпчей; буду за вашими делами ходить с таким усердием, как будто за моими собственными».⁴ Героиня другого романа Чулкова, «Пригожая повариха», признается: «Я не знала, что есть на свете благодарность, и о том ни от кого не слыхивала, а думала, что и без нее прожить на свете возможно»; и в другом месте: «Кто ж добродетельнсе всех, об этом я не ведаю, да думаю, что и многие из канцелярского племени о том тебе не скажут, ибо редко мы слышим о добродетели».⁵ Наиболее полно такое мироощущение выразил один из героев «Похождений Жиль-Блаза»: «Я столько же готов сделать доброе дело, как и худое».⁶

Становясь жертвой чужого аморализма, будучи обманутыми или ограбленными, герои воспринимают это как должное, считая, что к жизненной борьбе моральные критерии неприменимы: «Неправ медведь, что корову съел, неправ и корова, что в лес забрела».⁷ Эгоистическая сущность человеческих отношений предельно обнажена. Герои не признают «идеальных» побуждений: «Первое сие свидание было у нас торгом, и мы ни о чем больше не говорили, как заключали контракт, — он торговал мои прелести, а я уступала ему оные за приличную цену, и обязались мы потом расписками, в которых была посредником любовь, а содержательница моя — свидетелем».⁸ Жалобы героини на покушение на ее честь вызывают у автора скептическое замечание: «Правда или нет, что она так много сожалела о своем целомудрии, того я и сам не знаю. Кажется мне, что всякая взрослая девушка охотно согласится поамуриться в темной беседке, где никакого стыда на лице приметить не можно».⁹

³ Русская повесть XVII в. Гослитиздат, М., 1954, стр. 154.

⁴ М. Чу л к о в. Пересмешник, или Славенские сказки, ч. III. Издание третье с поправлениями, М., 1789, стр. 177.

⁵ М. Чу л к о в. Пригожая повариха, или Похождение развратной женщины. В кн.: Русская проза XVIII в., т. I. Гослитиздат, М.—Л., 1950, стр. 164 и 167.

⁶ Похождения Жиль-Блаза де-Сантилланы, описанные г. Лесажем, а переведенные Василием Тепловым, ч. III, СПб, 1768. стр. 1—2.

⁷ М. Чу л к о в. Пригожая повариха... , стр. 165.

⁸ Там же, стр. 161.

⁹ М. Чу л к о в. Пересмешник, или Славенские сказки, ч. I, стр. 43.

Поскольку герой плутовского романа выбросил вместе с церковной моралью весь груз общих этико-политических представлений, окружающее общество рассыпалось перед средневековым человеком на ряд не связанных между собой человеческих единиц, из которых каждая преследует лишь одну цель — чувственное преуспеяние. Если во «Фроле Скобееве» хищник еще окружен простодушными и несколько растерянными людьми, типа стариков Ордын-Нащекиных или стольника Ловчикова, которые с изумлением наблюдают удачливое «воровство» героя, то в дальнейшем хищник начинает действовать среди хищников. Автор убежден, что единственной реальной связью между людьми является враждебное соперничество из-за материальных благ. Если герой говорит о каких-либо побуждениях, не сводимых к чувственной любви, жажде богатства и т. д., то это значит, что автор задумал образ лицемера, скрывающего свои вожделения ссылкой на несуществующие общие этические нормы, чаще всего церковные.

Отсюда и своеобразный «реализм» прозы подобного типа — привязанность к изображению эмпирической действительности. При этом автор может обнаружить умение пристально наблюдать отдельные факты, точно воспроизводить во всех деталях отдельные явления данной действительности.

С другой стороны, автор не имеет концепции человеческого общества и человеческого характера: враждебным ему теориям он противопоставляет не свои теории, а апологию эмпирической практики. С этим связано и стремление авторов придать своим повестям подчеркнуто документальный характер введением ссылок на точные исторические даты, точным указанием места действия. С этим же связано и другое: введение в бытовую повесть имен исторических деятелей (боярин Шеин, Ордын-Нащекин и т. д.). Для того чтобы проявлять интерес к сюжету, читателю нужно верить, что так было.

Бытовая повесть XVII в. о герое-плуте послужила материалом для плутовского романа XVIII в., связанного с ней общими чертами, но представляющего своеобразное явление.

Сохранив антицерковную направленность (и в виде практического игнорирования норм церковной морали, и в виде прямых сатирических выпадов против всевозможных «жрецов»), «эмпирический» роман XVIII в. о плуте приобрел и нового противника — дворянскую этику и дворянскую государственную теорию. Теперь он противостоял идеологии и стилистике всей дворянской литературы в целом, с ее героизацией жертвы личным благом во имя общей, государственной пользы, в частности — политическому роману. Аморализм

героя, его неукротимая жажда личного жизненного успеха, его презрение к «теории» сделали его антиподом подавляющего «гибельные» страсти героя трагедий Сумарокова и романов Хераскова.

Считая антиобщественный «эгоизм» неотъемлемым качеством человека и не веря в то, что отвлеченные идеи могут пересилить чувственные побуждения, автор плутовского романа не возлагает на литературу никакой учительной роли. Он решительно отказывается учить читателя, внушать ему какие-либо идеи. Это придает сатире Чулкова, его пониманию смеха принципиально иной характер, чем тот, который был присущ, скажем, сатире Н. И. Новикова.

Плутовской роман XVIII в. отличался от новеллы о плуте XVII в. одной существенной чертой. Возникнув в результате циклизации подобных новелл, включая и переводные повести, и фольклорные бытовые сказки, он строился по образцу западноевропейского плутовского романа — типа испанского («Лазарильо из Тормеса», «Плутовка Жюстина» или «Великий плут» Кеведо), французского («Жиль Блаз») или английского («Молль Флендерс»).

Плутовская новелла, изображая быструю победу ловкого героя, была проникнута духом уверенности в неизбежном торжестве инициативы над пассивностью, верой в закономерность поражения слабых и неприспособленных людей. Она возникала в период, когда основным злом была узда, наложенная церковной моралью на инициативу человеческой личности, и когда читатель верил, что эта инициатива сама по себе, вне зависимости от своей направленности, является достоинством и одновременно гарантирует успех. Герой, играя судьбами других людей (как это делает, например, Фрол Скобеев), оставался хозяином собственной судьбы.

Плутовской роман писался значительно позже. Бесконечные взлеты и падения его героя отражают совершенно иное авторское мироощущение. Мир раскрывается перед героем как социальный хаос, как скопление не связанных никакими общими понятиями людей. Инициатива одной личности на каждом шагу сталкивается с устремлениями других, не менее напористых индивидов. Миром правит не энергичная воля личности, а слепой случай. Случай — результат столкновения бесчисленных человеческих вожделений, не управляемых никаким общественным разумом, — подстерегает человека на каждом шагу. Герой является теперь зачастую не только нападающей, но и обороняющейся стороной: ему необходимы бесконечные ухищрения, чтобы противостоять плутням других людей, стремящихся урвать у него материальные блага.

Борьба как основной жизненный закон уже совсем не вызывает восторга у автора. Он просто считает это неизменным свойством человеческого общежития и принимает его как факт, так же как он принимает человеческую злобу, алчность, зависть, считая их присущими человеку, но отнюдь ими не восхищаясь. Показательно, что основная причина жизненной борьбы — деньги, бывшие в глазах автора «Фрола Скобеева» или «Карпа Сутулова» абсолютным благом, — в плутовском романе XVIII в. начинает все чаще встречать осуждение.

Таким образом, если плутовская новелла давала четкую и оптимистическую картину торжества реального и здравого смысла, вооруженного волей, над иррациональной аскетической моралью и простодушной пассивностью людей, не привыкших завоевывать земные блага в упорной борьбе, то плутовской роман рисовал совсем не столь бодрую картину: теперь само стремление бесчисленных человеческих единиц к материальному благополучию превращалось в слепую, иррациональную силу, обращающую в ничто усилия ума и воли отдельного человека.

Изображение мира как скопления слепых случайностей имело двойной смысл. С одной стороны, оно противостояло оптимизму религиозного взгляда, утверждению, что все явления жизни «строятся» по божественному промыслу и плану, имеют высшую цель и оправдание. Именно это позволило Вольтеру воспользоваться композиционной структурой подобного романа для антирелигиозной повести «Кандид, или Оптимизм». Антирелигиозный смысл идеи о хаотичности явлений жизни подчеркнул и Фонвизин в «Послании слугам моим».

Благодаря обилию эпизодов, широте интриги, вовлекающей героев всех общественных кругов, роман становился эпичным, и сам эмпиризм автора, его враждебность теоретическому мышлению начинали приобретать характер своеобразной теоретической позиции.

Таким образом, разрушая церковные и отвлеченно рационалистические этические воззрения, защищая право человека на счастье, утверждая интерес к эмпирической действительности, вводя широкую картину реальной жизненной борьбы, плутовской роман тем самым подготавливал просветительский роман, появившийся в русской прозе в последней трети XVIII в.

Но, с другой стороны, когда философский роман просветителей уже возник, обнаружилось резкое расхождение между ним и «эмпирическим» романом, с его отрицанием теории и теоретического мышления и моралью «человек человеку — волк». Вместо просветительских представлений о

врожденно доброй или социально детерминированной природе человека и об ответственности общества за искажение прекрасных возможностей человеческой личности, плутовской роман проповедовал идеи врожденного эгоизма и взаимной враждебности людей. Просветители боролись за «естественный» общественный порядок, а плутовской роман внушал, что существующий строй жизни — единственно возможный. Просветители понимали право на эгоизм как право на борьбу за общество, при котором выгода одного будет выгодой для всех, а писатели типа Чулкова истолковывали это право в смысле утверждения своего личного благополучия в мире вечного общественного зла.

Являясь отражением миросозерцания просыпающейся демократической массы, готовой на борьбу сначала лишь за личное утверждение в несправедливом обществе, плутовской роман с того момента, когда демократия созрела до идеи борьбы за социальное освобождение и когда была выработана теория борьбы, своим презрением к любому теоретическому мышлению утверждал уже лишь отсталость, идейную незрелость породившей его среды. Он был первым шагом демократической литературы, но как только был сделан второй шаг, плутовской роман превратился в тормоз, препятствие на пути распространения демократических идей. Молчаливо подразумевая, что зло в человеческом обществе вечно, писатель-эмпирик в момент решительной антифеодальной борьбы, несмотря на свою враждебность феодальному порядку, оказывался противником и просветительских идей. Показательно, что в 80-е годы XVIII в., в период расцвета просветительского романа в России, читательский интерес к плутовским романам падает — они почти перестают появляться.

Новый этап в развитии русской прозы связан с просветительским философским романом.

Просветительская идеология, отрицая феодальный порядок как систему, исходила из идеи природного равенства людей, их естественной склонности к добру и праву на земное счастье. Подобные представления складывались в целостную идеологическую систему, в которой и социология, и философия, и этика, и политика, и воззрения на искусство органически дополняли друг друга и были пропитаны духом борьбы с насильственным ограничением человеческой личности и словным неравенством.

Антифеодальная идеология просветителей базировалась на представлении о существовании определенной, раз навсегда данной, «естественной» природы человеческой личности. В качестве «естественных» свойств человека мыслились склонность

к добру, способность к счастью, право на свободу и собственность, созданную личным трудом. «Человек — существо свободное, поелику одарено умом, разумом и свободною волею», «свобода его состоит в избрании лучшего», «сие лучшее познает он и избирает посредством разума, постигает пособием ума и стремится всегда к прекрасному, величественному, высокому».¹⁰ С этим положением были связаны и отрицание врожденных свойств, и мысль о зависимости человека от окружающей действительности. «Человек рождается ни добр, ни зол. Утверждая противное того и другого, надлежит утверждать врожденные понятия, не бытие коих доказано с очевидностью. Следственно, злодеяния не суть природны человеку; следственно, люди зависят от обстоятельств, в коих они находятся».¹¹

Из этой основной предпосылки вытекал вывод о том, что источником зла является окружающая действительность феодального общества, которая «неестественна» и «искажает» прекрасные возможности человека. Угнетение объявлялось не только несправедливым, но и глупым, не только результатом корысти угнетателей, но и плодом недостаточного понимания основ человеческого общежития. Необходимо отметить, что существенной стороной просветительского мировоззрения являлся материализм (в той его специфической форме, которая возникла в XVIII в. и характеризовала весь домарксовский материализм). Маркс прямо указывал на связь сенсуалистической гносеологии материалистов XVIII в. с требованием освобождения человека от пут феодализма. На основе философии материализма выростала и идея народного суверенитета, и этика «разумного эгоизма», столь характерные для просветителей.

Вместе с тем — и это очень важно именно для истории русской общественной мысли — борьбу с церковным мировоззрением начали не просветители, а рационалисты предшествующего периода, борцы за разум и науку, идеологи дворянского абсолютизма. Деятели этого типа не ставили еще вопроса о ликвидации феодального порядка; напротив, идеализируя абсолютизм, они субъективно ждали решения социальных конфликтов от самого этого порядка, требуя лишь «очищения» его, возвышения до «разумности». Именно поэтому просветители, продолжая во многом рационалистов XVII—

¹⁰ А. Н. Радищев, Полное собрание сочинений, т. I, Изд. АН СССР, М.—Л., 1938, стр. 215.

¹¹ Там же, стр. 191.

начала XVIII в., одновременно боролись с ними, преодолевали их теории.

Просветители появились в России с момента образования буржуазно-демократической идеологии как целостной системы, вооруженной своей политической теорией — философией, социологией и эстетикой, т. е. в последней трети XVIII в.

Просветительство, как особая форма общественного сознания, породило и новую форму прозаического произведения большого жанра — философский роман XVIII в. Мы отделяем этот жанр от предшествовавших ему и частично сосуществовавших вместе с ним политического (или рационалистического) и плутовского (или «эмпирического») романов. Примыкая к последним, роман, определяемый нами как философский, не только имел ярко выраженную своеобразную физиономию, но и в значительной степени противостоял предшествующей традиции и боролся с ней.

Рационалистический роман имел только один идейно-стилистический план — мир идей, поскольку все реальное, бытовое рассматривалось как материал, лежащий вне литературы. Плутовской роман тоже был одноплановым — он отбрасывал идеологический план, замыкаясь в сферу лишь эмпирически данного. Сама сущность философского романа просветителей требовала наличия в нем двух планов: жизни в ее реальном облике и жизни в ее «естественном виде». Кроме того, противопоставление теории и реальности приобретало новый смысл: действительность отталкивала не своей грубо материальной природой, а своей социальной уродливостью. Рассказ о социально-справедливом порядке не «очищался» от бытовых, вещественных деталей. Это, в частности, привело к новому изображению античности. Двуплановый подход к явлениям действительности мог в практике художественной прозы реализовываться несколькими путями. Писатель мог сосредоточить внимание на «естественном» развитии, вынеся сопоставление его с реальной действительностью за скобки и предоставляя делать это сопоставление самому читателю. Так возникали утопии об «естественном» обществе и сюжеты, построенные на «робинзонаде». Герой, изъятый из общества, развивался по законам человеческой природы, не зная угнетения и общественного зла. Повествование о воспитании по образцу «Эмиля» Руссо или рассказы о жизни путешественника, оказавшегося на необитаемом острове, позволяли отделить истинные потребности от ложных, противоестественные привычки, воспитанные модой и обществом, от вытекающих из самой природы прав, интересов и склонностей. К этому же

ряду относятся произведения о «добрых» дикарях, их естественной и счастливой жизни.

В 1804 г. появился русский оригинальный роман «Дикая Европейка».¹² Роман противоречив и незрел. Но любопытно, что в завязке его повествуется о том, как некий человек, «читая историю диких индейн, встречая там мысленно нагих, прельстясь описываемым царствующим в тех краях блаженством (<...>), предположил в мыслях своих опыт тому в Европе». Решившись воспитать себе верную и «естественную» жену, он похитил двухлетнюю девочку и воспитал ее в совершенном уединении. Она, «находясь в сем едикуле, не имела ни понятия, ни смыслу, совершенно росла до двадцати лет как дикая». Героиня рассказывает: герой «содержал меня всегда нагую и сам в таком виде ко мне хаживал, игрушки, пищу и питание приносил один и совершенно приучил меня признавать и чувствовать, что в природе только нас двое с ним существует».¹³ «Дикая Европейка» сама, без учителей, приходит к важнейшим истинам и постигает самое «естественное» из всех чувств — любовь: «О, таинственная натура! Для'чего не сокрыла ты (<...>) от меня последнего чувства? Любви (<...>). Удивительные свойства природы! Говорить я не умела, кроме самых нужнейших слов, какими изучил меня мой наставник, но любить и без науки научилась, сам он удивился, приметя то».¹⁴ Автор романа не развернул этого эпизода и не придал ему социально-обличительного смысла. Вообще, рассказы о «счастливых пастухах» и «диких» чаще всего были связаны с тем выхолощенным «руссоизмом», который был вполне приемлем и для умеренных дворянских либералов.

Сопоставление «естественных» мыслей человека, воспитанного в соответствии с его прекрасными возможностями, и предрассудков, уродливостей современного общества сообщило произведению ту двуплановость, которая составляла отличительную черту просветительского философского романа.

Появлялись романы, где сопоставление «дикого» и человека современного общества переносилось и на русскую почву. Назовем хотя бы роман П. Богдановича «Дикий человек, смеющийся учености и нравам нынешнего света», вышедший в Петербурге в 1781 и, «вторым тиснением», в 1790 г.

¹² Дикая Европейка, или Исправление преступления одного добродетелью другого. СПб., 1804.

¹³ Там же, стр. 9—10.

¹⁴ Там же, стр. 11—12

П. Богданович был человеком, бесспорно «захваченным просветительскими идеями».¹⁵ Взгляды П. Богдановича не свободны от противоречий, но критическое отношение его к самодержавно-крепостническому порядку сомнений не вызывает. П. Богданович не во всем согласен с «женевским гражданином», для критики идей которого он использует доводы Вольтера. В приложении к роману он поместил перевод «Разговора дикого с бакалавром из сочинений г. Вольтера». Однако и с последним его позиция совпадает далеко не полностью. В его романе «дикий» совсем не в восторге от имущественного неравенства и не считает его нормальным. Он изумлен тем, что мать его возлюбленной выставляет требование: «Чтобы вы имели несколько земли (<...>), чтобы могли сказать: моя земля, мой дом и пр., но как притом все уже земли заняты и все принадлежит одной половине людей, а другая владеть оными ожидает своей очереди, то покамест не придет ваша очередь, я вам запрещаю изъясняться в любви перед дочерью моею».¹⁶ Ацем (имя «дикого») подвергся нападению разбойника. «Ты жестокосерднейший из всех людей на свете. — Нет, — отвечивал ему разбойник, — я с жалостию у тебя одного (кошелька, — Ю. Л.) спрашиваю, необходимость меня к тому понуждает. Я рожден от таких родителей, которые никогда ни на одну ступень земли у себя не имели: они выучили меня ремеслу (<...>), но обстоятельства времени сделали оное для меня бесполезным, и меня самая крайность принудила приняться за разбойничество».¹⁷

Разбойник — тоже своего рода «естественный» человек, он изгнанник из общества. И то, что он выступает не как преступник, а как жертва, раскрывает преступность общественного порядка. Если роман начинается тем, что «дикий человек, скитавшийся в одних токмо лесах и пустынях (<...>), вознамерившись обозреть все различные народы, обитающие на сем малом земном шаре, пришел некогда (<...> в столицу самого просвещеннейшего государства»,¹⁸ то в конце он ее с проклятием покидает: «Ах! Боже мой! — вскричал Ацем, — что слышу я? Ах, чудовища! Жестокие, бесчеловечные! Нет, не хочу более у вас оставаться: непостоянство ваше приводит

¹⁵ Л. Светлов. А. Н. Радищев и политические процессы конца XVIII в. Сб. «Из истории русской философии XVIII—XIX в.», Изд. МГУ, М., 1952, стр. 64—65; Г. Макогоненко. Новые материалы о Д. И. Фонвизине и неизвестные его сочинения. Русская литература, 1958, № 3, стр. 137.

¹⁶ П. Богданович. Дикий человек, смеющийся учености и правам нынешнего света. Второе тиснение, СПб., 1790, стр. 51.

¹⁷ Там же, стр. 43—44.

¹⁸ Там же, стр. 6.

меня в ужас; я менее буду подвержен бедствиям, скитаясь по самым дремучим лесам; там могу я следовать по своей воле движениям естества, и там и львы и тигры не столь свирепы». ¹⁹ Правда, противник руссоистской идеи «уединенного жития», П. Богданович отправляет своего героя искать страну, «где люди лучше, справедливее, человеколюбивее, великодушнее и чувствительнее поступают», ²⁰ но, оставаясь в цензурных возможностях, автор не мог изобразить утопической картины всеобщего равенства и благоденствия и оборвал на этом роман.

Идеал «естественного» человека, с точки зрения которого оценивается действительность, мог быть воплощен не только в дикаре, но и в ребенке. В этом отношении особо примечательен «Отрывок путешествия в... И*** Т***».

«Отрывок путешествия в... И*** Т***», сделавшийся предметом многолетней полемики, остается до настоящего времени еще недостаточно изученным. Большинство писавших о нем сосредоточивали свое внимание на вопросах атрибуции, ограничиваясь самой общей характеристикой идейного содержания (в «Отрывке» искались призывы к революции или надежды на «благополучную» деревню, в зависимости от того, чье авторство отстаивал исследователь). Художественной природой «Отрывка» почти никто не занимался. ²¹ Между тем произведение это является одним из наиболее ранних и ярких образцов социально-философской, просветительской прозы.

Прежде всего необходимо отметить, что «Отрывок» представляет собой фрагмент замысла романа, вероятно осуществленного в значительно более широких рамках, чем известный нам текст. Совершенно недвусмысленное и дважды повторенное в первопечатной журнальной редакции указание на главу XIV не может рассматриваться как фиктивное. Это необходимо, во-первых, учитывать при решении возбужденного столь острые споры вопроса атрибуции: следует выяснить, обладал ли писатель, которому мы приписываем сочинение «Отрывка», склонностью к созданию социально-философских романов — жанра для XVIII в. с весьма рельефно очерченной идеологической и тематической физиономией. Во-вторых, необходимо оценивать «Отрывок» не в связи с образно-стилистической системой сатирических журналов 1769—1774 гг., выработавших очень четкие и устойчивые жанровые приемы, а в ряду романтических произведений.

¹⁹ Там же, стр. 53.

²⁰ Там же.

²¹ Исключение составляет в этом отношении исследование Г. П. Макогоненко «Радищев и его время» (Гослитиздат, М., 1956, стр. 427—432).

Идейное истолкование «Отрывка», данное еще Добролюбовым, по определению которого в этом произведении «уже слышится ясная мысль о том, что вообще крепостное право служит источником зол в народе»,²² до сих пор остается в силе. Для нас представляет интерес и другое: как, какими художественными средствами автор реализует свою антикрепостническую позицию.

«Отрывок» построен весьма знаменательно. Сталкивая два описания жизни — крестьян и богачей, «любимцев Плutowых», автор вводит в повествование образы трех грудных младенцев. Мысль о «естественной», антропологической склонности человека к добру и об искажении этой склонности в современном обществе не была специфична лишь для так называемого «руссоизма» (термин, которым гораздо чаще пользуются, чем определяют его содержание) или для философов XVIII в. — она присуща самой природе демократического мышления эпохи феодализма и широко представлена в русской литературе. Не случайно впервые использованный в «Отрывке» образ ребенка в качестве критерия справедливости окружающего его мира пройдет через всю русскую литературу XIX в. Для того чтобы создать такой образ в начале 1770-х годов, надо было пережить своеобразный идейно-художественный перелом. До тех пор, пока добродетель человека ставилась в прямую зависимость от его «разумности», а чувства оценивались как источник «эгоистических», антиобщественных устремлений, положительный герой — и это характерно не только для Сумарокова, но и для Фонвизина — должен был быть «разумным». Для Фонвизина «Простаков» — значащее имя для характеристики глупого, т. е. отрицательного, персонажа. Простак же Вольтера — положительный герой именно в силу детского простодушия характера, ставящего его вне мира социального зла. Показательно, что уже Нарезный в «Российском Жиль-Блазе» использовал фамилию «Простяков» как значащее имя для положительного персонажа. Рупором авторских идей у Фонвизина выступает Стародум — человек, умудренный опытом, годами, чтением нравственных сочинений. Ребенок вводится в литературу лишь как объект воспитания. Он раскрывает свои положительные качества прилежным усвоением наук, тем, что рассуждает как взрослый. Митрофан же, сохраняющий детский ум в недетском возрасте, — отрицательный персонаж.

Для того чтобы сделать ребенка не только положительным героем, но и носителем лучших человеческих качеств,

²² Н. А. Добролюбов, Полное собрание сочинений, т. II, ГИХЛ, [М.—Л.], 1935, стр. 170.

надо было поставить нравственную ценность в зависимость не от ума, а от близости к «природе человека». Такой подход подразумевал мысль о том, что сам «разум идет чувствованиям вслед», «по системе Гельвециевой», как скажет А. Н. Радищев.²³

Хотя осуждение дворян произносится в «Отрывке» детьми разных возрастов (эпизод с крестьянскими детьми, разбегающимися при виде дворянского мундира), но центральное место занимают образы трех грудных младенцев, воплощающих три основные черты природы человеческой личности. Автор «Отрывка», бесспорно, читал «Эмиля» Руссо, где образ грудного младенца неоднократно выступает в той же роли. Руссо писал: «Жалуются на состояние детства, а не видят того, что род человеческий погиб бы, если б человек не начал с состояния детства».²⁴ И далее о грудных младенцах: «Их первый голос, говорите вы, плач? Охотно верю: вы угнетаете их с самого рождения; первые дары, которые они получают от вас — цепи; первое обращение, которое они испытывают с вашей стороны — пытки. Располагая свободно только голосом, могут ли они не воспользоваться им для жалобы? Они кричат о зле, которое вы им делаете; если бы вас так связали, вы бы кричали громче их».²⁵ Руссо прямо связывал природу ребенка с социальными проблемами современности: «Никогда не забуду, как на моих глазах один из этих несносных плакс²⁶ получил шлепок от своей кормилицы. Он моментально умолк: я подумал, что он испугался. Я сказал себе: это будет рабская душа, от которой ничего не добьешься иначе как строгостью. Я ошибся: несчастный задохнулся от гнева, он почти перестал дышать; я видел, как он посинел. Минуту спустя последовали пронзительные крики; все признаки злобы, бешенства, отчаяния этого возраста сказались в его звуках. Я боялся, что он испустит дух от волнения. Если бы я сомневался в том, что чувство справедливого и несправедливого врожденно душе человеческой, то один этот пример убедил бы меня. Я уверен, что раскаленная головешка, упавшая случайно на руку этого ребенка, была бы для него менее чувствительна, чем этот шлепок, довольно легкий, но данный с очевидным намерением оскорбить».²⁷

²³ А. Н. Радищев, Полное собрание сочинений, т. III, 1952, стр. 346.

²⁴ Ж.-Ж. Руссо, Эмиль, или О воспитании. СПб., 1913, стр. 12.

²⁵ Там же, стр. 19.

²⁶ Плач ребенка, по Руссо, — результат неудовлетворения «естественной» потребности: «Когда ребенок плачет, ему не по себе, он испытывает какую-нибудь потребность, которую не может удовлетворить» (там же, стр. 42).

²⁷ Там же, стр. 42—43.

Речь, конечно, идет не о каком-либо заимствовании внешнего приема, — точно так же как интерес к детям (и особенно крестьянским) у Тургенева, Некрасова, Толстого и Чехова, каждый раз своеобразно переосмысленный, не представлял заимствования, а вытекал из природы мировоззрения каждого отдельного писателя. Автор «Отрывка путешествия в... И*** Т***» резко подчеркнул этот мотив: он ввел в повествование трех грудных младенцев одного возраста в одной и той же избе — случай редкий и маловероятный с точки зрения житейского правдоподобия, той эмпирической правды, которая привлекала, например, Чулкова. Но автора в данном случае это не беспокоит. В бытовом ключе дано отрицательное — описание жизни крестьянина; здесь отклонения от правдоподобия были бы нарушением торжественно сформулированного принципа: «Истина пером моим руководствует!». Но младенцы представляют «теоретический» план отрывка. Они призваны нести «философскую» правду о природе человека. В данном случае осуществляется тот принцип, который сформулировал Руссо, характеризуя романы Вольтера: «Он нарушал, не нарушая правды».²⁸ Недаром помощь младенцам оценивается автором «Отрывка» как «услуга человечеству».²⁹

Весьма интересно рассмотрение вопроса, что же считает автор «Отрывка» «естественными» свойствами человека. Первая потребность — пища: «Увидел я, что у одного упал сосок с молоком; я его поправил, и он успокоился». Далее следует стремление к сохранению жизни: «Другого нашел обернувшегося лицом к подушонке из самой толстой холстины, набитой соломою; я тотчас его оборотил и увидел, что без скорой помощи лишился бы он жизни, ибо он не только что посинел, но и, почернев, был уже в руках смерти; скоро и этот успокоился». Третий младенец олицетворяет стремление избежать страданий: «Подошел к третьему, увидел, что он был распеленан, множество мух покрывали лицо его и тело и немилосердно мучили сего ребенка; солома, на которой он лежал, также его колола, и он произносил пронзающий крик. Я оказал и этому услугу (<...>); замолчал и этот».³⁰

Автор сразу же истолковывает протест младенцев как свидетельство наличия у человека природных, неотъемлемых прав и прямо переходит к общим социальным вопросам. Отсутствие пищи и страдания младенцев — философская «ро-

²⁸ J.-J. Rousseau, Oeuvres complètes, t III, Paris 1824.

²⁹ Сатирические журналы Н. И. Новикова. Изд. АН СССР, М.—Л, 1951, стр. 296.

³⁰ Там же.

бинзонада», свидетельствующая о «неестественности» отнятия средств пропитания и мучений народа. «Смотря на сих младенцев (. . .), вскричал я: жестокосердный тиран, отъемлющий у крестьян насущный хлеб и последнее спокойство! Посмотри, чего требуют сии младенцы! У одного связаны руки и ноги, приносит ли он о том жалобы?»³¹ Нет, он спокойно взирает на свои оковы. Чего же требует он? Необходимо нужного только пропитания. Другой произносил вопль о том, чтобы только не отнимали у него жизнь. Третий вопиял к человечеству, чтобы его не мучили. Кричите, бедные твари, сказал я, проливая слезы, приносите жалобы свои, наслаждайтесь последним сим удовольствием во младенчестве; когда возмужаете, тогда и сего утешения лишитесь. О солнце, лучами щедрот своих Россию озаряющее, призри на сих несчастных!».³²

Обращает на себя внимание то, что в число «естественных» потребностей автор «Отрывка», разойдясь с Руссо, не включил свободу. Показательно и то, что младенец «спокойно взирает на свои оковы», а сам путешественник, «оказав услугу человечеству», совершает действие; резко осужденное Руссо, — пеленает ребенка «другими, хотя и нечистыми, но однако ж сухими пеленками». Вспомним, что именно обычаи пеленания, а также найма кормилиц встретили со стороны Руссо резкое осуждение как «противоестественные». Под влиянием энергичной проповеди Руссо эти обычаи стали исчезать во второй половине XVIII в. из практики воспитания. Известно, что Екатерина II, демонстрируя свою связь «с идеями века», изгнала пеленки из детской своих внуков — великих князей Александра и Константина. Автор «Отрывка», бесспорно, читал вышедшего в 1762 г. «Эмиля», и позиция его в этом вопросе не может рассматриваться как случайная. Конечно, ошибочно было бы полагать, что автор «Отрывка» признает «естественным» положение скованного раба, если только он сыт, — антикрепостнический дух отрывка не подлежит сомнению, и в этом отношении мы можем вполне положиться на революционное чутье Н. А. Добролюбова, который склонен был скорее преувеличивать, чем замалчивать связь сатириков XVIII в. с либералами — обличителями своего времени. Расходясь с Руссо, автор «Отрывка» сближался с этикой французских материалистов Гельвеция и Гольбаха. Философы-

³¹ Любопытное свидетельство того, что образы младенцев имеют «философский», а не «эмпирический» смысл: спеленуты, конечно, все три младенца, а не один, но автор в каждом из них берет лишь то, что может прояснить идею «естественных» нужд; Поэтому связанные руки и ноги двух младенцев его уже не интересуют.

³² Там же, стр. 296.

материалисты считали, что человек обладает лишь следующими «естественными» свойствами: стремлением к наслаждению и отвращением к страданию и смерти. Стремление к свободе возникает уже как вторичная потребность в обществе, отнимающем у человека возможность наслаждения.

Однако носителем «нормальной» точки зрения в просветительском романе мог и не быть ребенок или дикарь. Эта точка зрения могла вообще неконденсироваться в каком-либо образе. Она могла быть выражена путем нескрываемо-отрицательного отношения автора к существующему, подчеркивания ненормальности и глупости общественных установлений. Реальная действительность осуждалась как нелепая во имя идеала правильной жизни. Поскольку просветительское сознание, исходя из прямолинейно толкуемой идеи природной разумности человека, не могло объяснить возникновение угнетения, последнее изображалось как результат глупости людей. Существующий порядок осмеивался не только как социально несправедливый, но и как нелепо-глупый. Следовательно, главным объектом сатиры делались нравы, обычаи.

Так сложилась просветительская сатира на Западе — от Свифта и Вольтера до Гойи, а также в России — от Крылова и других сатириков XVIII в. до «Доктора Крупова» Герцена (с характерным введением образа «естественного» человека, — дурачка Левки) и сатиры Салтыкова-Щедрина.

Создание русского сатирического романа XVIII в. опиралось на двойную традицию: с одной стороны, русская литература имела опыт сатирической журналистики конца 1760-х годов, с другой — бесспорно, учитывался опыт сатирической просветительской прозы Западной Европы и в первую очередь философских повестей Вольтера. Вместе с тем ни один из этих источников не покрывал задач, возникавших перед русской просветительской сатирой. Сама идея сатирического романа была связана с представлением о порочности не отдельных лиц и явлений, а всего порядка. Сатира Новикова еще покоилась на убежденности в том, что порок — следствие невежества и что просвещение ума и порочного сердца может превратить жестокого угнетателя в добродетельного гражданина. Мысль о зависимости человека от обстоятельств, о человеке как жертве искажающих социальных условий и вытекающее из этого стремление к целостной оценке действительности — все эти идеологические принципы были еще чужды Новикову, сатира которого в значительной степени покоилась на принципах рационализма и чуждалась как антропологизма антифеодальной мысли XVIII в., так и его философской базы — сенсуалистического материализма с его этико-социологиче-

скими выводами. Что касается сатирического романа типа философских произведений Вольтера, то и он не мог в полной мере ответить потребностям русской антифеодальной мысли. Изображая в «Кандиде» человеческую жизнь как бесконечную цепь бессмысленных злоключений (внешне это достигалось путем воспроизведения композиционной структуры плутовского романа с заменой героя-плута простаком), Вольтер в первую очередь имел в виду критику церковных догм. Через голову оптимистической лейбницианской метафизики удар наносился по идее божественного промысла и всемирной целесообразности. В этом смысле в русской литературе наиболее близки по духу к романам Вольтера «Дворянин-философ» Дмитриева-Мамонова и «Послание к слугам моим» Фонвизина.

Ориентация на социальную сатиру требовала новых решений. Найдены они были лишь И. А. Крыловым.

Необходимо подчеркнуть, что «Почта духов» по своей художественной природе — уже не сатирический журнал, в том смысле, который придал этому жанру Новиков, а роман, разбитый на выпуски. «Почта духов», «Каиб», «Ночи» Крылова — типичные романы просветительской сатиры. Композиционно примыкая (особенно «Почта духов») к плутовскому роману, они дают широкую картину общества в целом. Феодално-крепостническое государство — царство насилия, поэтому оно возбуждает отвращение, но оно же и царство глупости, и этим вызывает смех. В «Почте духов» Крылов вводит духов — носителей «нормального» сознания. В «Каибе» подобных персонажей уже нет, их роль выполняет смех. Смех, чувство комического возникает как осознание разницы между порядками и нравами феодално-монархического государства и требованиями «природы» и «разума». Вне представления о социальной норме общественных отношений нет и комизма ранней крыловской прозы.

Крылов был окружен большим числом менее значительных, но интересных писателей того же направления. Так, в одном году с «Почтой духов» в Петербурге появился анонимный роман «Кривонос-домосед, страдалец модной». Произведение это, как сатирический роман, очень близко к принципам Крылова. Автор считает современную ему жизнь царством зла и глупости. Нелепые и «неестественные» обычаи, вся сумма «мнений» объединены в романе в понятии «мода». «Мода» в данном случае обнимает значительно более широкий круг явлений, чем манеру одеваться и светские привычки.

Книга распадается на две части: историю героя, рассказывающего о себе в первом лице, и пересказ его любимой книги.

«Вещание глупости». «Вещание глупости» — сочинение в духе «Похвалы глупости» Эразма Роттердамского — писателя, хорошо известного автору и упомянутого в конце под именем «Старичка Эрасма». Весь мир основан на глупости: обычаи, науки, нравы — все безумно. Особенно глупы социальные установления. «Но еще страннее сии глупцы, кои, имея низкую душу и подлые поступки, заражены пустым именем дворянства столь сильно, что иные происхождения выводят от самых древних царей и в доказательство знаменитости своего рода хранят разные живописные предков своих изображения».³³

Идея божественного прозрения и мудрой организации вселенной заменена, совсем в духе Вольтера, мыслью о том, что свет — нелепая игрушка, созданная богами себе на потеху. Фонвизинский Петрушка считал:

Создатель твари всей, себе на похвалу,
По свету нас пустил, как кукол по столу.³⁴

В том же духе изъясняется и автор «Кривоноса-домоседа»: «Описать невозможно, сколько приятное препровождение времени слабые человеки доставляют бессмертным; ибо боги до обеда, будучи еще трезвы, упражняются в исправлении своих должностей, а за обедом, вкусив нектару, оставляют важные дела и с удовольствием и смехом взирают на человеческие действия».³⁵ Далее следует описание всевозможных человеческих «дурачеств».

Вторая часть книги является как бы теоретическим обоснованием первой; в ней рассказывается о трагической судьбе человека в мире «моды» и «дурачеств». Сам герой сообщает: «Вся жизнь моя с самой минуты вступления моего в свет была непрерывною цепию пагубных действий моды». Родители героя разорились еще до его рождения, ибо «давно уже принята мода, чтобы и при умеренном имении содержать карету и лошадей, любовниц, гусар, егерей и других, столь же необходимых, как пудра и помада, служителей, одетых по моде».³⁶ Следуя «моде», мать героя до последнего срока затягивалась в корсет, в результате чего он родился, имея «слабой состав тела, частые болезненные припадки», горб и кривой нос.³⁷

Воспитанный «по моде», герой вырос физически хилым и безобразным. Автор, однако, подводит читателя и к более

³³ Кривонос-домосед, страдалец модной. СПб., 1789, стр. 64.

³⁴ Д. И. Фонвизин, Избранные сочинения и письма, Гослитиздат, М., 1947, стр. 7—8.

³⁵ Кривонос-домосед, страдалец модной, стр. 73.

³⁶ Там же, стр. 3, 4.

³⁷ Там же, стр. 12.

широкому социальному обобщению: физическая немощь — удел дворянства, крестьяне, ведущие хотя и угнетенную, но трудовую и, следовательно, более «естественную» жизнь, отличаются физической крепостью. Мысль эта, наиболее отчетливо сформулированная Радищевым в «Путешествии из Петербурга в Москву» (глава «Едрово»), встречается в XVIII в. неоднократно. Позже мы найдем ее у публицистов начала XIX в. (Кайсаров, Галинковский и др.). В «Кривоносе-домоседе» рассказчик говорит о своей матери: «Впрочем, совесть ее в том не беспокоила, что доставила обществу такого гражданина, который ни мало в себе здравия, крепости и силы, каковые бывают в детях простого народа, не имеет; ибо тем самым, думала она, станет он представлять в лице своем свойство знатного состояния, то есть хилость и немощь».³⁸

Герой вырастает, ищет службы и сталкивается снова с «модой», теперь уже в общественном ее проявлении. Он домогается места; по делу его вызывают к вельможе. Последний после ласковой беседы предложил герою выгодное место. «Хотя требовала мода, чтобы нижний с вышшим, который часто утруждается менее оного, никогда иначе не говорил, как только стоя, но я должен был повиноваться воле сего вельможи и говорить с ним сидя. В то время начал он меня с великою ласковостью спрашивать о моих обстоятельствах и не употреблял в разговоре грубых, по нынешней моде, слов „ты” или „тебя”, что весьма строго наблюдают знатные господа, когда с низшими ведут какую речь, но употреблял число множественное. „Вы еще не женаты?”, — спросил он меня. „Нет”, — отвечивал я. „Пора, — продолжал он, — пора вам жениться: женатые люди бывают по большей части постоянны в своих делах, да и к хозяйству рачительны».³⁹ Затем вельможа предложил герою жениться на своей любовнице. После отказа «начал вельможа опять со мною говорить в единственном числе, почему немедленно должен был я встать». Потеряв место, герой «рассуждал о модных обстоятельствах, соединенных с выгодными по службе местами».⁴⁰

Герой завершает рассказ о своей судьбе размышлением об извращенности «модного века», которому противопоставляется идеал «естественной» жизни, отнесенный к далекому прошлому — ко временам якобы героических, сильных, здоровых душой и телом натур.

В романе нет образа, воплощающего положительную про-

³⁸ Там же, стр. 14.

³⁹ Там же, стр. 26.

⁴⁰ Там же, стр. 27.

грамму автора, соединяющего черты труда и героизма (идеал бесспорно демократического характера). Однако совокупность сатирических оценок «модного века» как «противоестественного», негативно воссоздает идеал «нормального» бытия, составляющий незримый стержень всего произведения. На этом же основана художественная система таких произведений просветительской сатиры 80-х—90-х годов XVIII в., как «Почта духов» и «Ночи» Крылова или «Переписка Моды» Н. Стрехова.

Наличие характерной для всей просветительской литературы дуплановости преломлялось в сатире как сочетание в изображении общественных отношений фантастического сюжета и жизненной правды.

Чтобы понять художественную систему просветительской сатиры, необходимо отрешиться от распространенного представления о том, будто все своеобразие подобных произведений следует объяснять характером жанра. Согласно такой точке зрения, писатель, использующий в данном жанре сатирические приемы, при обращении к иным видам творчества может, не изменяя идейно-художественной позиции и творческого метода, избрать жанр бытового характера, психологического и т. д. На самом деле зависимость здесь иная. Вернее было бы, как нам кажется, говорить о сатирической структуре определенных форм просветительского мировоззрения, которые могли найти адекватное выражение только в жанре сатирического романа.

Остановимся на характерных чертах той формы просветительской идеологии, которая породила сатирический взгляд на жизнь. Причем мы сознательно привлекаем среднего писателя, для того чтобы иметь возможность говорить именно об общераспространенных чертах метода. В качестве примера рассмотрим книгу Н. Стрехова «Переписка Моды».

Н. Стрехов не является ни выдающимся писателем, ни мыслителем-революционером.⁴¹ Однако общие просветительскому сознанию черты легко обнаруживаются в его взглядах. Он убежден в том, что ценность человека — в личных достоинствах, «природных» качествах. Между тем в современном ему обществе Стрехов видит, что человек оказался заслоненным деньгами и чинами. Предметы, выдуманные людьми и не имеющие самостоятельной ценности, собственного безотносительного достоинства, ценятся выше, чем люди. «Кружок, величиною около вершка, улеплен будучи блестящими камуш-

⁴¹ См. о нем А. В. Запатов. Николай Стрехов и его сатирические издания. Сб. «Проблемы реализма в русской литературе XVIII в.», сб. статей под ред. Н. К. Гудзия, Изд. АН СССР, М.—Л., 1940.

ками, заключает в себе цену ста, а иногда и 200 человек». ⁴² При этом автор подчеркивает, что ценность золота и драгоценных камней выдумана, что она создана повелением «моды» и «предрассудков».

Благородная природа человека заслонена внешними свидетельствами мнимых достоинств: одеждой, наружным знаком богатства, и мундиром — воплощением чина. Вместо «естественного» подчинения человеку одежда, будучи произведением его рук, приобретает самостоятельное значение и подчиняет себе человека. Созданная человеком фикция достоинства главенствует над реальными ценностями и над самим человеком. Страхов показывает, как молодой человек, не имея природных дарований, делается, по людскому мнению, «достойным человеком»: «Скачет в ряды, накупает сукон, материи, пуговиц. Потом приходит к нему творец его достоинств, он снимает, так сказать, меру, каковую должны иметь его душа, дарования и знаменитость в свете. Через несколько дней поспекает существо молодого нашего человека — модное сукно, лацканы, воротник, узенькая спинка, высокий лиф, употребительные фальды, обшлага, клапаны — вот выкроенной, сшитой и лишь только с иголки „достойной человек”». ⁴³

Такое представление в известной мере напоминает, при всем исторически обусловленном различии, ход мысли Гоголя с его антитезой подлинных человеческих достоинств и власти выдуманной иерархии чинов, мундиров, денежного капитала.

А. В. Западов указал на сходство между отдельными листами «Карманной книжки» Страхова и «Невского проспекта» Гоголя. ⁴⁴ Однако в еще большей степени такая параллель правомерна для широко употребляемого в «Переписке Моды» приема метонимии — вместо людей в «свете» (как у Гоголя в «Невском проспекте») фигурируют части одежды и части человеческого тела. Настоящего человека заслонил чудовищный маскарад внешних, показных достоинств, вместо природного — выдуманное.

«По вторникам, четвергам и воскресеньям съезжаются здесь в один дом галантерейные вещи, брильянты, платья,

⁴² Н. Страхов. Переписка Моды, содержащая письма безруких мод, — размышление неодоушевленных нарядов, разговоры бессловесных чепцов, чувствования мебели, карет, записных книжек, пуговиц и старозаветных манек, кунташей, шлафоров, телогрей и пр. Нравственное сочинение, в котором с истинной стороны открыты нравы, образ жизни и разные смешные и важные сцены модного века. М., 1791, стр. 41—42.

⁴³ Там же, стр. 92—93.

⁴⁴ А. В. Западов. Николай Страхов и его сатирические издания, стр. 318.

наряды, шляпки, тупеи, ноги, руки, лица. По средам и по пятницам свозят в некоторые места все свои уши, рты, дабы первыми ничего не слушать, а другими зевать. В понедельник и субботу или закупают в рядах достоинства, или с готовыми, севши на четыре колеса, приезжают в четыре каменные стены или деревянные стены, напичканные языками, ушами и глазами; съезжающиеся сюда невесты и женихи навозят в город столько ног». ⁴⁵ Такие замены, как вместо «карета» — «четыре колеса», вместо «театр» — «четыре стены», не случайны. Автор не пользуется общепринятыми названиями, так как, глядя с позиции «природы», он стремится подчеркнуть странность подобного времяпрепровождения, его вымышленный, «неестественный» характер.

Чтобы превратить социальную проблему в объект сатиры, необходимо было раскрыть в ней не только признаки общественного конфликта, но и черты смешного. Просветительская сатира достигала этого, показывая не только несправедливость, но и глупость, нелепость существующих отношений угнетения. Подчеркивался неразумный, алогический характер взаимоотношений людей.

Но такая постановка вопроса не могла ограничиться сферой художественного приема, она неизбежно накладывала отпечаток на концепцию, на весь способ объяснения жизни. Исторически реальной была даже обратная зависимость — идеологическая концепция подсказывала художественные приемы сатиры. При социально-бытовом построении образов герои делятся на угнетенных и угнетателей. Отрицательное отношение к несправедливому социальному строю распространяется только на персонажей второго типа и лишь оттеняет положительные качества первых. Угнетенные предстают как жертвы насилия — ответственность за общественное зло на них не падает, у читателя и автора они вызывают сочувствие, жалость и уважение.

В просветительском сатирическом романе, как мы уже сказали, угнетение представало не только как насилие, но и как «глупость». Однако имелась в виду «глупость» двух видов: «глупость» вельмож, живущих в призрачном мире мнимых ценностей, и «глупость» народа, покорно несущего бремя «глупости».

Неверие в разум массы, отчаяние, вызванное «глупостью» народа, по-разному, но в близком тоне прозвучало в творчестве большинства сатириков-просветителей — от Свифта и Гойи до русских сатириков XVIII в. (ср. «Трумф»

⁴⁵ Н. Стрехов. Переписка Моды . . , стр. 10, 21.

Крылова). Не случайно Вольтер был сатириком, а Руссо никогда не писал сатир. Не случайны и ноты скепсиса, зазвучавшие в «Докторе Крупове» — одном из самых близких к просветительской сатире произведений XIX в.

Подобные же настроения находим мы и в творчестве русских авторов сатирических просветительских романов XVIII в. Так, в «Кривоносе-домоседе» Глупость вещает: «За излишнее поставлю упоминать о простом народе, который весь принадлежит мне, столькими родами глупости наполнен».⁴⁶

Сатира такого рода, будучи направлена в первую очередь против хозяев феодального общества, не могла противопоставить им народ в качестве носителя исторического разума. Сатирический роман просветителей не мог стать носителем идеи народной революции. Поэтому по мере созревания антифеодальных идей, углубления конфликтов в крепостническом государстве все острее осознавалась необходимость выработки новой формы просветительского романа. От произведения теперь ждали не только критики, но и воплощения положительных идеалов демократического сознания.⁴⁷

Дальнейшее развитие просветительской идеологии выдвигало проблему противоречия между «неестественным» сословно-крепостническим порядком и правами человеческой личности. Столкновение человека и его чувств с любимыми формами ограничивающих свободу предрассудков — семейных, религиозных или сословных — превращалось в общественный конфликт. Автор мог и не излагать теории «естественных прав» человека и «общественного договора» — они уже были известны читателю по философской литературе; повествование о любовной, человеческой драме героя проектировалось — как это имеет место, например, в «Новой Элоизе» — на второй, «философский» план романа. Вне этого подтекста все действие превратилось бы в рассказ о любовной неудаче героя, в чисто психологический этюд и потеряло бы свой смысл.

⁴⁶ Кривонос-домосед, страдалец модной, стр. 73.

⁴⁷ Необходимо при этом иметь в виду, что просветительская сатира могла возникать не только на раннем этапе формирования демократического искусства, но и вторично, в период осознания недостаточности буржуазно-демократической программы, утопичности ее идеалов. В последнем случае скепсис содержал в себе и бесспорно положительное зерно, способствуя выработке мировоззрения, свободного от просветительских иллюзий. Если в творчестве Вольтера или авторов русских сатирических романов XVIII в. (при всей разнице дарований) мы имеем дело с произведениями первого типа, то «Племянника Рамо» Дидро, картины и гравюры Гойи и сатиры Салтыкова-Щедрина следует относить ко второму роду.

С другой стороны, если сатирико-фантастический роман предполагал сложный сюжет и в этом смыкался с плутовским или «волшебным» романом, то произведения нового типа требовали раскрытия судьбы личности — быта и психологии, а в сюжетно-композиционном отношении, как правило, были просты.

Качественно новым этапом в этом плане явились романы А. Н. Радищева. Уже в «Житии Федора Васильевича Ушакова» Радищев попытался найти художественную форму, которая позволила бы вместить в произведение такое огромное социально-политическое содержание, как идея народной революции. Вместе с тем, ставя перед собой задачу пропаганды определенных теоретических положений, Радищев, будучи материалистом и сенсуалистом, убежден, что читателя нельзя убедить абстрактными истинами. Читатель должен сам иметь опыт, наблюдать конкретные явления и уже на их основании строить теорию. Это заставляет Радищева отнестись к эмпирическому плану произведения с уважением. Ему важно убедить читателя, что все сообщаемые автором факты научно достоверны. Отсюда насыщение «Жития» документально-фактическим материалом, демонстративная биографическая достоверность деталей. Но за всем этим стоит философский план. Радищев строит «робинзонаду», но не для выяснения «природных» свойств человека, а для доказательства «естественности» революции. В теоретическом плане повести группа студентов — это народ, Бокум — тиран, царь, Ушаков — народный руководитель. Вся образная система повести построена так, чтобы за студенческим «бунтом» читатель увидел рождение народной революции.

Еще более интересно построение «Путешествия из Петербурга в Москву».⁴⁸ Возродив «путешествие» как композиционную основу романа (речь идет, конечно, не о стернианском «путешествии», имеющем к композиции книги Радищева весьма отдаленное отношение, а о «путешествии идей» рационалистического романа), Радищев переосмыслил его с точки зрения просветительской эстетики. Эмпирически наблюдаемый мир — мир крестьянский, трудовой и угнетенный — делается для автора носителем высших этических ценностей. В книге есть характерные для просветительской эстетики два плана — реальный и идеологический. Это находит отражение и в двух стилистических пластах. Но оба плана связаны неразрывно. Все отвлеченные идеи, составляющие стержень книги, берутся из наблюдений над эмпирически данной действитель-

⁴⁸ Охватить эту обширную тему в сжатом общем очерке невозможно.

ностью (Радищев был убежден, что истина идет вослед чувствам).

Однако если реалист XIX в., наблюдая жизненный факт, не имеет заранее готового вывода и процесс писания книги становится процессом исследования жизни, то просветительское мышление Радищева идет другим путем. Автор выступает здесь не как исследователь, сам не знающий еще результатов своего опыта, а как ученый, демонстрирующий аудитории опыт, уже проделанный в лаборатории. Он считает полезным, чтобы читатель сам дошел до вывода, восприняв чувствами предлагаемые ему конкретные жизненные факты. Но автору вывод из этих фактов уже известен. Поэтому в каждой главе книги главенствует конкретный эпизод, но последовательность глав несет явные следы авторской конструкции — это последовательность идей, внушаемых читателю.

«Путешествие из Петербурга в Москву» завершило исследуемый ряд литературных явлений. XIX век поставил перед романом новые задачи. Однако наше представление о реализме XIX столетия было бы неполным без учета влияния на этот реализм просветительской прозы предшествующего периода.





С О О Б Щ Е Н И Я

А. В. ПОЗДНЕЕВ

ПРОСВЕТИТЕЛЬСТВО И КНИЖНАЯ ПОЭЗИЯ КОНЦА XVII—НАЧАЛА XVIII ВЕКА

Доклад П. Н. Беркова очень интересен как новым фактическим материалом, так и его теоретическим осмыслением. Второй докладчик, И. З. Серман, поставил своей задачей изучить вопрос большой важности — о происхождении русского Просвещения — на основе литературных произведений. Но мне кажется, этот доклад может быть дополнен обширным материалом по XVII в. и Петровскому времени, который еще недостаточно вошел в научный обиход.

Говоря о возникновении Просвещения, второй докладчик ограничивается 1700-м годом, беря из Петровской эпохи только «петровские повести», а в остальном сосредоточиваясь на литературе второй трети XVIII в. При этом И. З. Серман привлекает только печатную русскую литературу, которая была тесно связана с дворянством и его культурой. Между тем в XVIII в. очень большое значение имела и рукописная литература, созданная и бытовавшая в средних слоях городского населения — среди приказных, учащихся, младших военных, низшего духовенства, купцов третьей гильдии, мещан. Естественно, что если мы берем не всю литературу XVIII в., а только ее часть, то установить закономерности ее развития едва ли возможно.

П. Н. Берков идет далее, в глубь истории, и связывает русское Просвещение XVIII в. с деятельностью Симеона Полоцкого и его учеников — Сильвестра Медведева и Карнона Истомина.

Правильнее считать, что русскому Просвещению, полностью развившемуся в середине XVIII в., предшествовали сходные явления во второй половине XVII в. и первой

половине XVIII в., когда возникали элементы этого движения, накапливавшиеся и пережившие затем пору своего расцвета. Так, в середине XVII в. в Москве жил Епифаний Славинецкий, являвшийся автором силлабических книжных песен эпического характера (по нашей гипотезе), энциклопедист, представитель позднего русского Возрождения. Он перевел историческое произведение «Об убиении краля ангельского» (английского короля Карла); «Географию» Блеу, где было помещено — впервые в Московской Руси — изложение системы Коперника; врачебную книгу «Строение человеческого тела» Андреа Везали; произведение «Гражданство и обучение нравов детских» (или «Гражданство обычаев детских»), принадлежащее, по изысканиям М. П. Алексеева, перу Эразма Роттердамского; книгу Константина Арменопула (юридическую). Славинецкий составил два лексикона. Судя по оставшимся после него книгам, он интересовался вопросами стихотворства, философскими, политическими. Был он и знатком многих произведений античных писателей, которых он цитирует в своих проповедях. После приезда в Москву в 1649 г. Славинецкий в течение 15 лет стоял во главе кружка литераторов.

Нельзя также забывать, что силлабо-тоническая песенная поэзия началась в творчестве Епифания Славинецкого и Германа: такие стихи появились в 1660—1670 гг., лет за 70—75 до реформы Ломоносова. Равным образом и силлабика у нас появилась не с приездом Симеона Полоцкого (в 1664 г.), а не менее чем за 15 лет до этого, причем, вероятно, силлабика создавалась не путем заимствования, а на русской почве: нам известен ряд силлабических книжных песен, датированных 1654—1655 гг.

В докладах П. Н. Беркова и И. З. Сермана рассматривается творчество ряда русских писателей. Но, нам кажется, еще интересней вести изучение Просвещения на материалах его развития в широких массах, где мы имеем дело с творчеством не отдельных личностей, а с безымянной литературой. Такой материал заключается и в силлабической песенной поэзии XVII и первой половины XVIII в., дошедшей до нас в рукописных песенниках. Нами изучено 210 таких русских песенников. Эта поэзия впервые попадает в печать только в «Письмовнике» Курганова (1769) и «Собрании разных песен» Чулкова (1770). Из 120 песенников к XVII в. относятся 16, к XVIII в. — 35. Песни эти представляют громадный литературный материал, связанный с демократической городской культурой, отличной от культуры дворянства. Подчеркиваем, что силлабическая книжная песня — духовная в XVII в. и

светская в XVIII в. — резко отлична от виршей (стихотворства): песня более связана с древнерусской традицией, вирша — с украинской и польской.

И. З. Серман утверждает, что Петровская эпоха не принесла новых жанров. А песни застольные, песни о свободе, песни любовные? Они в XVII в. были неизвестны. Он утверждает, что панегирические произведения Петровского времени в жанровом отношении повторяют панегирики XVII в. Тексты первых 12 петровских панегирических песен были напечатаны в 1870 г., 90 лет назад, а теперь мы знаем 60 таких песен. Между ними и панегириками (виршами) Симеона Полоцкого и украинских поэтов XVII в. громадная разница. Панегирические песни первой четверти XVIII в. в большинстве своем не восхваляют Петра I, а нередко и не называют его по имени. Вообще панегирический элемент в них невелик. В них чаще изображается борьба орла со львом, символизирующих Россию и Швецию (Карла XII и Петра I), и превозносятся русские победы, политика Петра. Есть панегирические песни, в которых восхваляются рядовые русские воины («Вы же, российские воины преславны»). Немногие песни с восхвалениями посвящены сыну Петра — Алексею, а также Меншикову и Екатерине.

Если мы обратимся к произведениям русской литературы второй половины XVII в., то основными жанрами окажутся не воинские повести и сказания, типичные для древней русской литературы, а бытовые и сатирические произведения, в том числе произведения развлекательного жанра, которых предыдущая литература не знала. «Житие Юлиании» оказывается житием не святой, а простой женщины; «Житие» протопopa Аввакума — тоже не житие святого, а автобиография этого выдающегося писателя. Мы не говорим уже про вирши и драмы XVII в. — ранее неизвестные жанры. Таким образом, уже жанры литературы второй половины XVII в. иные, чем в древней русской литературе.

Но и духовные произведения этого времени, например переложения псалмов, отличаются от литературы до середины XVII в. Во-первых, переложения псалмов созданы в стихах (в песенной форме). Во-вторых, если переложения псалмов Симеона Полоцкого точно передают их содержание, то переложения псалмов других авторов (монахов Германа, Василия, Аникия) в рукописных песенниках второй половины XVII в. только частично включают в себя ветхозаветное их содержание, дополняя его или новым, новозаветным материалом (об Иисусе Христе, Троице и т. п.), или даже светским панегирическим элементом (о царе Федоре). Другие произведения

оперируют сюжетами библии, но романтического содержания (песенное переложение Песни песней, история Эсфири, изложенная в драматизированном виде, и т. д.). Изменяется отношение к библейскому материалу, как к чему-то священному, не подлежащему изменению. В бытовой «Повести о Горе-Злочастии» религиозные мотивы в самом содержании отсутствуют (кроме конца, где уход в монастырь трактован в бытовом плане, как выход для героя-неудачника; рассказ о грехопадении Адама и Евы в начале повести дан не по каноническому тексту библии); героя, доброго молодца, на все плохое обращает не дьявол, а Горе-Злочастие — персонаж, созданный на основе фольклора. В «Повести о Фроле Скобееве» в Успенский собор идут бояре, а герой в церкви только оформляет брак с Аннушкой, чтобы закрепить за собой ее наследство, как дочери боярина; церковь служит удобным местом встреч с ней Фрола; мораль его и Аннушки никак не связана с церковной. Таким образом, изменения в жизни и в литературе начались еще во второй половине XVII в., их можно видеть и ранее.

В Петровское время песенным лирическим произведениям светского характера (до нас дошло около 250 таких песен, кроме панегирических) присуще безразличное, равнодушное отношение к религии. В высокохудожественной песне «Буря море раздымает», напечатанной в «Хрестоматии по русской литературе XVIII в.» А. В. Кокорева (Учпедгиз, М., 1956) рассказывается о буре на море и грозящей кораблю гибели, причем приводятся впечатления автора, навеянные картиной бушующей стихии, но обращения к богу о помощи в песне нет. Характерно, что надежды на помощь божию были прибавлены в конце песни в поздних вариантах екатерининского времени. В лирических песнях талантливой анонимной поэтессы, сложенных в Петровскую эпоху, религиозные мотивы, как правило, отсутствуют, даже когда она думает о смерти. Во всяком случае в этих любовных песнях любовные дела и помышления, о которых древняя русская литература не писала, идут по ведомству Венеры и Купиды. Отсюда виден процесс обмирщения — секуляризации мышления городского грамотного люда, который происходил с такой силой во второй половине XVII в. и в первой половине XVIII в., подготавливая эпоху Просвещения.

Силлабическая книжная песня свидетельствует и об интересе к крестьянству. Уже в песне Германа 1670-х годов «Память предложити смерти», содержащей размышления о близкой смерти, автор противопоставляет царям, князьям и архиереям «работных» (трудящихся).

В очень популярной книжной песне 1720-х годов «Прочь бегу я от чернил» на тему о выборе приказным новой профессии рассказывается о его желании поступить приказчиком на боярский двор, но его останавливает соображение:

Мужики молчать не тихи,
А бояре очень лихи.

Этот намек песни говорит если не о бунтах и восстаниях крестьян (а они тоже бывали), то об их общем недовольстве крепостным правом, переходящем в возмущение.

Исключительно интересен перевод Третьяковским эпода Горация «*Beatus ille*» силлабическим стихом, относящийся к началу 1730-х годов. Если во второй редакции перевода этого эпода (начало 1750-х годов), сделанного уже силлаботоническим стихом, Третьяковский рисует благополучную жизнь помещика в деревне, противопоставляя ее городской, то в ранней редакции он показал жизнь свободного крестьянина, не находящегося в условиях крепостного права, такой, какой могут завидовать горожане.

Таким образом, крестьянская тема в книжных песнях привлекает внимание средних слоев городского населения в 1720—1730-х годах, за 40—50 лет до Н. И. Новикова и за 60—70 лет до Радищевского «Путешествия».

Наконец, нельзя пройти мимо масонских песен 1740—1770-х годов. О масонстве распространено неправильное представление, его изображают мистическим, христианизированным учением. Но таким оно стало с 1780-х годов. До этого оно было либеральным, в какой-то мере свободомыслящим, являясь мировоззрением передовой части дворянства.

Песни первого периода развития масонства находятся в рукописных песенниках 1750—1770-х годов. Например, в масонской песне «Я добродетель прославляю», написанной Сумароковым, требуется, чтобы «равенство чтит всяк брат». Это положение развивается декларативно в другой песне:

А есть ли и пастух
Любящи добродетель,
Наш равно будет друг,
Как князь и владетель.

В песне «О, братья, вы друзьям путь к сердцу отворите» (1770-е годы) есть признание: «Гельвеция мы почитаем», что говорит об отношении к французским философам эпохи Просвещения. Там же провозглашается: «Но вольность нам всегда да будет драгоценна».

Исключительно интересно противопоставление основных принципов масонской морали жизни монархов в песне «Остави свой чертог»:

Равенство и любовь
И нежно имя «Брат» —
Всех титулов и чинов
Любезнее стократ.
Блаженна простота
В сих царствует стенах,
Которой никогда
В монарших нет домах.

Эта же идея, но в новом виде раскрыта в другой масонской песне, «Трояким светом озаренны»:

У нас и царь со всеми равен,
И нет ласкающих рабов.

Таким образом, составить правильное представление о подготовке идей Просвещения во второй половине XVII в. и первой половине XVIII в., а затем о их распространении в массах без изучения книжной песни нельзя.





И. Я. КАГАНОВ

Я. МАРКОВИЧ И ЕГО «ДНЕВНИК» КАК МАТЕРИАЛ ДЛЯ ИСТОРИИ ПРОСВЕТИТЕЛЬСТВА НА УКРАИНЕ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XVIII ВЕКА

На протяжении почти всего XVIII в. на Украине книгопечатание было ограничено узкой сферой церковных книг. Поэтому изучение украинской книги XVIII в. приходится ограничить почти исключительно рукописными памятниками, предшествовавшими появлению печатной «Энеиды» Котляревского.

Исследование принимает иные масштабы, приобретает иные контуры, если ставится задача уяснить, какие книги распространялись на Украине в интересующую нас эпоху, кто их читал, каково было влияние этого чтения.

Чтобы правильно судить о роли книги в общественной жизни данной эпохи, нельзя ограничиваться только изучением книжного репертуара; необходимо выяснить и то, как и зачем читались книги. Поэтому такое большое значение приобретает исследование мемуаров, дневников, переписки и иных аналогичных документов.

Остановимся на анализе одного из памятников такого рода. В течение сорока с небольшим лет вел генеральный подскарбий Яков Андреевич Маркович свой дневник — с 1726 по 1767 г. Сто лет тому назад он впервые был опубликован¹ в извлечении и вызвал интерес и живые отклики в тогдашней передовой печати: рецензии на это издание были помещены в «Современнике» и «Отечественных записках».

С тех пор наряду с другими документами эпохи «Дневник» вошел в научный обиход. Однако историков не могло удовлет-

¹ Дневные записки малороссийского подскарбия генерального Якова Марковича, ч. I, II. Изд. Александра Марковича. М., 1859.

ворить издание 1859 г.: чересчур значительными, а порой произвольными были сокращения, произведенные первым публикатором. В 1893—1897 гг. появились печатавшиеся в качестве приложения к «Киевской старине» три тома «Дневника», изданные под редакцией А. Лазаревского с гораздо большей полнотой.² Издание это не было закончено. В 1913 г. в серии «Жереле до історії України-Руси» вышел под редакцией В. Модзалевского еще один, четвертый том; в предисловии к нему указывалось, что очередной задачей украинской историографии является издание полного, научно комментированного текста «Дневника». Это намерение осталось неосуществленным, и исследователь должен довольствоваться наличными публикациями.³

Как и многие другие представители казацкой старшины, Я. Маркович (1696—1770) учился в Киево-Могилянской академии, был любимым учеником Феофана Прокоповича, который предсказывал ему блестящую духовную карьеру. «Ты, — писал Ф. Прокопович вскоре после окончания Я. Марковичем академии, — при помощи божией оказал такие успехи в богословии, о каких и помышлять не могут украшенные митрами головы».⁴ Однако питомец основателя «Ученой дружины» предпочел пастырской деятельности иное: заботы об округлении своего состояния, о закреплении жалованных «маетностей», ведение довольно сложных интриг и искательство при гетманском дворе и дворах царских вельмож, прикосновенных к управлению Украиной, и, наконец, шумные пирушки, карточную игру и иные развлечения. Обо всем этом — действительно с протокольной точностью — рассказано в «Дневнике».

Суждений о политических событиях Я. Маркович почти не высказывает; в лучшем случае делает о них краткую за-

² Я. Маркович. Дневник. Под ред. А. Лазаревского, ч. I (1717—1725), Киев, 1893, 241 стр.; ч. II (1726—1729), Киев, 1895; ч. III (1730—1734), Киев, 1897; ч. IV (1735—1740), Київ-Львів, 1913. В дальнейшем ссылки на это издание даны в тексте с указанием части и страницы (например: Д. I, 210). Для ссылок на записи последующих лет использовано перное издание «Дневника»: Дневные записки малороссийского подскарбия генерального Якова Марковича, ч. II. М., 1859; оно обозначено в тексте как «ДЗ. II». Правда и это издание далеко от совершенства: редактор допускал сокращения, комментарии носят случайный характер, не полностью воспроизведены особенности языка в подлиннике.

³ В рукописном отделе Библиотеки АН УССР в Киеве хранится подлинник первого тома «Дневника» Я. Марковича (фонд № 2, № 1), поступивший из коллекции В. Модзалевского. Сохранились ли остальные тома, неизвестно.

⁴ Письма Ф. Прокоповича, писанные в царствование Петра Великого. Труды Киевской духовной академии, 1865, январь, стр. 142.

пись, свидетельствующую скорее опять-таки о чисто обывательском интересе. Подобное бесстрашие частично объясняется его опасением, как бы те или иные его суждения не показались крамольными, если бы «Дневник» попал «в чужие руки»: публикаторы «Дневника» отмечают, что отдельные его страницы зачеркнуты или вырезаны. Но на страницах этого документа довольно часто встречаются записи о покупке книг, о прочитанном, сведения о стихотворных и прозаических опытах автора. Большая любовь к книге, страсть к книжному собирательству, нужно думать, была внушена Я. Марковичу его учителем Феофаном Прокоповичем.

Страсть к собиранию книг не ослабевала в течение долгой жизни Я. Марковича. Правда, об «общей пользе» (о чем не забывал его учитель!) он вряд ли заботился, хотя постоянно и с большой охотой давал книги из своей библиотеки многочисленным знакомым. Он всячески старался пополнить свою библиотеку, время от времени производил в ней учет наличного фонда, отдавал книги в переплет, тщательно отмечал в «Дневнике» книги, отданные на прочтение, и время их возврата. Вот одна из многочисленных записей такого рода: «Книг в Ромне оставленных пересмотрувалем и показалось: богословских 21, филозовских 12, исторических 10, медических 5, протчих 8, а из Глухова привезлем 32, и того тут всех 345» (11 февраля 1725 г., Д. I, 210).

Можно привести большое число аналогичных записей за другие, более поздние годы.⁵

Цитируемая здесь запись интересна и в другом отношении: мы можем по ней судить о соотношении разделов библиотеки Я. Марковича. В ней налицо явное преобладание книг богословского характера; богословскую окраску, вероятно, имела и большая часть из упоминаемых в записи двенадцати «филозовских» книг.

Наличие стойкого интереса к богословским вопросам подтверждается знакомством с более поздними томами «Дневника». О таком интересе говорят записи о собственных писательских упражнениях автора, а также включенные в «Дневник» выписки и конспекты из прочитанных книг. Однако этот интерес к богословским вопросам носит очень своеобразный

⁵ Так, по возвращении из Москвы домой он снова инвентаризует свою библиотеку. В «Дневнике» появляется такая запись: «Сегодня не ездилем никуда, а пересмотривалем книг своих и пересушивалем, которых по ищцслению показалось больших книг самих — 88, аркушовых — 29, четвертковых и малых — 223, итого 340» (8 июля 1729 г., Д. II, 308). Неоднократно интересуется он реестрами книг, имеющихя в продаже (например, см.: ДЗ. II, 130, 269).

характер. Чтобы его объяснить, остановимся сперва вкратце на упоминаемых в «Дневнике» сочинениях самого Марковича.

Пишет Маркович в стихах и прозе. Его писательские упражнения не прекращаются и в зрелом возрасте, хотя совершенно очевидно, что они в подавляющем числе случаев дань навыкам, приобретенным в школьные годы; во время обучения такого рода сочинительство не только поощрялось, но и было обязательным. Вот и появляются все эти переложения псалмов, вольные композиции на темы «слов» Ионна Златоуста и других отцов церкви, переводы с латинского.

Об этом позволяют судить следующие записи:

«С. Григория Неокесарийского чудотворца слово з латинского на язык русский переведем» (24 марта 1724 г., Д. I, 76);

«Слово на страсти Христа началем компоновать» (2 апреля 1724 г., Д. I, 78);

«Термины, амплификации до всякой речи служащие, заскалем: 8 absolutos, 8 relationis и по оних на кшталт казання на страсти короткого диялектом латинским скомпоновалем» (24 февраля 1725 г., Д. I, 218);

«Начал составлять о воскресении Христовом повесть от евангелистов разных текстов» (1 апреля 1725 г., Д. I, 220);

«Молитву перед исповедью исповедающему приличную скомпоновалем» (27 июля 1725 г., Д. I, 278);

«Переводилем песнь Якопия латинскую „*Cum mundus militat vana gloria*” на вирши русские, ниже написанные (они приведены в «Дневнике» далее, — И. К.)» (27 сентября 1725 г., Д. I, 292).

Число подобных выписок можно умножить, и они показали бы, что интерес ко всему тому, чему его обучали в академии, не ослабевает у Я. Марковича и в дальнейшие годы. Этот интерес подогревается перепиской с Ф. Прокоповичем, свиданиями со своим учителем, зависит также от наличия свободного от хозяйственных и иных забот времени.

Если присмотреться к тематике книг, читаемых Я. Марковичем в конце 20-х годов, то окажется, что она отражает те значительные культурные сдвиги, которые все яснее намечались к середине XVIII столетия.

Очень характерны в этом отношении уже страницы «Дневника», отмечающие пребывание Я. Марковича в Москве в 1726—1728 гг. Он живет здесь довольно долго и располагает значительным досугом.⁶ Это дает ему возможность вернуться

⁶ Поездка эта была вызвана необходимостью выяснить, какой оборот примет рассмотрение жалоб, поданных на отца Якова Марковича, которого обвиняли (кажется, не без основания) в злоупотреблении властью

к литературным занятиям. Появляются записи о сочиненных им виршах (иногда он пишет эти стихотворения на латинском языке), о переводах на славянский язык (например, текстов «О знатнейших вещах из пророка Исаи»; Д. II, 273). Возможно, братья за перо Я. Марковича побуждает возобновившееся теперь общение с Феофаном Прокоповичем, приезжавшим в это время в Москву. 30 апреля 1729 г. в «Дневнике» записано: «У вечера былем у архирея новгородского и осматривалем книг и картин его, з П(етер) бурха теперь привезенных» (Д. II, 291). А на следующий день сообщается: «Понедельник, 31. Сегодня никуда не ездилем, а дописывали беседы на афеистов»; и позднее: «Среда, 2. Сегодня окончилисмо беседу на афеистов, в 20 листах, in 4-to» (там же). Одновременно с этим, не забывая упомянуть об очередной попойке, о выполнении хозяйственных поручений, Маркович тщательно записывает свои посещения книжных лавок, покупку книг.

Страницы «Дневника», относящиеся ко времени пребывания в Москве в 1727—1728 гг., приобретают для нас большой интерес. Они свидетельствуют очень убедительно об изменениях в читательских интересах Марковича. Заслуживает быть отмеченным, что покупка книг, связанных с богослужением, происходит одновременно с приобретением «книжки об ординах», по своему содержанию весьма далекой от церковного благочестия.⁷ А еще через 4 дня приобретаются книги на польском языке, заглавия которых показывают, что их владелец интересуется вопросами текущей политики, историей, космографией. Во время своего пребывания в Москве в 1728—1729 гг. Я. Маркович приобретает довольно много книг исто-

и иных неблагоприятных поступках. Для истории нравов того времени, для характеристики порядков, царивших в инстанциях, ведавших делами Малороссии, посвященные этому страницы «Дневника» представляют значительный интерес.

⁷ «Книжка об ординах» — это несомненно «История о ординах или чинах воинских, паче же кавалерийских...», напечатанная в 1710 г. в Москве (Т. А. Быкова и М. М. Гуревич. Описание изданий гражданской печати. 1708—январь 1725. Изд. АН СССР, М.—Л., 1955, стр. 113). Покупка книг — русских, латинских, польских — отмечена в 1728 г. — 24 января, 18 и 28 марта, 16 и 24 мая, 26 сентября, 4 октября, 19 декабря; в 1729 г. — 17 января, 5 и 6 февраля («сегодня рано заездили до кофейного дому, гду купилем два календаря по полтину»; Д. II, 282). Продажа книг в первой половине XVIII в. в аптеке и «кофейном доме» — факт, представляющий интерес для истории книготорговли в России и, кажется, не отмеченный в литературе вопроса. В этом смысле любопытно указать на запись от 10 января 1729 г.: «Ездилем з Дмитрошком в слободу немецкую до продажной библиотеки» (Д. II, 276).

рического содержания, среди них и «Синописис» Ин. Гизеля⁸ и книги польских авторов, писавших на исторические темы.⁹ Позже его библиотека обогатится также трудами французских историков.¹⁰

Нужно помнить, что Я. Маркович не прекращает письменного общения со своим наставником Феофаном Прокоповичем, а в Москве видится с ним, ведет с ним беседы, фиксируя их в «Дневнике», но лишь изредка сообщая их содержание. И вот тут-то и сказывается несомненное, на наш взгляд, влияние учителя на характер книжных интересов ученика. Чтение церковных писателей (как показывают записи, почти исключительно западных, протестантских и католических), очевидно, происходит под непосредственным воздействием общения с Феофаном Прокоповичем.

В одном из писем к Я. Марковичу Феофан Прокопович, делясь первыми впечатлениями от пребывания в Петербурге, иронически говорит о том, что теперь все «заболели теологиею»: «Если по милости божией в их головах (речь идет о «попах, монахах, латынщиках», — *И. К.*) найдется несколько богословских трактатов и отделов, выхваченных когда-то каким-нибудь славным иезуитом из каких-нибудь творений схоластических, епископских, языческих, плохо сшитых, попавших в их потешную кладовую, быть может, из сотого источника, неудовлетворительных и плохих, а хуже того искаженных, то наши латынщики воображают себя такими мудрецами, что для их знания ничего уж не осталось. Действительно, они все знают, готовы отвечать на всякий вопрос и отвечают так самоуверенно, так бесстыдно, что ни на волос не хотят подумать, о чем говорят». Такого рода неразумному увлечению теологией Феофан Прокопович противопоставляет «жажду знания и изучения вопреки тиранству предвзятого мнения», которая будто бы характеризует его ученика, и выражает пожелание, чтобы все следовали его «прекрасному примеру».¹¹

⁸ «Сегодня купилем книжку рускую Синописис давній за полтину» (Д. II, 220). Очевидно, это не московское издание 1714 г., а одно из предшествовавших четырех киевских (см.: С. И. Маслов. К истории издания киевского «Синописиса». Сб. статей в честь акад. А. И. Соболевского, Известия Отделения русского языка и словесности АН СССР, т. CI, № 3, 1928, стр. 346).

⁹ См. запись от 18 марта 1728 г.: «Сегодня историю польскую купил я за 2 р» (Д. II, 215).

¹⁰ В возрасте 30 с лишком лет Маркович приступил к изучению французского языка; вскоре он получил возможность читать французские газеты и книги, в том числе выписанные им из-за границы.

¹¹ И. Чистович. Феофан Прокопович и его время. В кн.: Сборник статей, читанных в Отделении русского языка и словесности Императорской Академии наук, т. IV, СПб., 1868, стр. 38—39.

Очень показателен отбор авторов, читаемых Я. Марковичем. Так, осенью 1729 г. он неоднократно делает выписки из Блаженного Августина, причем очевидно, что Маркович читал не «*De civitate Dei*», а другие произведения Августина, в которых, в частности, высказывались суждения, использованные сторонниками протестантизма. К писаниям Блаженного Августина его могли привлечь та пылкость фантазии и красноречивость, которые характерны для этого поборника безграничного господства церкви.

Несомненно иного рода мотивы побуждали Я. Марковича интересоваться сочинениями Буддеуса и Гуэция.

И. Ф. Буддеус (*Buddeus*, 1667—1729) — немецкий богослов, с которым находился в переписке Феофан Прокопович. Отношения, возникшие между ними, были настолько тесными, что именно Буддеусу Ф. Прокопович доверил ведение полемики, возникшей в связи с появлением «Камня веры» Ст. Яворского. Перу Буддеуса принадлежит появившийся незадолго до его смерти труд, защищавший протестантизм от нападок Ст. Яворского и указывавший на враждебное отношение католической церкви и к лютеранству, и к православию. Книга Буддеуса была адресована к «другу, живущему в Москве» и явно имела в виду Феофана Прокоповича. Впоследствии враги епископа новгородского неоднократно (но бездоказательно) высказывали предположение, что сам Феофан Прокопович является автором этой книги.

Сочинениями Буддеуса Я. Маркович заинтересовался под влиянием своего учителя; от 5 февраля 1729 г. имеется следующая запись: «Архиерей новгородский прислал ко мне книжок 5: четыре Буддея, пятую Данила Гусция,¹² епископа Абриценского под титулом *Demonstratio evangelica*» (Д. II, 282). После этого в «Дневнике» появляются обширные выписки из обоих авторов. Буддеуса Я. Маркович штудировал особенно усердно. Позже он раздобыл его трактат против Ст. Яворского («был ввечеру у П. Михаила, от которого отобрал (!) письмо Люкино и *Epistola apologetica Buddei* на Камень веры» (27 февраля 1731 г., Д. III, 89). Но следов чтения этого сочинения Буддеуса мы в «Дневнике» не обнаруживаем, как не находим и откликов тех споров, которые были возбуждены в связи с опубликованием «Камня веры».¹³

¹² В издании Лазаревского несомненная опечатка, имеется в виду Гуэций.

¹³ Косвенным доказательством интереса Я. Марковича к этой полемике служит запись от 15 мая 1731 г.: «Получил я книжицу против Камня веры, называющуюся *Stenius Stephani Javorscii*» (Д. III, 105).

Интересовал Марковича и Гуэций (Huetius, 1630—1721). Автор «обширной апологии христианской религии», «*Demonstratio evangelica*», был сторонником принципов философии Декарта.

Интерес к картезианству у Я. Марковича оказывается устойчивым. Вот характерная в этом отношении запись: «З чтения познание сего, что проба правды всякой у эпикуров есть самое чувствий чили смыслов отправление да предзнание ума; а в картезианов познание ясное и особенное, которого основанием и виною есть правда божия, то есть например: того ради я знаю себе бити животное разумное, что должность такового животного во мне сущие ясно и особенно вижу или познаю; познание же тое ясное и особенное для того признано бити в том правдивое, что бог творец оног самая есть верховная правда. Пани двор купила в Китай городе, у князь Сергея Борисовича Голицина за 3000 рублей» (Д. II, 250).

Различные положения философской системы Декарта служат предметом бесед Я. Марковича со своим учителем. 23 ноября 1728 г. Маркович записывает: «У вечеру билем у архиерея новгородского (<...>), и тут был разговор о сентенции картезианов» (Д. II, 264). Приведем полностью соответствующее место «Дневника», так как оно позволяет судить о том, как воспринимались основы картезианства Феофаном Прокоповичем, основателем «Ученой дружины», и людьми, близкими ему: «У вечеру билем у архиерея новгородского, где и архимандрит Крулек был, и тут был разговор о сентенции картезианов, всякое чувство от животных все отоймающей, а толко единому человеку, имущему ум причитающей, будто чувство без ума не может быть, и тако оние животние автоматами називающей, а в разговоре было тое, что оное мнение Картезия есть некрепкое, ибо явственно спорит против повседневных ек(с)периментов, по которых видими диковинные животных поступки, которим без чувствий и без памятования (якое Картезий чувством називает) невозможно бити. Также о существе духа разсуждение было, что не в самом помишлении оног духа существе содержится, но есть особливейшее нечто, чего мы же не ведаем, должны признать и с таког разсуждения можно неякийся вид дебелог и весма скудног помишления животним причесть, однако ж оног безсмертним назвать невозможно, а какое оно есть — неизвестно, для того что не только духа, но и тела существ не знаем, и от незнаемой вещи знаемую утверждать невозможно, разве вопреки» (Д. II, 264—265).

У Я. Марковича обнаруживаются запросы и склонности, весьма далекие от православной ортодоксии. И здесь он во

многом обязан Феофану Прокоповичу. Известно, что руководитель «Ученой дружины» проявлял большой интерес к естествознанию, умея каким-то образом совмещать описание чудес, совершающихся при обращении к мощам Киево-Печерской лавры, с разоблачением аналогичных чудес, приписываемых католическим святыням.

Труд изобретателя микроскопа А. Левенгука «*Artis naturalis*» («Тайны природы»), к тому времени выдержавший повторное издание (Антверпен, 1697), был, должно быть, рекомендован Ф. Прокоповичем своему ученику: к 1728 г., ко времени их общения — личного и письменного, относятся обширные выписки Марковича из труда «Левенгека» (так назван Левенгук в «Дневнике»; Д. II, 250—252, 254). «Обсервации», описанные Левенгуком и тщательно изложенные Я. Марковичем, привлекли внимание последнего, вероятно, еще и потому, что он весьма интересовался практической медициной.

Со сказанным следует сопоставить интерес, проявляемый Я. Марковичем ко всяким, как он их называет, «диковинкам», «экспериментам» и физическим приборам. Во время пребывания в Петербурге в 1742 г. он посещает не только придворные балы, спектакли (о них см. ниже), но и Кунсткамеру, зверинец и, что особенно интересно, публичные лекции в Академии наук. Об этом свидетельствуют многие записи, помеченные различными датами (ДЗ. II, 157, 159):

«Были в Академии за покупкою книг и смотрели кунсткамеры, глобусы, библиотеки и других диковинок» (23 февраля);

«После обеда ездили смотреть слонов, львиц, бобров полосатых и других зверей и птиц» (23 февраля);

«Ездил в Академию, где профессор Крафт многие делал при нас опыты стеклами зажигательными, через микроскопиум композитиум, через зажигательные планы, принз (?) металлический и деревянный, через барометр и гидрометр и проч.» (1 марта).

Таким образом, интерес к естественным наукам, к наукам, покоящимся на наблюдении и опыте, не был у Я. Марковича чем-либо случайным; чтение Бэкона должно быть поставлено с ним в связь. Маркович переписывается с такими же, как он, любителями книг. Среди них — очень образованные люди: полковник Лубенский Петр Апостол, обладатель обширной библиотеки, автор дневника, который он вел на французском языке,¹⁴ писатель и переводчик Ф. О. Туманский, член-коррес-

¹⁴ Опубликован в журнале «Киевская старина» (1894, № 11, стр. 300—303 и 1895, № 7—8, стр. 400—455).

пондент Академии наук, издававший в Петербурге книги и журналы и одно время занимавший видный пост в гетманской канцелярии;¹⁵ Г. Н. Теплов, адъюнкт петербургской Академии.

Я. Маркович непрерывно общается с этими людьми и до конца своих дней продолжает приобретать книги. Он выписывает книги и периодические издания из Петербурга и Москвы, а при случае и из-за границы, обменивается ими с друзьями, дарит их родственникам и знакомым. Нередко мы снова встречаем здесь имена и заглавия, знакомые по первым годам ведения «Дневника». Наряду с этим мы наблюдаем на его страницах довольно многочисленные упоминания и о книгах, до того не встречавшихся. Это необходимо сопоставить с общим ходом развития культуры в России и на Украине; как раз в эти годы — середине XVIII в. — все явственнее приобретает она просветительский характер. И хоть Я. Марковича вряд ли можно причислить к носителям просветительских идей, тем не менее необходимо подчеркнуть его знакомство с ними, несомненный к ним интерес.

В этой связи следует выделить записи «Дневника», касающиеся общения Я. Марковича с Г. Н. Тепловым и П. Д. Апостолом.

Теплову принадлежит книга «Знания, касающиеся вообще до философий для пользы тех, которые о сей материи чужестранных книг читать не могут, собраны и изъяснены Григорием Тепловым. Книга первая. В Санкт-Петербурге при императорской Академии наук 1751 года». Это — «первое в России печатное чисто светское пособие на русском языке по философии и ее истории».

27 февраля 1752 г. Я. Маркович записывает: «Ездил рано во дворец гетманский и был у Теплова, который подарил мне русскую книжку по философии» (ДЗ. II, 302); несомненно речь идет о той книге, заглавие которой дано выше. Общение с Тепловым, который, видимо, ценил Я. Марковича за его близость к Феофану Прокоповичу, не прерывалось много лет: автор «Дневника» передает своему глуховскому знакомцу рукописи Феофана (ДЗ. II, 303). 11 августа 1760 г. встречается характерная запись: «Был у Теплова и о книгах разговор имели» (ДЗ. II, 368).

¹⁵ См. о нем: В. П. Семенов. Материалы для истории русской литературы и для словаря писателей эпохи Екатерины II. Русский библиофил, 1914, № 7, приложение, стр. 124—126. Здесь сообщается, что в 1779 г. Туманский хлопотал об открытии в Глухове книжной лавки, где могли бы продаваться академические издания; продажа книг в Глухове была организована.

Большими и разнообразными познаниями обладал и полковник Лубенский, Петр Данилович Апостол, имя которого встречается на страницах «Дневника» в 50-е годы.¹⁶ Маркович получает от него книги и журналы (преимущественно на французском языке). П. Д. Апостол владел французским, итальянским и немецким языками и с молодых лет пристрастился к книге. Заняв крупный пост, вступив в управление обширной территорией Лубенского полка, П. Д. Апостол, очевидно, сохранил эту страсть. «Дневник» Я. Марковича служит тому подтверждением. В частности, генеральный подскарбий и полковник Лубенский усердно пересылают друг другу газеты и журналы.

Примерно с 40-х годов в «Дневнике» встречаются записи, свидетельствующие о появлении у Я. Марковича интереса к периодической печати.¹⁷ Он пользуется теперь любой возможностью, чтобы таким путем получать сведения и о текущих политических событиях, и о всякого рода новинках. До этого он узнавал новости преимущественно из случайных источников — из переписки, от приезжих и т. п. Теперь же выписываются газеты и журналы, за ними отправляются нарочные, о них ведется оживленная переписка. Уже начиная с 1734 г. в «Дневнике» появляется большое количество записей, в которых упоминаются газета «Санкт-Петербургские ведомости» и журнал «Примечания к „Санкт-Петербургским ведомостям”».¹⁸

В ближайшие за этим годы Я. Маркович проявляет большую озабоченность тем, чтобы газеты были вовремя выписаны, чтобы не было перерывов в их доставке. Некоторые из этих записей настолько характерны, что их стоит привести:

¹⁶ Все три «книжные» записи, сделанные в «Дневнике» в 1750 г., связаны с именем П. Д. Апостола (ДЗ. II, 283, 284, 288).

¹⁷ Проявляет Я. Маркович интерес и к календарям, которые, как известно, включали разнообразные сведения, помимо астрономических, и весьма охотно читались (см., например: ДЗ. II, 364).

¹⁸ Вот относящиеся к этому записи:

«Приехал коберник (ковровщик, — И. К.) и привезл коберец, новоброшенный им, да привезл мне табаку à la violette, столичного, да примечания русские академии СПбургской» (14 апреля 1734 г., Д. III, 363);

«Пол(ковник) Луб(енский) купил за мои деньги (. . .) 5 книжок от 1728-го по 1733 год» (28 сентября 1734 г., Д. III, 399);

«Писал до Заруцкого в С.П.бурх, чтоб купил Примечания на 1734 год, также газет французских от сентевр. и пару чашек фарфоровых» (4 января 1735 г., Д. IV, стр. 1);

Наконец, в феврале 1743 г. (выход «Примечания» к этому времени уже прекратился) Я. Маркович все еще пишет брату «о покупке „Примечаний” на 1742 год» (ДЗ. II, 188).

«Ездил до почтмейстера Владимира Владимировича фон Пестеля, которому отдал 18 рублей на газеты французские, амстердамские, на будущий 1743 год» (1 ноября 1742 г., во время пребывания в Москве: ДЗ. II, 181);

«Ездил прощаться <...>, а потом на почту, где взял газеты» (18 декабря 1742 г., ДЗ. II, 185);

«Писал до почтмейстера Пестеля в Москву о недоставленных номерах газет и просил на будущий год оные отправлять к нам, а деньги 18 рублей принял бы от Мейера (аптекарь в Глухове, — И. К.)» (17 ноября 1743 г., ДЗ. II, 198);

«Отдал Кугарскому библию польскую и газеты французские и для оправы» (24 июля 1747 г., ДЗ. II, 250);

«Оставил Вежевскому приказ <...> о газетах, чтобы через певных посылать до пании Марковой (5 февраля 1748 г., ДЗ. II, 257);

«Через козака отправил до полковника Лубенского <...> газеты» (7 ноября 1749 г., ДЗ. II, 277).

Не удовлетворяясь чтением петербургских газет и журналов, Маркович выписывает также и французские периодические издания. Среди них имеются французские журналы, печатающиеся в Амстердаме (как известно, Голландия в ту пору была издательским центром, где печатались произведения, которые по цензурным условиям не могли выйти в свет во Франции).

Маркович не записал названий тех французских газет и журналов, которые он читал, правда за одним исключением: 20 октября 1744 г. он отмечает, что отправил «для отдачи полковнику Лубенскому» 5-й том «Спектатора» (ДЗ. II, 214), а затем спустя почти два года просит, посылая с этой целью нарочного, чтобы взятые номера журнала были возвращены (ДЗ. II, 235). Речь, очевидно, идет об одном из многочисленных переводов на французский язык журнала «Spectator» Адиссона и Стиля, пользовавшегося популярностью во всей Европе. Весьма показателен тот факт, что Маркович, еще недавно читавший почти исключительно произведения богословско-философского и исторического характера, обращается теперь к изданиям, нисколько не похожим на сочинения Блаженного Августина или на трактаты протестантских теологов (таких, как Будеус и Гуэций).

С этим следует сопоставить и тот факт, что в последние годы своей жизни Я. Маркович проявляет интерес к Фенелону, Роллену, Вольтеру. Первые два французских автора были очень популярны в России, и Маркович читает их произведения как в оригинале, так и в переводах. Он заботливо снабжает экземпляром «Приключений Телемака» на французском

языке своих внуков, отправляющихся учиться в Киев. Но еще за 19 лет до этого он выписывает экземпляр «Телемака» из-за границы и отмечает получение этой книги 11 декабря 1730 г.

О том, что проблема власти, проблема ответственности властелина за судьбы людей, ему подвластных, занимала Марковича, свидетельствует одна запись, относящаяся ко времени его пребывания в 1742 г. в Петербурге. Вообще не склонный к подробным описаниям,¹⁹ он детальным образом рассказывает о том, что 29 мая «ввечеру ездили во дворец и были на опере в оперном зале, где в изъяснение милосердных комитетов ее величества репрезентовалась история о Тите, императоре римском, и составленной на него конжюрации (заговора, — *И. К.*) через Сикстуса и Лентулуса, с наущения Вителлии, дочери убиенного Вителлия, которым все оный император простил».

Спектакль, о котором пишет Я. Маркович, оставил свой след в истории русского театра. Это опера «Милосердие Титово», либретто которой в 1734 г. было написано знаменитым итальянским драматургом Пьетро Метастазियो. Постановка трагедии носила явно выраженный политический характер, была приурочена к коронации Елизаветы, и Маркович правильно воспринимал происходящее на сцене, соотнося его с правительственными декларациями.

Весьма возможно также, что вольтеровская «История Карла XII шведского», прислать которую он просил П. Д. Апостола (ДЗ. II, 235), читалась Марковичем не потому только, что в ней излагались события, имевшие непосредственное отношение к родине автора «Дневника».²⁰ В этом своем раннем историческом труде Вольтер-историк неотделим от Вольтера-моралиста. Его роман-биография является «уроком царям»,²¹ суровым осуждением деспотизма. Очевидно не только занимательность изложения привлекла внимание Марковича к кни-

¹⁹ Например, запись от 8 февраля 1742 г. (ДЗ. II, 159): «Были во дворце на операх, где девки-италианки и кастрат пели с музыкою», — таков имеющийся в «Дневнике» чрезмерно краткий отзыв о посещении оперного спектакля.

²⁰ Первое упоминание об «Истории Карла XII» в «Дневнике» относится к 1746 г. 1 ноября 1750 г. Маркович записывает: «Полковник Лубенский прислал мне первый том истории короля Шведского; третий и четвертый оставил у себя для прочтения, а второй том ошибочно не прислан из Бреславля. За эти книги заплачено 11 рейхталлеров и 15 чешских» (ДЗ. II, 288). О каком издании идет здесь речь, сказать трудно: «История Карла XII» к этому времени выходила несколько раз; возможно, это амстердамское издание 1733 г.

²¹ К. Н. Державин. Вольтер. Изд. АН СССР, М.—Л., 1946, стр. 186.

ге Вольтера, он искал и находил в ней то же, что в многотомной истории Роллена и трудах Фенелона.

Таков путь, проделанный Я. Марковичем как читателем: от произведений отцов церкви и трудов православных и протестантских богословов до Вольтера. Таков несколько необычный, но чрезвычайно характерный для эпохи читательский облик этого незаурядного украинского книголюба первой половины XVIII в.





ВЫСТУПЛЕНИЯ

Е. Г. ПЛИМАК

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ В РАЗВИТИИ РУССКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ XVIII ВЕКА

Прежде всего хотелось бы отметить отрадный факт созыва конференции по русскому Просвещению XVIII в. Проблема эта узловая, она объединяет почти все разделы исторической науки, изучающей XVIII в. Вопросы, поднятые в докладе П. Н. Беркова, найдут несомненно отклик у историков, философов, юристов, экономистов.

Несколько замечаний по существу доклада.

Насколько оправданы выделение различных периодов развития прогрессивной русской идеологии и литературы XVIII в. и попытка выразить, зафиксировать их различие в понятиях «просветительство» и «просвещение» XVIII в.? Трудно сказать, согласится ли большинство исследователей с предложенными П. Н. Берковым определениями (одни из них считают «просветительство» и «просвещение» понятиями тождественными, другие считают не, «просветительство», а «просвещение» понятием родовым, третьи вообще никогда не задумывались на этот счет), но то, что в русской прогрессивной мысли XVIII в. были качественно различные этапы, и то, что их различие должно быть отражено в каких-то понятиях, — факт неоспоримый. Постановка этой проблемы идет в данном случае не от каких-либо схем и догм, а от самого живого исторического материала.

Если брать два главных этапа в развитии русского Просвещения XVIII в., грань между которыми кладут 60-е годы, то их последовательность отражает более глубокие сдвиги в экономике и социальной жизни страны. Сначала — как это было и на Западе и в России — в экономике появляются зачатки нового капиталистического способа производства. Соответственно с этим проявляются в области идеологии тенденции к пропаганде естественно-научных знаний, стремление к распрост-

ранению грамотности, просвещения вообще, те или иные формы апологетики самодержавного абсолютистского государства, содействующего на первых порах экономическому прогрессу страны. Впоследствии, по мере развития зачатков формирующегося капиталистического уклада, обостряется классовая борьба, на первый план выступают явления, связанные с разложением крепостнической системы, идет формирование и размежевание различных политических группировок. На этом этапе в прогрессивной идеологии начинают доминировать уже не «общепросветительские», а социальные вопросы, сама эта прогрессивная просветительская идеология приобретает более или менее ясно выраженный антифеодальный характер.

Все согласны, что рубежом между двумя этапами Просвещения в России были 60-е годы XVIII в. (волнения крепостных и приписных крестьян, постановка крестьянского вопроса в Уложенной комиссии и т. п.). Но переход прогрессивной русской литературы к постановке и решению социальных вопросов позволяет с большей определенностью, чем это было сделано в докладе, выделить классовую основу различных идейных течений внутри Просвещения 60—80-х годов. П. Н. Берков справедливо говорил о различиях между прогрессивными мыслителями этого периода. Действительно, Козельский и Новиков, Голицын и Фонвизин, Княжнин и Радищев не похожи друг на друга. Но в чем было существо этих различий? Последние исследования историков и экономистов позволяют говорить (при учете эволюции взглядов писателей, наличии переходных, промежуточных идеологических форм и т. д.) о двух вполне определенных тенденциях.

Прежде всего это демократическое (Козельский) и затем революционно-демократическое (Радищев) течение в русском Просвещении 60—80-х годов XVIII в. Это течение в силу условий русской действительности было малочисленным, но в то же время и наиболее богатым по теоретическому содержанию, наиболее плодотворным (если брать Радищева) по влиянию, оказанному на развитие русской освободительной мысли XIX в.

Если эта группировка внутри русского Просвещения окрашена более или менее ясно в цвета крестьянского демократизма, то вторая носит отчетливую дворянско-либеральную окраску. Представители этого второго (пожалуй, самого многочисленного) течения либо выражают интересы дворян, пытающихся приспособиться к новым явлениям в экономике страны (Голицын), либо думают примирить интересы дворян и крестьян, сгладить наметившиеся между ними противоречия (Поленов, Коробьин, Новиков и др.).

Особенно ясно различие между этими двумя тенденциями в русском Просвещении конца XVIII в. выявляет «Путешествие из Петербурга в Москву» А. Н. Радищева. Здесь уже четко и ясно противопоставлены два разных пути освобождения крестьян — отвергается путь освобождения «сверху», обосновывается неизбежность и необходимость освобождения «снизу».

Помимо этих двух тенденций в русской просветительской идеологии конца XVIII в., можно говорить по крайней мере еще о трех идеологических группировках, стоящих вне Просвещения, но в той или иной мере соприкасающихся с его идеями или использующих эти идеи в своих целях.

Прежде всего это довольно влиятельная группировка дворянской аристократии, использующей идеи «естественного права» и буржуазного конституционализма в своих корыстных, узкословных интересах. Западноевропейские принципы конституционной монархии получают у этой группы (Щербатов — справа, Панин — слева) своеобразную трактовку. Они служат обоснованием требований ограничить самодержавную власть в России представительными органами родовой знати.

О политике просвещенного абсолютизма Екатерины II, использовавшей, особенно в 60-х—начале 70-х годов, просветительские идеи для укрепления престижа самодержавной власти, достаточно подробно говорилось в докладе. Хотелось бы дополнительно отметить только одну мысль В. И. Ленина, помогающую понять возможность проведения в дворянской России XVIII в. подобной политики. В. И. Ленин подчеркивал, что самодержавие не только выражало интересы господствующих в экономике классов, но и обладало определенной долей независимости, «представляя собой, до известной степени, и самостоятельную организованную политическую силу».¹ У самодержавной бюрократии были и свои, обособленные интересы, была, если можно так выразиться, относительная самостоятельность, позволившая в те или иные моменты вести политику, прямо не обусловленную интересами класса феодалов в целом или даже в известной мере противоречившую этим интересам, как это было с политикой заигрывания Екатерины II с антифеодальными идеями Запада.

Наконец, предметом специального исследования для последней трети XVIII в. должна быть идеология русской православной церкви в ее отношении как к просвещенному абсолютизму, так и к русскому Просвещению. Вопрос этот —

¹ В. И. Ленин, Сочинения, т. 6, стр. 144.

один из интереснейших в истории русской мысли XVIII в. Русская церковь в 60—80-е годы оказывается в очень своеобразном положении. С одной стороны, она не одобряет заигрываний царицы с энциклопедистами, ясно сознает, что к добру игра с огнем не приведет, и устами Платона открыто заявляет об этом Екатерине II. С другой стороны, сдвиги в экономике страны заставляют и церковников идти в ногу со временем, как-то приспосабливаться к происходящим процессам, тем более что русские духовные учебные заведения оставались и в конце XVIII в. одним из главных центров распространения грамотности и образования в стране. В связи с этой тенденцией новая тематика проникает и в духовную литературу, появляются проповеди и «слова» церковников, ратующие за просвещение и вместе с тем пытающиеся отделить это просвещение от «безбожного» материализма и атеизма. В своих сочинениях духовные лица занимаются зачастую пропагандой естественнонаучных знаний, видя в то же время в достижениях наук лишний аргумент в пользу «всесилия» и «всемогущества» бога.²

Борьба этих главных идеологических направлений и определяет социальную проблематику русской литературы XVIII в.; вопросы, поднятые в этой борьбе, — прежде всего вопрос о судьбе крепостных — становятся ее достоянием.

Следующая проблема, поднятая в докладе П. Н. Беркова: влияние западноевропейской антифеодальной идеологии на русское Просвещение XVIII в. Для эпохи просвещенного абсолютизма 60—80-х годов характерно необычайное богатство идейных связей России с Западом. Наличие и обилие этих связей служило и поныне служит основанием для разного рода предвзятых компаративистских теорий, согласно которым весь процесс идейного формирования русского Просвещения XVIII в. сводится к тем или иным западным «заимствованиям». Если поверить немецкому исследователю Фридрихсу, не только русское масонство, но и вся русская культура XVIII в. «выросла из немецкой почвы». В противоположность ему французский историк Оман столь же решительно доказывает, что русская культура XVIII в. — отражение французской культуры. Подобные мнения не раз высказывались и в дореволюционной буржуазной русской литературе, те же взгляды культивируются и ныне за рубежом (см., например, работы Лэнга, Биттнера и других о Радищеве).

² См., например, книгу Апполоса «Евгеонит, или Созерцание в натуре божиих видимых дел».

С другой стороны, в борьбе с подобными предвзятыми компаративистскими концепциями некоторые советские исследователи не всегда умели отсечь спекуляцию на фактах от самих фактов, отбрасывали, а не переосмысливали критически собранный историками-компаративистами материал. Но подобные попытки раскрыть реальное историческое движение русской мысли XVIII в. без детального сравнительного анализа также не давали объективной картины, мешали понять процесс развития русского Просвещения, выявить как общие для разных стран закономерности развития антифеодальной идеологии, так и своеобразное преломление этих закономерностей в России.

Несомненно, что страна более отсталая в общественном и культурном отношении (а Россия в XVIII в. по сравнению с Европой была такой страной), повторяя в своем историческом развитии этапы, пройденные передовыми странами, неизбежно подвергается их влиянию. Это обусловлено прежде всего определенным родством решаемых и здесь и там социальных вопросов. Поэтому факт «заимствования» идейного материала, определенных теорий и концепций, факт преемственности идей, влияния культуры одной страны на другую совершенно неоспорим. Всем ясно, что антифеодальную идеологию русским просветителям не приходилось создавать заново. Она уже была создана на Западе в процессе почти двухвековой борьбы. Ясно и то, что влияние западной просветительской идеологии в России имело огромное прогрессивное значение. Оно намного ускорило созревание сил, враждебных феодализму, позволило лучшим представителям русской науки, философии, литературы за короткий срок подняться на одну высоту с величайшими мыслителями и художниками Западной Европы.

Однако мало установить такое влияние, факты сходства идей тех или иных мыслителей разных стран, разбить их на «учителей» и «учеников» и т. п. Исследователь-компаративист на этом считает свой анализ оконченным. Фактически же его исследование обрывается там, где оно только должно начинаться. Схватив момент тождества и абсолютизовав его, компаративист не желает видеть момента различия, а тем самым не может воссоздать реального движения общественной мысли при переходе от одной страны к другой, подменяет живой процесс развития мертвой схемой. В итоге, будучи методом идеалистическим и метафизическим, компаративизм оказывается органически неспособным раскрыть объективную закономерность появления однотипной идеологии в разных странах, проходящих одни и те же социальные этапы, просле-

дить процесс изменения единых (в рамках данной формации) форм общественного сознания при переходе от одной страны к другой. При этом происходит умаление вклада, внесенного теми или иными странами в общемировую культуру, остается невыясненным, что нового, своего дала та или другая страна; остается совершенно необъяснимым, почему страна, более отсталая в экономическом и социальном отношении, опираясь на идеи более передовых стран и переработав их, может после определенного периода играть в идеологии, как говорил Энгельс, «первую скрипку»,³ и т. д. и т. п. Наконец, уже совсем загадочным при таком подходе представляется факт возникновения однородных идей в разных странах, когда «заимствования» вообще не имели места. У нас нет, к примеру, никаких данных, говорящих о том, что Радищев знал Мелье, а между тем идеи того и другого во многом тождественны по своему социальному содержанию.

На самом деле процесс развития идеологии данной страны обусловлен прежде всего внутренними, а не внешними причинами. Эта идеология складывается на основе развития и развертывания внутренних социальных антагонизмов. Что же касается «заимствований», то они могут играть только роль факторов, видоизменяющих, ускоряющих или замедляющих, но не определяющих этот процесс. При этом общение мыслителей разных стран отнюдь не сводится к простым «заимствованиям». Идеальный материал — если исключить разного рода компиляторов, которых бывает достаточно в любой стране, — ни в коем случае не переносится механически на новую почву. В ходе этого процесса он претерпевает сложнейшие органические видоизменения.

Во-первых, сам отбор «заимствуемого» материала определяется особенностями развития данной страны, потребностями тех или иных общественных слоев и группировок, т. е., в конечном счете, условиями развития классовой борьбы. Одно дело французолюбие русских аристократов XVIII в., другое дело — использование передовых идей Франции русскими просветителями и совсем иное дело — заигрывания Екатерины II с энциклопедистами и т. д.

Во-вторых, весь этот идейный материал не падает на «чистую» почву. Он видоизменяется в соответствии с той традицией, которая была присуща культуре, общественной мысли данной страны, а точнее — традициями различных классов или общественных групп. В результате происходит такая

³ К. Маркс и Ф. Энгельс, Избранные произведения, т. II, Госполитиздат, М., 1948, стр. 475.

«переплавка» «заимствуемого» идейного материала, которая иногда до неузнаваемости изменяет и его форму, и его содержание. Этот материал претерпевает качественные изменения, в нем появляются новые стороны, которых не было ранее, новые идеи, наконец, возникают процессы обратного влияния идеологии данной страны на другие страны и т. д.

Различие двух очерченных выше методов исследования и есть различие между методом буржуазного компаративизма, который сводит весь процесс развития идеологии к простому перенесению идей одной страны на почву другой, и сравнительным методом исторического материализма, который не отрицает идейных влияний и связей, но видит в них только один из моментов процесса развития, рассматривает этот процесс в совокупности всех его отношений, выделяя как главный и определяющий момент классовую борьбу в данной стране.

Эта принципиальная сторона дела была с достаточной четкостью определена советскими историками в последние годы и, очевидно, ни у кого не вызывает возражений. Но есть еще сторона чисто фактическая, и здесь хотелось бы сделать некоторые замечания по докладу.

Прежде всего было бы не совсем точно говорить, что русские просветители только усваивали антифеодальные идеи Запада, использовали и перерабатывали их в борьбе с самодержавной идеологией. Некоторые русские просветители не могли всегда четко и ясно определить грань между французоманией дворянского аристократического общества или Екатерины II и прогрессивным влиянием идей энциклопедистов, отделить первое от второго. Пример Новикова всем известен — он отдал немало сил борьбе с французским «вольномыслием». Эту полемику особенно важно отметить, ибо речь идет о явлениях, связанных с характером русского Просвещения XVIII века в целом, с его классовой, дворянской ограниченностью.

Далее, в докладе не говорилось о влиянии немецкого Просвещения в России, а если судить, например, по русской философской или естественнонаучной литературе XVIII в., то вряд ли оно было меньшим, чем влияние энциклопедистов. В первую очередь это было связано с правительственной политикой в области образования. Немецкое Просвещение было лишено политического радикализма, носило теологическую окраску и оказалось поэтому в руках самодержавия наиболее пригодным инструментом для насаждения в стране научных знаний. В 60—80-х годах заметно усилилось воздействие идей школы Лейбница—Вольфа на светское преподавание и русскую лите-

ратуру. Многочисленные работы немецких идеалистов Баумейстера, Гейнекция, Кампе, Эрнести переводились на русский язык, курсы вольфианской философии читали профессора Московского университета и т. д. Интересно, что и русские попы взяли себе на вооружение в эти годы «естественное богословие» Вольфа; прежние курсы схоластической философии были заменены в русских духовных учебных заведениях системами Баумейстера, Винклера, Тюммига и других эпигонов вольфианства.

В целом воздействие школы Лейбница—Вольфа на развитие общественной мысли в России было крайне противоречивым и сложным. Такие философы-идеалисты, как Лейбниц, Вольф, Бильфингер, были для своего времени крупными учеными, а их системы включали большую сумму естественнонаучных знаний. Несомненно и то, что пропаганда философских идей Лейбница, особенно в период расцвета масонского мистицизма, имела в России известное положительное значение. То же самое, хотя в меньшей степени, можно сказать о системах Вольфа и его последователей. Компромиссность, эклектический характер этих систем позволили русским философам, например Козельскому в его «Философических предложениях» (1768), Аничкову в его «Словах...» (1770, 1774), развивать сенсуалистические идеи, причем зачастую сенсуализм шел в русскую философию не непосредственно от Локка, а через Вольфа.

С другой стороны, идеалистические и особенно теологические моменты систем немецких просветителей широко использовались масонством и официальной идеологией для борьбы с материализмом.

Если брать русскую прогрессивную философскую литературу, то здесь совершенно ясно различимы попытки отмежеваться от идеалистических и теологических идей немецкого Просвещения, стремление к развитию его положительного содержания. Отметим только три основных момента.

1. Попытки Ломоносова дать материалистическое толкование монадологии Вольфа, и создать на этой основе атомистическую картину мира.

2. Попытки Аничкова в работах конца 60-х—начала 70-х годов выделить из эклектической системы Вольфа сенсуалистические идеи и развить их дальше.

3. Попытки Радищева использовать диалектические идеи Лейбница—Гердера в своем трактате «О человеке, о его смертности и бессмертии» для построения материалистической системы воззрений на происхождение и сущность человеческой души.

Поскольку речь уже зашла о связях русского и немецкого Просвещения, следовало бы уделить больше внимания Эйлеру (его в равной степени можно считать и немецким и русским просветителем). «Философические письма к немецкой принцессе» Эйлера выдержали в России несколько изданий и оказали определенное влияние на развитие русской философской мысли.

Наконец, последний вопрос — об эволюции политической идеологии русского Просвещения, которое шло от веры в «просвещенного монарха» (Кантемир, Ломоносов) к разочарованию в нем (Новиков, Фонвизин, Крылов), а затем к борьбе с идеологией просвещенного абсолютизма в целом, к противопоставлению ей идеи народной революции (Радищев).

П. Н. Берков справедливо охарактеризовал эту эволюцию как общеевропейский процесс, сказав, что вера в «просвещенного царя» была «снята» на Западе французской буржуазной революцией, а у нас — «Путешествием из Петербурга в Москву». В связи с этим хотелось бы уточнить один момент, остановиться на одной ошибке особенно распространенной в работах о Радищеве. Эта ошибка заключается в игнорировании разных этапов в западном, а не только в русском Просвещении. Буквально в десятках книг мы видим одну и ту же формулу. Западные просветители, как Гольбах, Гельвеций, Дидро, Рейналь, верили в «мудрого, просвещенного царя», а вот Радищев порвал с этой верой. Но это совсем не так. Формула не учитывает того качественного сдвига, который произошел в западном Просвещении в годы американской революции и который — что особо важно для нас — оказал прямое и непосредственное воздействие на Радищева.

Веру в «просвещенного философа» на троне как главное орудие революционного преобразования общества можно еще, пожалуй, найти в «Естественной политике» Гольбаха. Если же взять работу Гельвеция «О человеке» начала 70-х годов, то здесь мы, напротив, видим полное разочарование в благих намерениях французских монархов, поиски новых путей, в частности особый интерес к народным восстаниям против «деспотизма». Та же тенденция, тенденция к разоблачению несоответствия слов и дел «просвещенных монархов», ясно пробивается у Дидро — в его известных замечаниях на «Наказ» Екатерины II. Наконец, в середине 1770-х годов, в разгар бурных событий на Американском континенте, западное Просвещение делает еще один шаг вперед. Томас Пэйн разрешает основное противоречие просветительской идеологии — противоречие между революционным характером ее антифеодаль-

ных требований и упованиями просветителей на мирный путь их воплощения в жизнь руками «просвещенных» представителей того же старого феодального мира. Он открыто провозглашает в «Здравом смысле», что революционные требования проводятся в жизнь не уговорами «коронованных звей», а революционным путем, самим народом. Если Гольбах еще говорил о «безумии революций», то Пэйн говорит об их созидательном значении; если первый хотел просвещать народ, дабы отвратить революцию, то второй утверждает, что сама революция лучше всего просвещает народ.

Для нас особо важно установить, что эта концепция революционного просветительства оказала влияние на французских просветителей, в частности на Рейналя, и что через Рейналя с идеями «Здравого смысла» познакомился Радищев. В последнем издании «Истории двух Индий» Рейналь, преодолевая либерально-просветительские иллюзии, провозглашает революцию 1776 г. делом всего человеческого рода. Славя вооруженную борьбу за свободу и обретая утерянный было оптимизм, он призывает отбросить старые иллюзии и заблуждения. Он верит, что Европа в один прекрасный день увидит учителей «в своих заокеанских детях». Он излагает и пропагандирует с этой целью на страницах своей книги «Здравый смысл» Т. Пэйна.

В свое время В. П. Семенников отметил многие текстуальные созвучия центральных революционных произведений Радищева — оды «Вольность» и «Слова о Ломоносове» — с книгой Рейналя об американской революции. Но Семенников уделил слишком мало внимания тому, чтобы показать, как Радищев — через посредство Рейналя — воспринял в целом концепцию революционного просветительства Т. Пэйна и развил ее дальше в своем «Путешествии».

«Энтузиазм народа порождает плеяду неизвестных талантов. Именно в революциях раскрывается величие душ, рождаются герои и находят свои места», — писал Рейналь, передавая слова Пэйна. Отзвук этих идей мы найдем затем в «Путешествии» («Городня»). «Мы показываем вашу судьбу», — передавал Рейналь слова американского революционера. «Пример твой мету обнажил», — отвечал ему в оде «Вольность» Радищев.

«Он исторг гром с неба и скипетр из рук царей», — приводил Рейналь в пример потомкам надпись, начертанную на бюсте Франклина, и теми же словами характеризует Радищев свой идеал борца за свободу. Рейналь говорит об обращении к потомкам с новым революционным словом — и тем же призывом завершает «Путешествие» Радищев.

Однако идеи учителей Радищева — Руссо и Гельвеция, Гердера и Мабли, Рейналя и Пэйна — существенно трансформировались на русской почве. Общепросветительская антифеодалная идеология была преломлена здесь сквозь призму необычайно острого классового антагонизма крепостного и помещика. Абстрактный человек Руссо принял в «Путешествии» образ русского мужика («Зайцово»), «деспот на троне» получил черты Екатерины II («Спасская Полесь»), вывод Пэйна о бесплодии просвещения «верхов» обрел новое конкретное подтверждение на примере политики русского просвещенного абсолютизма («Хотиллов», «Выдропуск»), общий вывод теории «общественного договора» о праве поработанного народа на сопротивление воплотился в мечту о будущей крестьянской революции («Городня», «Медное», «Вольность»).

Радищев, венчающий русское Просвещение XVIII в., — порождение русской жизни, его «Путешествие» — итог эволюции русской просветительской идеологии; с этого основного, исходного, определяющего пункта должно начинаться любое исследование, любая оценка мировоззрения писателя. Но было бы нелепостью утверждать, что Радищев — порождение одной только русской жизни. Если он за столетие вперед провидел русскую революцию, то лишь потому, что на целое столетие вперед обогнали Россию в своем политическом развитии революционная Америка, а затем революционная Франция, открывшие его взору путь в будущее. В эпоху Радищева в России начался кризис феодально-крепостнической системы, Запад в ту же эпоху нашел реальный путь ее ликвидации — эти два определяющих факта лежат в основе радищевской революционно-демократической концепции.





Г. И. БОМШТЕЙН

О ЗНАЧЕНИИ НАРОДНОГО ДВИЖЕНИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ

Интересные доклады, сделанные на конференции, раскрывают богатство исторического содержания и многогранность процесса развития русского просветительства. В докладах П. Н. Беркова и И. З. Сермана уделено внимание периоду 1730—1750 гг.

Выдвинутое П. Н. Берковым положение о дворянской и демократической тенденциях в русском просветительстве и о взаимодействии этих тенденций — положение, с которым не соглашались некоторые из участников этой конференции, — представляется заслуживающим большого внимания. Оно отражает большую сложность, реальные, действительные противоречия общественной мысли и литературы XVIII в., своеобразный характер русского просветительства и роль дворянства в нем, соотносительность просветительских идей с теми материалами, которые характеризуют духовную жизнь, настроения, чаяния народных масс, в первую очередь крестьянских, воздействие народа на формирование общественно-исторической мысли XVIII в. и т. д.

Если согласиться с тем, что историческая действительность, интересы и настроения широких народных масс также могли быть одним из источников писательских идей и так или иначе отразиться в этих идеях, то тогда следует признать целесообразным при соответствующем подходе, историческое соотношение так называемых просветительских идей и тех материалов, которые характеризуют искания, мысли и настроения крестьянства в 30—50-х годах XVIII в.

О значении народного движения в истории общественной мысли, в истории Просвещения говорилось и писалось много, но речь шла именно о последней трети XVIII в.; что же касается второй трети века, то здесь, очевидно, явная сдержанность была связана с определенными представле-

ниями, с определенной оценкой крестьянского движения этого периода.

В связи с этим хотелось бы обратить внимание на интересные материалы, касающиеся крестьянского движения, духовной жизни крестьянства в 30—50-х годах, опубликованные в книге П. К. Алиференко «Крестьянское движение и крестьянский вопрос в России в 30—50-х годах XVIII века» (Соцэкгиз, М., 1958).

Документы, приводимые автором, показывают, что крестьянское движение второй четверти XVIII в. имело более широкие масштабы, чем принято было считать. Оно принимало разнообразные формы и по своему размаху как бы подготавливало мощное антифеодальное движение Пугачева. Автор доказывает, что стихийные разрозненные восстания второй трети века носили также антифеодальный характер.

В книге приводятся документы, раскрывающие замечательную солидарность крестьян, поддерживавших друг друга в борьбе за свои интересы. Но дело не только в этом. Алиференко приводит очень интересные челобитные, документы из Канцелярии тайных розыскных дел, свидетельствующие о вольномыслии и вольнодумстве в народе, в том числе и среди крестьянства. Во многих челобитных, как отмечается в этой работе, часто повторяются одни и те же положения, одни и те же мысли, одни и те же жалобы. Все это говорит об устойчивости некоторых политических настроений, хотя бы среди небольшой части крестьянства. Ведь не случайно (правда, цифры не даны) из большого количества политических дел, завершенных в Канцелярии тайных розыскных дел, значительную долю составляли как раз дела крестьян. По ряду документов можно судить о крайнем вольнодумстве, шедшем подчас далее, чем вольнодумство просветителей последней трети XVIII в. В одном из дел о кощунстве имеется такое суждение: «Люди, привлеченные по этому делу, заявляли, что сами архиереи и государи религию за враки почитают, только народ принуждают почитать бога, чтобы их боялись и почитали и покорялись, ибо сам бог приказал».

В кратком выступлении мне хотелось подчеркнуть, что всякие материалы, свидетельствующие о проявлении вольнодумства, вольномыслия русского крестьянства, очевидно, смогут что-то дать при изучении вольнодумства русских просветителей и что такое изучение при историческом подходе к вопросу, изучение этих идей в соотношении с документами, характеризующими духовную жизнь народа, может вскрыть какие-то новые стороны в этом очень большом и очень сложном движении.



В. Н. ВСЕВОЛОДСКИЙ-ГЕРНГРОСС

О ТЕРМИНАХ «ПРОСВЕЩЕНИЕ» И «ПРОСВЕТИТЕЛЬСТВО»

Прежде всего я должен сказать, что, не взирая на большие трудности приезда в Ленинград, я счел себя обязанным приехать, потому что это было для меня своего рода демонстрацией. То обстоятельство, что изучение русской литературы XVIII в. в Пушкинском Доме поставлено очень серьезно и даже устраиваются конференции, посвященные XVIII в., мне представляется большим научно-прогрессивным фактом, который не поддержать просто невозможно.

Настоящую конференцию должно приветствовать еще и потому, что она начинает свою работу с разрешения вопросов, которые лежат в основе всей литературы XVIII в., — с вопросов о просветительстве.

Я никогда не занимался специально просветительством, но, изучая драматургию и актерское искусство XVIII в., я не мог не опираться на основные явления, определяющие линию историко-литературного процесса. В этой области, как правильно отмечалось, существует большое разномыслие. Некоторые теоретики, сплошь и рядом по-своему истолковывая понятие просветительства, вредят делу, и им необходимо договориться. И если результатом конференции будет такая договоренность, то это можно считать большим достижением.

Прежде всего, «просвещение» и «просветительство» — это синонимы или не синонимы? Это первый вопрос. И второе — что это, различные этапы развития общественной мысли или нет? Наконец, не является ли одно из этих понятий слагаемым второго, т. е. не входит ли «просвещение» в понятие «просветительство» или наоборот, или это совершенно разные понятия?

На все эти вопросы необходимо точно ответить. Мне кажется, искать ответ в западной литературе, философии,

общественной практике было бы не совсем правильным, потому что вторая половина XVIII в. в России представляет собой тот отрезок времени, когда страна в галоп догоняла Запад, преодолевая свое отставание, обусловленное, как известно, историческими обстоятельствами ее развития. В связи с этим получается своеобразная «чехарда» явлений. Это сказывается и на определении художественных направлений в драматургии. В самом деле, можем ли мы определенно сказать — сентименталист или романтик Озеров? А может быть, все дело в том, что творчество Озерова — сложное явление, в котором наличествуют элементы и того и другого? Так же обстоит и в области актерского искусства. Например, А. С. Яковлев. Что это? Кончается на нем классицизм или не кончается? Или это ранний русский романтик? Если взять последнюю книжку С. С. Данилова — «Очерки по истории русского драматического театра» (Изд. «Искусство», М.—Л., 1948), — то он вопрос о Яковлеве решает по-своему, решает односторонне и поэтому, как мне кажется, неправильно.

Особенности культурного развития России той эпохи были значительно сложнее, чем западноевропейского. Национальная специфика нашего развития налагает особую печать на многие явления. Вот почему так важно уяснить себе семантику понятий, которыми мы пользуемся для их обозначения.

Что такое «просвещение»? Это, по существу, форма деятельности; глагол «просвещать» имеет один и тот же корень, что и «просвещение», определяя действительное влияние на какой-то объект. После слова «просвещать» ставится вопрос «кого?». Между тем «просветительство» обозначает не форму деятельности, а форму идеологии. Это идеи, мировоззрение, прогрессивная философская система XVIII в. И правильно будет отличать одно от другого.

В. И. Ленин дал классическое определение понятия просветительства, и, мне кажется, правильно говорилось здесь о том, что вполне правомерно распространить его определение и на XVIII век. Но в определении В. И. Ленина есть один неперемный пункт — это ненависть к крепостному праву. А была ли у нас в литературе XVIII в. ненависть к крепостному праву? Разве вопрос о крепостном праве не решался до Радищева как вопрос улучшения качества крепостного состояния? Несомненно, да. Но это не значит, что мы не можем применять тезис В. И. Ленина к XVIII веку. Наоборот, этот тезис распространяется и на XVIII век, с тою лишь разницей, что в XVIII в. имел место лишь начальный этап развития просветительства.

Д. И. Фонвизин просветитель или нет? Я думаю, что это несомненно один из выдающихся просветителей XVIII в. Просветительство было его идеологией, и он ее воплощал во всех своих произведениях, через их посредство просвещая современное ему общество.

Это, в сущности, единственное замечание, которое я хотел сделать.

Я бы хотел, чтобы наша конференция вынесла какие-то определенные суждения по данному вопросу и, в частности, единодушно высказалась за то, чтобы приступить, наконец, к изданию полного собрания сочинений Фонвизина, ибо издание его избранных произведений под редакцией Н. Л. Бродского, сделанное Л. Светловым, имеет лишь проходное значение. Я думаю, что осуществить это должна Академия наук.¹



¹ В 1959 г. вышло под редакцией проф. Г. П. Макогоненко двухтомное издание «Избранных произведений» Д. И. Фонвизина. (Прим. Ред.).



Г. М. ФРИДЛЕНДЕР

О ФОРМЕ И СОДЕРЖАНИИ ИДЕОЛОГИИ ЭПОХИ ПРОСВЕЩЕНИЯ

Доклад П. Н. Беркова показался мне чрезвычайно плодотворным, по-новому поставившим ряд вопросов Просвещения вообще и русского Просвещения в частности. В докладе содержится в высшей степени ценный материал для обсуждения многих сложных и спорных вопросов литературы этой эпохи.

Тем не менее, как и другие, выступавшие здесь до меня, я считаю постановку в докладе некоторых вопросов (то, что они поставлены с такой остротой впервые, является большой заслугой докладчика) спорной. И наиболее спорным кажется мне то противопоставление просветительства и Просвещения, которое легло в основу всей конкретной схемы развития просветительской мысли в России, предложенной докладчиком. Можно согласиться с тем, что понятие Просвещения как определенного классического этапа истории общественной мысли и культуры нужно отделить от понятия просветительства в ином, более широком смысле слова. Эпоха перехода от феодализма к капитализму в России, как и повсюду, имела целый ряд этапов, и на различных этапах ее выступали и эпигоны просветителей, и буржуазные культуртрегеры, и многие другие деятели, так или иначе связанные с просветительской традицией. Но нас интересует прежде всего Просвещение как классическая ступень в истории развития общественной мысли и литературы каждого народа. И в русской литературе нас интересует также в первую очередь не просветительство, а именно Просвещение.

Говоря о том, что такое просветительство и что такое Просвещение, мне хотелось бы напомнить, что в разное время эти понятия наполнялись различным историческим содержанием. В трудах людей XVIII в. характеристика их времени как эпохи Просвещения не была свободна от сознания своего пре-

восходства, от оттенка гордости. Средневековье представлялось людям XVIII в. эпохой варварства, на смену которому пришла эпоха Просвещения. Позднее, уже в конце XVIII в., термин «Просвещение» начали осмысливать более критически и стал возможен исторический подход к нему. Возник научный анализ этого термина. В частности, Кант посвятил специальную статью вопросу о том, что такое Просвещение. Так впервые возник взгляд на Просвещение как на определенную эпоху в истории культуры, занимающую свое, только ей принадлежащее и неповторимое место. Наиболее характерной чертой этой эпохи буржуазными философами и историками была признана вера в человеческий разум, стремление перестроить человеческое общество на разумных основаниях. Характерными чертами эпохи Просвещения буржуазная историческая наука признала борьбу с религией, со средневековьем и сословностью во всех областях жизни, защиту веротерпимости, господство мысли о том, что естественная природа человека не противоречит разуму и что нужно лишь соответствующим образом воспитать человека для того, чтобы можно было создать разумное общество.

Однако такое понимание Просвещения характеризовало лишь идеологическую форму культуры эпохи Просвещения, но не ее социальное, классовое содержание.

Маркс и Энгельс, которые сделали следующий шаг в понимании Просвещения, не отвергли мысли о том, что Просвещение связано с верой в господство разума или с идеей «естественного человека». Но они показали, что эта идеологическая форма мысли эпохи Просвещения имеет определенную, более глубокую классовую, социальную основу. Основоположники марксизма выяснили, что идеология Просвещения является этапом в истории буржуазно-демократической общественной мысли, что «естественный человек» просветителей есть предвосхищение буржуазного человека.

Таким образом, Маркс и Энгельс показали, что нужно различать идеологическую форму или оболочку, в которую облекается общественная мысль эпохи Просвещения, и стоящее за этой оболочкой социальное, классовое содержание. У нас, к сожалению, часто об этом забывают и пытаются характеризовать Просвещение только прибегая к одной его социальной, классовой характеристике. Однако подобное, упрощенное понимание взглядов Маркса, Энгельса и Ленина на эпоху Просвещения неправильно. Маркс и Энгельс, говоря об особенностях общественной мысли эпохи Просвещения, учитывали обе ее стороны — и ее идеологическую форму, и ее социальное содержание.

Далее необходимо помнить, что передовая буржуазная освободительная мысль далеко не всегда выступала в форме просветительской идеологии. В эпоху ранних буржуазных революций передовая общественная мысль была заключена еще в религиозные формы — так было, например, в эпоху реформации. Лишь позднее, в XVIII в., на определенной ступени истории буржуазного общества, передовая буржуазная мысль в Англии и во Франции приобретает форму идеологии Просвещения. Вот почему, говоря об идеологии Просвещения на Западе или в России, надо учитывать обе стороны понятия Просвещения и не смешивать просветительскую мысль, имеющую свои специфические, только ей одной присущие черты, с более ранними или более поздними ступенями общественной мысли; тем более нельзя смешивать ее со всяким вообще проявлением свободомыслия или отождествлять просветительство, как это нередко имеет место, со всякой борьбой против крепостного права. Ведь и Пугачев по-своему боролся с крепостным правом. Однако, разумеется, он не был просветителем.

Другими словами, к явлениям Просвещения нужно относить не всякую демократическую мысль, связанную с борьбой против крепостного права, а только такую демократическую мысль, которая отливалась в специфическую форму просветительской идеологии с присущими последней пафосом борьбы с религией, верой в разум, защитой научного знания, а не в другие идеологические формы, например не в форму древнерусского еретичества или дворянского вольнодумства.

Мне кажется, что в наших спорах о Просвещении мы нередко забываем о связи этих двух сторон вопроса. Между тем в ленинской характеристике просветительства обе они учтены. Ленин анализирует и специфическую идеологическую форму просветительства (защиту знания, европеизации России и т. д.), и его социальное содержание (его буржуазно-демократический характер). Мы же связь между этими двумя сторонами зачастую учитываем недостаточно, а потому на практике нередко отождествляем всякий демократизм и всякое свободомыслие с просветительством.

Далее. Мне представляется, что, когда мы говорим об истории русского Просвещения, очень важно иметь в виду еще одну сторону вопроса. В России, как известно, Просвещение наступило позже, чем на Западе, поэтому в России представители разных слоев общества в той или иной мере испытывали воздействие западной просветительской мысли. В прежнее время считалось, что если в сочинениях Екатерины II можно найти те или иные заимствования из произведений

французских просветителей, то этого достаточно, чтобы ее также назвать просветительницей. Между тем, как мы хорошо знаем сейчас, идеи просветителей те или иные государственные деятели или писатели других направлений могли использовать в целях, далеких от тех целей, которые ставили просветители, и хотя заимствование просветительских идей придавало взглядам подобных деятелей особую окраску, оно все же не делало последних просветителями.

Поэтому в принципе мне представляется заслуживающей внимания точка зрения Г. П. Макогоненко, который говорил, что нельзя механически причислять Сумарокова или Карамзина к разряду просветителей. Державин, например, был великий поэт, но, с моей точки зрения, он никак не может быть уложен в прокрустово ложе просветительской идеологии с ее рационализмом, верой в прогресс, с ее специфическими достоинствами и недостатками. Конечно, Державин испытал определенное влияние просветительской философии своей эпохи. И все же он был представителем русского вельможества, русской дворянской культуры XVIII в., и не случайно Гораций был ему гораздо более близок, чем Вольтер или Поп. Не вера в отвлеченный разум человека и в его способность перестроить мир, а другие моральные идеалы составляют пафос поэзии Державина. Объяснить поэзию Державина из особого восприятия им идей Просвещения, по-моему, нельзя, так как это противоречит ее зерну, ее основному поэтическому содержанию.

И последнее замечание: то, что Просвещение в России растянулось на длительный период, не представляет, как мне кажется, чего-то исключительного. В Германии мы имеем во многом подобную же картину. После эпохи Готшета мы имеем здесь не только эпоху Лессинга, но и позднее, в XIX в., в изменившейся общественной обстановке, накануне революции 1848 года мы наблюдаем возвращение ко многим идеалам Просвещения в философии Фейербаха. Таким образом, не только в России, но и в Германии Просвещение развивалось на протяжении ста лет и имело ряд качественно различных этапов.





А. В. КОКОРЕВ

ЗА АКТИВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА

Созыв Всесоюзной конференции по вопросам изучения русской литературы XVIII в. — факт весьма отрядный, и он должен иметь большие последствия.

Существующее положение с преподаванием русской литературы XVIII в., как и древней, очень незавидное. Так или иначе, но происходит постепенное свертывание этих курсов.

Приведу конкретные примеры. Было время, когда древняя литература и литература XVIII в. преподавались на исторических факультетах, на западных отделениях филологических факультетов университетов. Теперь эти курсы не читают якобы за ненадобностью, бесполезностью.

Педагогические институты переживают реорганизацию. Вместо факультетов литературы и языка созданы историко-педагогические факультеты. Педагогических институтов очень много, и они являются весьма важной базой для нашей деятельности. А что происходит? Недавно я беседовал с товарищами, работающими в этих институтах. На древнюю литературу и литературу XVIII в. отводится всего 10—12 часов!

Что представляют собой древнерусская литература и литература XVIII в.? Это начало всей великой русской литературы. Студенты узнают здесь, откуда пошла русская литература и как она стала великой. Между тем преподаватели литературы XIX и XX вв. как-то очень легко обходятся без XVIII века и доказывают, будто знание его вовсе не требуется.

Мы должны настойчиво указывать, что XVIII век нужен, что преподаватели, читающие курс литературы XIX в., не могут, не смеют обходиться без изучения литературы XVIII в. И я считаю, что в этом отношении совещание должно иметь большое значение.

Возьмем вопрос о просветительстве. Еще совсем недавно, когда речь заходила о просветительстве XVIII в., это сразу вызывало возражения, упреки в непонимании исторической обстановки, в механическом приложении ленинских формулировок к явлениям другой эпохи.

Сегодняшнее сообщение П. Н. Беркова говорит о том, что высказывания В. И. Ленина о просветительстве нельзя понять, если не знать декабристов, Радищева, Новикова, Фонвизина и просветителей XVIII в. О всем том, о чем говорил П. Н. Берков, говорили и мы сами, но говорили в одиночку, а поддержки ни откуда не имели. То, что было у нас разрозненно, П. Н. Берков свел в систему, и в этом его несомненная заслуга.

Здесь некоторые указывали на разрыв, который якобы делает П. Н. Берков между Фонвизиним, Новиковым, Крыловым, с одной стороны, и декабристами, революционерами-демократами — с другой. Я такого разрыва не почувствовал.

П. Н. Берков вскользь коснулся вопроса об античности. Нужно в конце концов сказать об этом более определенно. Интерес к античности в XVIII в. сыграл свою роль в развитии просветительства, и этот вопрос следовало бы осветить более широко.

Необходимо так же серьезно рассмотреть ту борьбу, которая велась за язык, за его демократизацию, за освобождение русского научного языка от латыни и т. д. Процесс этот был сложный и трудный, проходящий через весь XVIII век.

Наконец, нужно над творчеством писателей, которых мы называем просветителями, работать больше, добывая материалы, показывающие всю глубину распространения просветительства в XVIII в. До сих пор мы очень мало внимания обращали на «Разговоры о множестве миров» Фонтенеля в переводе Кантемира, а ведь в свое время это произведение вызвало немалые «потрясения» в психике людей. С книгой Фонтенеля боролись, ее сжигали. Было же за что! С какими волнениями осуществлялось издание этой книги, с какими страданиями удалось добиться ее напечатания. И еще маленькое замечание относительно Кантемира. Ефремов сказал про одно его произведение, что оно потеряно, погибло. Я могу вас, товарищи, обрадовать. В моей библиотеке это произведение имеется.

Г. П. Макогоненко сделал на нашей конференции интересный по содержанию и блестящий по форме доклад. Как совершенно правильно сказал З. И. Гершкович, доклад Г. П. Макогоненко представляет собой плодотворную рабочую гипотезу. Он может служить руководством к действию

для всех тех, кто работает в области русской литературы XVIII в.

Здесь были и выступления критического характера. Что же, это очень хорошо для нас всех, в частности и для Г. П. Макогоненко.

Хочу остановиться на самом докладе. Я слушал и отмечал многое для себя. Г. П. Макогоненко говорил: «Реализм выбрал классицизм и сентиментализм». Вполне согласен с этим, это действительно так. Другой тезис докладчика — «реализм формировался до классицизма и сентиментализма» — меня тоже привлекает; к этому присоединяется и Л. И. Кулакова. Г. П. Макогоненко не просто оперировал понятием «реализм». Он стремился показать разные степени или ступени этого реализма. Он говорил, что «в классицизме тонули и личность писателя, и личность героя», и, конечно, это очень важно для понимания того, что приходилось преодолевать пробивавшему себе дорогу реалистическому началу.

Доклад вызвал горячие споры, однако заметьте, что споры эти касались лишь интерпретации творческих позиций писателей. Самый же принцип, самую постановку проблемы мы все принимаем и говорим лишь о том, как применить их, скажем, к творчеству Державина.

Я хочу поставить вопрос о том, чтобы том «Литературного наследства» был целиком предоставлен для исследований по XVIII в. Ведь прошло 25 лет с тех пор, как вышел специальный выпуск, посвященный проблемам русской литературы XVIII в. Я уверен, что у всех накопилось много материала, относящегося к вопросам, о которых мы ведем сейчас речь.

Со своей стороны я мог бы предложить ряд интересных, на мой взгляд, материалов. Целесообразно было бы, например, опубликовать «Всеобщую придворную грамматику» Д. И. Фонвизина, 1-ю и 2-ю части, по рукописи, хранящейся у меня с водяным знаком 1783 г. Уверен, что публикация в немалой степени прояснила бы вопрос, который до сих пор является предметом споров и дискуссий. Фонвизин написал и третью часть и, судя по списку, который есть у меня, работал над шлифовкой всего сочинения. Первые две части совпадают с опубликованным текстом, хотя есть много стилистических изменений.

Безусловно представили бы интерес и такие имеющиеся в моей библиотеке произведения, как «Поучение иерея Василия», а также единственный, сохранившийся у меня, экземпляр рукописного журнала Львова и его сотоварищей «Труд разумных общников». В Ленинграде раньше был и другой экземпляр, но он, по-видимому, погиб во время блокады Не-

давно в журнале «Филологические записки» мною дано лишь описание этого журнала.

Среди различных материалов у меня имеется одна загадочная вещь, которая не может не взволновать исследователя. Это «Презренный свет» — сатира исключительной остроты. По стилю она весьма оригинальна, а некоторыми мотивами и отдельными частями напоминает Радищева. Безусловно, это произведение написал человек, который Радищева читал и знал. Время написания — самое начало XIX в., судя по филиграням и водяным знакам. Сейчас я не имею возможности вдаваться в подробности — вещь объемистая. Кратко скажу, что это очень злая сатира на «презренный свет», под которым подразумевается высшее дворянское общество. Автор прямо говорит, что он человек «низкого происхождения» и воспитания, что жизнь у него была невыносимо трудная, что вокруг себя он видел злодейство, несправедливость и невежество, утопавшее в роскоши. Он дерзнул выступить против этого, и его довели до крайности. Перед ним встал вопрос: что делать, где искать защиты? Возникает мысль о самоубийстве, но она вызывает новые вопросы: имеет ли он право так поступить, ведь у него жена, дети? Отказавшись от решения покончить с собой, автор снова оказывается перед вопросом о том, может ли он жить, если его человеческое достоинство раздавлено? Все произведение раскрывает человеческую трагедию.

Еще раз повторяю: необходимо, чтобы конференция вынесла решение о предоставлении тома «Литературного наследства» для материалов по XVIII в.





З. И. ГЕРШКОВИЧ

О МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ПРИНЦИПАХ ИЗУЧЕНИЯ РУССКОГО ПРОСВЕТИТЕЛЬСТВА

В свое время Маркс сказал, что ключ к анатомии обезьяны лежит в анатомии человека. Нечто подобное можно сказать применительно к раннему просветительству. Ленинское определение основных черт, присущих просветительству, относится к просветительству в его зрелом состоянии и именно потому оно может служить ключом к исследованию просветительства на ранних этапах его развития. Но как анатомия человека не тождественна анатомии обезьяны, так и просветительство середины XIX в. не тождественно просветительству середины XVIII в. И наша задача — на основе учета конкретного материала истории русской литературы и русской общественной мысли использовать ленинский анализ просветительства как методологический ориентир, как принцип подхода к исследованию этого конкретного материала в его историческом развитии. А это задача творческого характера. Здесь требуется следование духу ленинской мысли.

Не всегда, однако, это соблюдается. В качестве примера сошлюсь на книжку С. А. Покровского «Политические и правовые взгляды С. Е. Десницкого».

Известно, что В. И. Ленин, характеризуя просветителей и беря в качестве примера Скалдина, отчетливо сознавал различия между этим либералом и революционными шестидесятниками. Однако для выяснения существа просветительской идеологии В. И. Ленин правомерно отвлекается от тактических разногласий внутри просветительства, от различий «в тоне», и делает упор на общности «музыки».

В книге С. А. Покровского применительно к деятелям XVIII в. эта четкая ленинская постановка вопроса запутывается. Различия в «тоне» выпячиваются и начинают заслонять общность в «музыке». В результате круг просветителей

XVIII в. искусственно суживается, что несомненно ведет к обеднению русского Просвещения XVIII в., к обмелению этого могучего идеологического потока, представлявшего самое прогрессивное направление русской идейной жизни всего века. Радищев — наиболее яркая фигура русского Просвещения XVIII в. — оказывается изъятый из этого течения на том основании, что он приближается по своей позиции к революционным демократам. А разве В. И. Ленин последних не считал просветителями? Допустим, что С. А. Покровский прав, полагая, будто В. И. Ленин считал просветителями только либералов типа Скалдина. Казалось бы, что в этом случае либерализм не является помехой для зачисления в разряд просветителей. Но вот С. А. Покровский натолкнулся в книге Г. П. Макогоненко о Новикове на имена Коробьина и Поленова, охарактеризованных как просветители. И тут последовало решение более поспешное, чем правильное: Коробьин и Поленов не просветители, потому, что они... либералы! Итак, если революционер — то не просветитель, если не революционер — то тем более не просветитель.

Кто же тогда просветитель? Если следовать формально-логическому принципу дихотомического деления по признаку наличия или отсутствия революционных убеждений, то окажется, что все деятели XVIII в. — либо революционеры, либо не революционеры. Но тогда, согласно схеме С. А. Покровского, и те и другие (т. е. никто!) не являются просветителями. Вопреки логике, С. А. Покровский все же признает существование в XVIII в. просветителей (черт с ней, с логикой, были бы просветители). В частности, Ломоносов признается таковым. На каком основании? На том, что он выступал против крепостного права. А Радищев, отлучаемый от просветительства, не выступал против крепостного права? Если судить по одному этому признаку, то Радищев по сравнению с Ломоносовым стократ просветитель! Я не говорю уже о том, что на совести автора остается сообразовать с истиной свое утверждение о выступлении Ломоносова против крепостного права. Здесь дело уже не в логике, а в фактах. А факты свидетельствуют о том, что хотя Ломоносов (как и Кантемир, как и Татищев) осуждал крайности и жестокости, связанные с крепостным правом, но не выступал против принципа, против самой системы.

Из рассуждений автора можно заключить, что просветитель — это тот, кто левее либерала и правее революционера. Так идеологическая категория подменяется тактической, хотя, как я уже говорил, для В. И. Ленина общность «музыки» важнее различий в «тоне».

Мне, занимающемуся главным образом первой половиной XVIII в., доставило большое удовлетворение то обстоятельство, что и П. Н. Берков, и И. З. Серман без каких-либо колебаний раздвинули хронологические рамки русского Просвещения, включив в него и таких писателей, как Кантемир и Тредиаковский. Мне невольно вспоминается, как примерно около десяти лет тому назад один из наших исследователей, читая в рукописи мою работу о Кантемире, каждый раз ставил вопросительный знак, когда встречал определение или характеристику Кантемира как просветителя. По мнению этого исследователя, начало русского просветительства следовало датировать лишь 60—70-ми годами XVIII в. Теперь большинство сходится на том, что начало это следует отодвинуть к более раннему периоду. Но к какому именно? И вот тут мнения разошлись. П. Н. Берков начинает со второй половины XVII в., причисляя к просветителям Симеона Полоцкого, Кариона Истомина, Сильвестра Медведева и других. Не заходим ли мы в таком случае слишком далеко? Мне кажется, что рубежом здесь служит Петровская эпоха, социальные последствия которой создали почву для возникновения раннего русского просветительства, как идеологии, характеризующейся тем, что В. И. Ленин назвал «духом XVIII в.» и определил как «борьбу с феодальной и поповской силой средневековья».¹

Мне представляется в высшей степени справедливой и плодотворной мысль, высказанная современным немецким исследователем академиком Винтером, о том, что просветительская идеология возникает и развивается как идеологическое отражение тех социально-экономических процессов, которые характеризуют мануфактурный период развития буржуазного уклада и связанный с ним процесс становления наций. Это дает более или менее объективный ориентир для хронологических приурочений границ просветительской идеологии, для определения ее исторического места и социального значения. И во Франции, и в Германии, равно как и в России, этот социально-экономический критерий себя полностью оправдывает. Если считать (и это справедливо), что просветительство есть по своей сути и направленности антифеодальная идеология, то следует здесь учесть не только содержание, но и форму, о чем верно говорил в своем выступлении Г. М. Фридлиндер.

Что касается периодизации русского просветительского движения XVIII в., то предложенная П. Н. Берковым схема

¹ В. И. Ленин, Сочинения, т. 20, стр. 183.

представляется мне весьма плодотворной, за исключением указанной выше оговорки относительно первого периода, охватывающего, по мнению П. Н. Беркова, конец XVII столетия.

Может быть, целесообразно объединить в один период просветительство всей первой половины XVIII в., включая Ломоносова, деятельность которого явилась высшим и наиболее ярким выражением основных идеологических тенденций раннего русского Просвещения.

Конкретно-исторический подход к проблеме просветительства крайне важен и для определения классового характера этого идеологического течения. Когда В. И. Ленин говорит об общепризнанности того факта, что просветители были вожаками буржуазии, ясно, что здесь имеется в виду объективное значение деятельности просветителей.

Некоторых смущает тот факт, что в России просветительское движение, особенно на раннем этапе, было связано преимущественно с деятельностью дворян. Академик Винтер объясняет это отсталостью экономических отношений в России, а равно и в Польше, слабостью и неразвитостью буржуазии в этих странах. В общем это верно, конечно, но дело не только в специфически национальных условиях России, Польши и некоторых других стран, а в общей закономерности. Разве во Франции — классической стране с точки зрения развития просветительства — первое поколение просветителей (Монтескье, Вольтер) не представлено дворянами? А в Англии Шефтсбери, Болингброк и др.? Дело в том, что ранний этап развития просветительского движения, как правило, во всех странах, в том числе и в России, на первых порах был представлен прогрессивными представителями дворянства. Здесь имеет место нечто подобное тому, что наблюдалось и в истории русского революционного движения, главной фигурой которого на первом этапе были революционеры из дворян. Русское просветительство началось раньше русского революционного движения. И от первых русских просветителей до декабризма включительно оно в основном представлено выходцами из дворянского класса. На этом этапе особенно ярко видно, как просветительство из прогрессивного, но не революционного движения переросло в революционное. Объективное содержание его было антифеодальным, т. е. в конечном счете, в исторической перспективе буржуазным, но субъектом этого движения на том этапе в основном были лучшие представители из дворян, хотя уже тогда встречались в нем разночинцы — Тредиаковский, Ломоносов, Поповский.

В этой связи хотелось бы отметить, что выдвинутый Г. П. Макогоненко тезис о просветительстве как идеологической основе становления эстетики реализма требует также конкретно-исторического подхода. Г. П. Макогоненко прав, если иметь в виду просветителей «второго призыва», но раннее просветительство почти во всех случаях связано с классицизмом, и последний эстетически вполне соответствовал целям и задачам, стоявшим перед литературой и искусством этого периода. Идея, выдвинутая Г. П. Макогоненко, может служить неплохой рабочей гипотезой, которая способна объяснить по-новому, и объяснить вернее, чем прежде, некоторые сложные явления русского литературного процесса конца XVIII в. Однако, увлеченный этой идеей, докладчик, на мой взгляд, несколько прямолинейно представляет соотношение идеологических и эстетических категорий. У него явственно проступает стремление совместить просветительство как идеологическое направление с реализмом как художественной категорией. Может быть, поэтому он не касается первой половины века, где просветительство было связано с эстетической теорией и практикой классицизма, а творчество Радищева, очень сложное и противоречивое в художественном отношении, безоговорочно относит к реализму.

Г. П. Макогоненко выступает против того, чтобы механически делить творчество писателей на части, искать в нем «элементы классицизма», «элементы реализма» и т. п. Механический подход, понятно, не может принести пользу при анализе сложных явлений. Но не является ли механицизмом другого толка стремление упростить сложные, противоречивые явления, свести их к какой-либо одной стороне? Что поделаешь, например, с творчеством Державина, в котором разнородность эстетических и стилистических принципов — столь бьющий в глаза факт, что именно эта разнородность составляет его, Державина, характерную черту и специфическую особенность?

Доклады П. Н. Беркова, Г. П. Макогоненко, И. З. Сермана, на мой взгляд, представляют большую ценность и широтой постановки проблемы русского просветительства, и общим стремлением связать идеологический аспект с эстетическим. Превосходно эта связь раскрыта также в докладе Ю. М. Лотмана. Правда, он был в более выгодном положении, чем другие докладчики, поскольку его тема ограничена одним жанром. С этим материалом он справился, по-моему, блестяще, особенно с точки зрения методической. Что касается его взглядов на возникновение русского просветительства, то здесь мы с ним расходимся. Но это особый разговор. Боль-

шой интерес представляет доклад А. В. Предтеченского, предпринявшего нелегкий труд разобраться в сложной эволюции Карамзина. Весьма ценным по обилию материала является и доклад Ф. Я. Шолома о развитии просветительства в украинской литературе XVIII в. Если при этом учесть еще и развернувшуюся дискуссию по названным докладам, то все вместе взятое позволяет прийти к выводу, что настоящая первая всесоюзная конференция по изучению литературы XVIII в. проходит в высшей степени успешно и несомненно принесет всем ее участникам большую пользу.

В заключение позвольте высказать несколько соображений практического свойства.

Это первая конференция, посвященная изучению литературы XVIII в. Может быть, нам сейчас трудно оценить ее значение (ведь «большое видится на расстоянии!»), но я думаю, что значение этой конференции чрезвычайно велико. В течение двух дней мы обсуждали очень важный круг проблем, которые сейчас являются ключевыми для всей истории литературы XVIII в. Не во всем здесь есть согласие, и это естественно вследствие сложности проблемы. Тем не менее проблема просветительства уже перестала быть проблемой в смысле вопроса о том, можно ли ее ставить для XVIII в., и это имеет большое значение для истории русской литературы этого столетия.

Результаты нашей конференции, мне кажется, необходимо закрепить некоторыми организационными предложениями, которые могли бы улучшить постановку дела изучения и преподавания русской литературы XVIII в.

Мне представляется, что уже назрела настоятельная необходимость покончить с кустарничеством в издании классиков вообще и особенно писателей-классиков XVIII в. Нужно перед всеми инстанциями, которые ведают этими делами, поставить вопрос о создании «Библиотеки классиков русской литературы XVIII в.». По литературе XVIII в. мы имеем два академических издания — Ломоносова и Радищева. Я не буду касаться их качества, все же это академические издания. Хсчется надеяться, что если когда-нибудь выйдут издания других писателей, то они будут более совершенными. Но сейчас их только два, а если сравнить это с тем, что имеется в Англии, Германии, Франции в области издания классиков, то это страшно мизерно, это обедняет значение нашей культуры в целом. Вопрос этот имеет громадное политическое значение. Целый пласт русской культуры частично остается за пределами печати. Я уже не говорю о том, что многие вещи не изданы в советские годы, но и то, что издаег-

ся, издается не полно и не на том уровне, на котором должна стоять наша наука. Таким образом, первое предложение сводится к тому, чтобы заняться систематической работой по изданию классиков русской литературы XVIII в.

Второе предложение: просить президиум АН СССР, чтобы хоть один том «Литературного наследства» был выделен для XVIII в. В этом есть большая необходимость, потому что накоплен обширный материал, заслуживающий публикации, а другие издательства в этом отношении не могут пойти нам навстречу. Сама наша конференция дает достаточный повод к тому, чтобы начать большой разговор на страницах печати.





Ю. М. ЛОТМАН

ПРОСВЕТИТЕЛЬСТВО И РЕАЛИЗМ

Изучение просветительства как специфического явления русской общественно-идеологической жизни конца XVIII в., явления, определившего существенные стороны не только политико-философского, но и литературного развития, началось сравнительно недавно. Однако в настоящее время мы имеем уже ряд солидных исследований, которые убеждают, что в дальнейшем невозможно будет никакое историко-литературное построение, игнорирующее также и художественную роль просветительства.

Эта сторона вопроса еще недостаточно учитывается исследователями. Мы продолжаем говорить о классицизме, который был разрушен и сменен романтизмом (выделение первоначальной стадии последнего в предромантизм или сентиментализм дела, по существу, не меняет). Между тем непредвзятому взгляду очевидно, что подобно тому как в Западной Европе классицизм был разрушен до появления первых признаков романтизма такими деятелями, как Дидро, Бомарше, Лессинг, Гердер, Руссо, так и в России ему нанесли сокрушительные удары Фонвизин, Лукин, Державин, Радищев, молодой Крылов, Ф. Эмин, молодой Карамзин. Всякая попытка выделить в творчестве этих писателей на первый план предромантические черты, т. е. поставить их только у истоков романтизма, явно суживает значение их деятельности. Не все из названных писателей возвысились до создания идеологически-целостной системы взглядов. Миропонимание многих из них (яркий пример — Державин) было противоречиво, включало в себя и просветительские и антипросветительские черты, порой эклектически сочетало самые различные тенденции. Это позволяет действительно выделить в их творчестве предромантическую струю, тем более что романтизм, возникнув после просветительства, всегда его учитывал, правда чаще всего негативно.

Однако достаточно определить так называемые предромантические элементы в творчестве Руссо, Гердера или Радищева, чтобы увидеть насколько они не покрывают значения деятельности этих писателей. Причем вне поля зрения исследователя останутся самые существенные, определяющие стороны мировоззрения и художественной практики названных писателей.

В общем, неизбежно упрощенном виде историко-литературное место просветительства XVIII в. следует определить так: именно оно нанесло удары классицизму и сменило его на литературной арене, подобно тому как в области философии основные удары по рационализму были нанесены не субъективными идеалистами конца XVIII — начала XIX в., а просветителями-материалистами. Романтизм явился уже следующим этапом, который проявился как отрицание просветительства. При этом романтизм сделал шаг назад от демократического содержания просветительства в сторону индивидуализма, и в этом его слабость. Сила же романтизма в том, что он первый указал на метафизический, догматический характер мышления просветителей XVIII в., подготовив тем самым эпоху диалектики.

Это выдвигает перед исследователями задачу определения не только общественно-политического, но и конкретно-художественного содержания искусства просветительской эпохи, выявления принципов художественного метода просветителей. При этом надо иметь в виду, что идея личности, которую рассматривают как основную специфическую черту романтизма, появилась уже в сочинениях просветителей. Правда, она не имела того характерно-индивидуалистического оттенка, который приобрела в эпоху романтизма.

Другой важной задачей является уточнение самого понятия «просветительство», более строгое его употребление.

Правильное понимание того, что просветительство сменило классицизм, требует четкого отграничения собственно просветительства от предшествующих ему идеологических явлений, связанных с рационалистической культурой.

В России основные удары по средневековью нанесли не просветители, а их предшественники — борцы за централизованное «регулярное» государство. Начиная с середины XVI в. мы наблюдаем в русской литературе рационалистические тенденции. Идет борьба против церковного догматизма, средневекового засилия церкви в вопросах политики и культуры. Однако деятели этой эпохи борются не против феодального порядка, а только против средневековья, за утверждение дворянского централизованного государства. Просве-

тельство появляется с того момента, когда возникает борьба против феодального общества в целом.

Целесообразно остановиться на употреблении термина «просветитель» в сочинениях классиков марксизма. Это тем более необходимо, что в исследовательской литературе последних лет наметилась тенденция весьма расширительно пользоваться этим термином. Его применяют к деятелям, верившим в разум и отрицательно относившимся к церковной догматике, к сторонникам просвещения народов, энтузиастам научного познания, противникам помещичьих зверств и т. д. Создается угроза утраты этим термином его историко-конкретного содержания.

Многократно обращаясь к истории общественного сознания XVIII в., К. Маркс и Ф. Энгельс неизменно пользовались термином «просветительство» лишь в одном смысле — для характеристики той боевой, буржуазной по своему классовому содержанию идеологии, которая, возникнув в предреволюционную эпоху, явилась непосредственной теоретической основой следующего, уже революционного этапа развития. Просветители могли не быть (и часто не были) революционными деятелями, но теоретически их воззрения подразумевали осуждение всего феодального порядка как неестественного и неразумного и тем самым идеологически подготавливали революцию. В письме Ф. Энгельсу от 25 марта 1868 г. К. Маркс писал о выступлениях «против французской революции и связанного с нею просветительства».¹ Ф. Энгельс в «Развитии социализма от утопии к науке» назвал просветителей «великими людьми», «которые во Франции просвещали головы для приближавшейся революции»;² он говорил, что просветители — «подготовители революции».³

В. И. Ленин, говоря о просветителях, также имел в виду идеологов боевых антифеодальных классов. Ввиду особой важности для нас известной ленинской формулировки приведем ее полностью. В. И. Ленин писал: «По характеру воззрений Скалдина можно назвать буржуа-просветителем. Его взгляды чрезвычайно напоминают взгляды экономистов XVIII века (разумеется, с соответственным преломлением их через призму русских условий), и общий «просветительный» характер «наследства» 60-х годов выражен им достаточно ярко. Как и просветители западно-европейские, как и большинство литературных представителей 60-х годов, Скалдин одушевлен горячей враждой к крепостному праву и *всем его* порожд-

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. XXIV, стр. 34.

² Там же, т. XV, стр. 507.

³ Там же, стр. 510.

дениям в экономической, социальной и юридической области. Это первая характерная черта «просветителя». Вторая характерная черта, общая всем русским просветителям, — горячая защита просвещения, самоуправления, свободы, европейских форм жизни и вообще всесторонней европеизации России. Наконец, третья характерная черта «просветителя» это — отстаивание интересов народных масс, главным образом крестьян (которые еще не были вполне освобождены или только освобождались в эпоху просветителей), искренняя вера в то, что отмена крепостного права и его остатков принесет с собой общее благосостояние, и искреннее желание содействовать этому».⁴

Современному им феодальному обществу просветители противопоставляли человека как высшую ценность. В этом грань, отделяющая их от рационалистов начала XVIII в. Последние считали, что если разумом человек приобщается к высоким идейным ценностям — государственности, патриотизму, долгу, то страстями, своим «естеством» он эгоистичен. Возвышению человека до положительного идеала должно предшествовать длительное воспитание его ума. Поэтому носителем прогресса являются люди «просвещенного разума» — мудрецы и правители. Организующей силой прогресса должно быть государство. Народ — ребенок. Он объект, а не субъект власти, хотя последняя и должна действовать в его интересах.

Для просветителей человеческая личность сама по себе является положительной ценностью. Естественные, в том числе и физические, влечения человека — благо. Мораль основывается на личном благополучии единицы, на разумно понятом эгоизме. Чем удаленнее человек от растлевающего феодального общества, тем он совершеннее. Для того чтобы быть положительным героем, не нужно быть мудрецом — достаточно быть человеком. Счастье человека ценнее любых абстракций, народ выше правительства. Он источник власти, носитель исторического разума.

Необходимо отметить, что далеко не у всех литературных деятелей, в той или иной мере затронутых дыханием просветительства, мы можем обнаружить весь комплекс боевых антифеодальных идей и художественных принципов. Точное определение содержания термина «просветительство» позволит раскрыть богатство сложных взаимодействий этого направления с другими идейно-художественными явлениями эпохи.

⁴ В. И. Ленин, Сочинения, т. 2, стр. 472.

Последний вопрос, на котором мне хотелось бы остановиться, — проблема так называемых «просветительских иллюзий». Выражение это часто используется для определения веры в возможность решения коренных общественных вопросов мирным путем — путем просвещения. Полагаю, что речь должна идти об ином. Иллюзии, ограниченность просветителей заключались в том, что они верили в наступление социальной гармонии после ликвидации феодально-крепостнических порядков. Разрушение сословных перегородок было для них торжеством свободы и равенства. Это не исключает того, что в борьбе за эту «естественную», формально-юридическую свободу просветители могли возлагать надежду (в зависимости от оттенков и исторического момента) и на прогресс сознания, и на революционную силу. В этом смысле революционно настроенным просветителям, например Марату, также не были чужды просветительские иллюзии.

Решение всего многообразия научных вопросов, связанных с изучением просветительства, значительно продвинет вперед и исследование русского историко-литературного процесса в целом.





Л. И. КУЛАКОВА

ПРОСВЕТИТЕЛЬСТВО И ЛИТЕРАТУРНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ XVIII ВЕКА

Значительность, широта и дискуссионность проблем, поставленных на конференции, вызывают естественные раздумья и споры.

Не секрет, что многие ученые, исходя из характеристики, данной В. И. Лениным европейским просветителям XVIII в. и русским просветителям 40—60-х годов XIX в., считают неправомерным применение этого термина к русским деятелям XVIII и начала XIX в. Выдвигается и противоположная точка зрения, согласно которой истоки русского просветительства уходят в XVII в. Такая мысль лежит в основе доклада П. Н. Беркова. При всем интересе, который вызывает доклад, думается, что хронологические грани, периодизация, определение сущности русского просветительства XVIII в. и установление его связей с последующим развитием передовой общественной мысли нуждаются в уточнении. Начало положено. Окончательное решение вопроса едва ли возможно без привлечения к дискуссии широкого круга историков и философов.

Если вслед за П. Н. Берковым мы обратимся к современным словарям, то увидим, что слова «просвещение» и «просветитель», вне которых не может быть раскрыта семантика слова «просветительство», имеют два значения. Так, относительно первого слова мы находим следующее: «*Просвещение* — действие по глаголу просветить-просвещать, образование, обучение; 2. Эпоха (или век) просвещения (истор.) — период развития буржуазной философии и науки в Западной Европе 18 в.» (Ушаков); «Система образовательно-воспитательных мероприятий и учреждений в стране». (БСЭ, изд. 2-е, т. 35); «Марксистская историография понимает под эпохой Просвещения направленное против феодализма идейное

движение молодой прогрессивной буржуазии в период подготовки и проведения буржуазных революций 17—18 вв.» (там же). Второму слову даются такие определения: «*Просветитель*: 1. Распространитель знаний, просвещения; 2. Представитель т. наз. эпохи Просвещения 18 в. и русского просветительства середины 19 в.» (Ушаков).

Сами термины достаточно ясны и нуждаются лишь в уточнении применительно к русской истории. П. Н. Берков проделал большую и плодотворную работу в этом направлении, но, отрывая «просветительство» от «Просвещения», он лишает конкретности понятие «просветитель», а «просветительство» предстает в докладе не как идейное движение определенной эпохи, а как история русской культуры XVII—XVIII вв.

Симеон Полоцкий, Сильвестр Медведев, Карион Истомин могут быть названы «просветителями» лишь в первом значении слова, как люди, внесшие определенный вклад в дело просвещения России. Только так можно говорить и о всех деятелях Петровской эпохи и о большинстве мыслителей 30—50-х годов XVIII в. Просветительство как идейное движение рождается в разных странах в разное время, но лишь в условиях разложения феодально-крепостнической системы. Россия не могла опередить Францию, ибо буржуазные отношения в ней были менее развиты. Если мы будем именовать просветителями всех, кто утверждал значение разума, принимал картезианскую философию, то возникнет вопрос, почему просветителем не называют творца ее, Декарта, и есть ли разница между Декартом, Вольтером, Дидро? Если мы отнесем к просветителям соратников Петра I на том основании, что они были сторонниками абсолютизма, врагами «породы», то не естественно ли вспомнить об Иване Пересветове? Но так можно уйти очень далеко.

Значит ли это, что в России XVIII в. не было просветителей? Нет, не значит. Влияние европейского просветительства заметно в произведениях Кантемира, писателя периода послепетровской реакции. Просветителем в самом широком смысле слова был Ломоносов. Далее начинается эпоха Просвещения, хронологические грани которой очерчены докладчиком верно. Именно в 60-е годы явственно проступают признаки начавшегося разложения феодально-крепостнической системы, которые порождают, с одной стороны, русское просветительство и, с другой, — заигрывание Екатерины II с французскими просветителями, ее политику просвещенного абсолютизма, имевшую целью подавление народного движения и раскол оппозиции. Крестьянская война 1773—1775 гг., с еще большей силой обнаружившая разложение крепостничества, породила

первое явление русского революционного просветительства — «Путешествие из Петербурга в Москву» А. Н. Радищева.

В вопросе о соотношении между просветительством и революционностью также нельзя согласиться с докладчиком. Действительно, русские просветители 60—70-х годов XVIII в. были сторонниками мирных реформ (иногда очень умеренных) в области крепостного права и государственного управления. Но великий мыслитель-революционер А. Н. Радищев оставался просветителем. Был им и Н. Г. Чернышевский, чьи взгляды имел в виду В. И. Ленин, характеризуя русских просветителей 40—60-х годов XIX в.

Понятия «просветитель» и «революционер» не антитезы. Есть лишь различные линии просветительства. «Просветителя» Скалдина В. И. Ленин считал предшественником буржуазного либерализма;¹ Белинский и Чернышевский являлись предшественниками социал-демократии. Просветителями были и болгарский революционер Христо Ботев, и Лу Синь, «кормчий культурной революции в Китае»,² и др.

Имя Радищева завершает русскую эпоху Просвещения, самым великим, ярким представителем которой он был, и начинает историю русского освободительного движения. Значение его деятельности для декабристов советскими исследователями учтено. Менее изучен вопрос о соотношении между декабризмом и русским просветительством XVIII в. в целом и в связи с этим о специфике русского просветительства.

На конференции в меньшей степени сказалась боязнь признания заслуг писателей-дворян, много лет тяготеющая над нашим литературоведением. Однако наряду с указанием на роль Кантемира и Сумарокова подчеркивалась сугубо дворянская ограниченность их взглядов. Это в какой-то степени верно, особенно по отношению к Сумарокову, но все-таки первые веяния европейского просветительства были донесены до России именно Кантемиром. Сумароков — не просветитель, монархист и сторонник крепостного права — знал Монтеスキе и Ламетри, не боялся опереться на авторитет Вольтера, с ненавистью относился к деспотизму и жестоким крепостникам, говорил о природном равенстве людей, противопоставлял работающего крестьянина господину-тунеядцу. И дворянина Сумарокова «разночинец» Тредиаковский уличал в безбожии, следовании «Гоббезию» и Спинозе, чье учение он именовал «уставом сатанинским», «вседостойным огня адского».

¹ В. И. Ленин, Сочинения, т. 34, стр. 9.

² Мао Цзе-дун, Избранные произведения, т. 3, Госполитиздат; М., 1953, стр. 256.

Сегодня не время спорить по поводу оценки отдельных писателей, тем более раннего периода, но сказать о том, что писатели-дворяне не были едины в своих взглядах и что многие из них были прогрессивнее так называемых «третьесословных» писателей, нужно давно. И нужно понять, подготавливали ли русские просветители почву для декабристов, подобно тому как эпоха Просвещения во всех других странах была идеологической подготовкой буржуазных революций.

По словам П. Н. Беркова, просветительство вместе с Радищевым «переросло или по крайней мере перерастало в революционный демократизм». Но революционные демократы — это вожди второго этапа русского освободительного движения, и для них деятели XVIII в. — люди далекого прошлого. Иное дело дворянские революционеры-декабристы, многими нитями связанные с предыдущим столетием. К периоду подъема декабристского движения относится большая часть списков радищевского «Путешествия» и «Вадима Новгородского» Княжнина. Декабристы распространяли «Рассуждение о неперемennых государственных законах» Фонвизина, читали Державина, считали жертвами деспотизма Радищева, Новикова, Княжнина, называли Радищева, Фонвизина, Княжнина в числе писателей, оказавших влияние на их мировоззрение. Представителей «третьесословной» литературы они не вспоминали. Русская нарождающаяся буржуазия была слаба и труслива, что сказалось и на ее идеологах.

В декабризме были различные оттенки. Были они и в русском просветительстве, но ясно только одно, что ведущая роль в нем принадлежала дворянам. Об этом хорошо и верно говорит Г. П. Макогоненко в своих последних работах. Нужно добавить только, что как борьба дворянских революционеров-декабристов объективно была борьбой за замену феодально-крепостнического строя капиталистическим, так и предшествовавшая ей деятельность русских просветителей, подрывая основы самодержавно-крепостнической монархии, объективно смыкалась с буржуазной идеологией. И потому в отличие от игры в «вольтерьянство», которую вела Екатерина II и ее приближенные, русские просветители с действительным интересом и сочувствием относились к идеям французского Просвещения, учились у великих мыслителей Франции, хотя принимали далеко не все, отчасти потому, что их отпугивали материализм и напрашивающиеся из французской философии революционные выводы (Новиков, Десницкий, Фонвизин), отчасти потому, что в отличие от французских просветителей они не являлись прямыми идеологами буржуазии. Чулков, Плавильщиков, несмотря на все их заслуги, не просветители.

Радищев же не мог вслед за Мерсье умиляться добродетелью торговца, скопившего сто тысяч ливров. Угнетенному русскому крестьянству были отданы сердце, жизнь Радищева. Но это уже вопрос бесспорный.

Г. П. Макогоненко осуждает упрощенное представление об историко-литературном процессе как последовательной смене направлений: классицизм-сентиментализм-романтизм-реализм. Действительно, столь размеренно и аккуратно русская литература, как и литература других стран, не развивалась. Классицизм, сформировавшийся в России к концу 40-х годов XVIII в., продолжал жить до конца столетия. Лучшее в нем было учтено поэтами-декабристами. С реакционными защитниками классицизма приходилось бороться даже Белинскому. А в 60—70-е годы XVIII в. вместе с началом разложения феодально-крепостнической системы, обусловившим формирование русского Просвещения, обостряется борьба по вопросу о сатире, разворачивается ожесточенный спор о путях развития национального искусства, зарождается русский сентиментализм. Против него яростно выступает Сумароков, а автор «Россиады» создает «слезные драмы». Защита прав личности, отказ от классических норм прекрасного, от поэтических канонов классицизма определяет творчество ряда представителей русской литературы 70—80-х годов. Задолго до «Бедной Лизы» авторы комических опер доказали, что крестьяне и крестьянки умеют любить. Самое крупное явление дворянского сентиментализма — творчество Карамзина — явилось и последним этапом его. Эпигоны типа Шаликова в счет идти не могут.

Итак, классицизм и сентиментализм с последней трети столетия живут в искусстве одновременно, то борясь между собою, то мирно уживаясь в творчестве одного и того же писателя. Однако, говоря о них, нельзя забывать о процессе борьбы двух культур, о том, что ни классицизм, ни сентиментализм не были однородными, монолитными. Они зависели от времени и от мировоззрения писателя. Об этой азбучной истине иногда забывают. Потому порой всякая борьба против классицизма кажется прогрессивной, потому до сих пор говорят о «школе Сумарокова-Хераскова», потому многим кажется кощунством упоминание о сентиментализме в связи с Радищевым.

Литература последней трети столетия не укладывается в рамки классицизма и сентиментализма; эпоха Просвещения создала свой стиль, и этот стиль — реализм. Такова основная мысль доклада Г. П. Макогоненко. С первой ее частью нельзя не согласиться. Вторая ведет к новой схеме, новому

упрощению. Не говорю о второстепенных явлениях, но игнорирование сатирического направления, отрыв от него Новикова, Фонвизина, Державина, Крылова, замалчивание того, что сатирическое направление, формируясь вместе с классицизмом и живя внутри его, разрушало нормы классической эстетики и подготавливало почву для реализма, — все это ведет к искусственному «выпрямлению» историко-литературного процесса.

Натуральная школа и Гоголь были «результатом всего прошедшего развития нашей литературы и ответом на современные потребности нашего общества», — говорил Белинский, отбивая попытку славянофилов изолировать критический реализм от ранних этапов развития русской литературы и особенно подчеркивая значение сатирического направления. «Литература наша началась не с Гоголя, а между тем именно началась попыткою ввести изображение пошлого в область художества. Вспомните Кантемира. С тех пор (...) литература наша не оставляла вовсе этого направления. В нем блистательно отличился Фонвизин; оно отразилось во многих лучших созданиях Державина».³

«Нельзя сказать (...), чтобы Гоголь не имел предшественников в том направлении содержания, которое называют сатирическим. Оно всегда составляло самую живую, или, лучше сказать, единственно живую, сторону нашей литературы. Не будем делать распространений на эту общепризнанную истину, не будем говорить о Кантемире, Сумарокове, Фонвизине и Крылове, но должны упомянуть о Грибоедове», — писал Чернышевский в «Очерках гоголевского периода русской литературы».⁴

Ни Белинского, ни Чернышевского нельзя заподозрить в том, что они выводили реализм «из недр романтизма» или недооценивали значение «живой жизни» (в чем упрекает докладчик советских исследователей). Но, указывая, что литература является ответом на «современные потребности общества», они не забывали о ее предшествующем развитии.

Преемственная связь между критическим реализмом и сатирическим направлением несомненна. Так, может быть, для последовательности надо говорить о реализме Кантемира? Сумароков мешает? ... А называя первым реалистом Новикова, стоит вдуматься, так ли уж велики различия з

³ В. Г. Белинский, Полное собрание сочинений. т. X, Изд. АН СССР, М., 1956, стр. 243 и 252

⁴ Н. Г. Чернышевский, Полное собрание сочинений, т. III, ГИХЛ, М., 1947, стр. 17.

методах построения художественных образов Критона, Силвана, Луки, Медора и Безрассуда, Мота, Щеголя?

Нет, не «полное пренебрежение к действительно историческим фактам», не боязнь теоретической постановки вопроса и не страсть к «игре в словечки» заставляют советских исследователей говорить о реалистических тенденциях в искусстве. К этому приводит сама русская литература XVIII в.

Как верно указывает докладчик, в России XVIII в. не было создано больших эстетических трактатов. Но нет почти и писателей, которые бы не оставили суждений в области искусства. Изучая эти высказывания одновременно с изучением творчества писателей, можно увидеть неуклонное развитие тенденций, ведущих к реализму. Они развиваются не только в сатирическом направлении, но в первую очередь в нем, ибо вопрос о сатире — это вопрос об объекте искусства, о степени связи его с действительностью.

Представление об искусстве как «подражании природе» сохраняется до конца века; не отказываются от него ни Фонвизин, ни Радищев, ни Карамзин. Различие между направлениями зависело от содержания, которое вкладывалось в эту весьма растяжимую формулу.

Школьные пиитики учили: ради того, чтобы «как в зеркале показывать пример», поэт должен говорить «не о том, что сделано, а о том, что могло быть сделано». Позднее был сформулирован принцип «подражания изящной природе», «подражания природе, но природе украшенной». Подлинно великий художник «умеет исправлять недостатки натуры», — скажет Карамзин. Он же утвердит мысль Муравьева, что только прекрасное может быть объектом искусства. П. А. Чекалевский договорит до конца: искусство «превосходит самое естество, что и называется красотой». (Рассуждение о свободных художествах. СПб., 1792, стр. 136).

Так, грубо говоря, выглядит одна линия развития эстетической мысли XVIII в., все представители которой считали, что сатира не является подлинным искусством (я умышленно не привожу рассуждений правительственного лагеря, требовавшего служения не красоте, а самодержавию, и пр.). И на этом фоне выступает Кантемир с его признанием за писателем прав гражданина — судьи общества, утверждением принципа «голой правды» в искусстве, осмеянием похвальной и идиллической поэзии, уважением к сатире как правдивому зеркалу жизни общества, позволяющему воспитывать людей силой отрицательного примера.

На этих принципах строятся сатиры Кантемира, обличавшие не общечеловеческие пороки, а несвежесть русских дво-

рян, ханжество русских церковников, «твердо сердце» русских судей периода послепетровской реакции. Кантемир, решившийся первым «внести пошлое в область художества», наметил основные объекты осмеяния для всей дорадищевской сатиры. А ведь вместе с тем Кантемир признавал основополагающий для классицизма принцип «подражания образцам», к классицизму вел его метод изображения человека и многое другое.

Открывая дорогу классицизму, Кантемир одновременно подрывал основы его и расчищал пути Фонвизину, Крылову. Такова особенность русской литературы. Обходить ее нельзя, не искажая истины.

Г. П. Макогоненко справедливо указывает, что прошедшая в 1957 г. дискуссия о реализме обнаружила недостаточную теоретическую разработку проблем реализма. Но конкретные положения, выдвигаемые докладчиком, также нечетки. Во-первых, они зачастую характеризуют убеждения просветителей, а не их художественный метод, в то время как люди одних и тех же убеждений могут обращаться к разным методам и направлениям: лучшее доказательство этому — «Думы» Рылеева и «Горе от ума» Грибоедова. Во-вторых, «неповторимость индивидуальности», с таким блеском раскрытая в «Исповеди» и «Вертере», является характерной чертой и сентиментализма и романтизма, так же как «тайна национальности» была открыта уже предромантизмом и романтизмом.

Не вдаваясь в детальную полемику, скажу только, что можно спорить о частностях, но говорить о реализме нельзя до тех пор, пока в произведении нет типических характеров в типических обстоятельствах и сочетания типического и индивидуального. Ни «детали», ни изображение быта, ни «понимание внесловной ценности человека», ни «вера в человека, в его великую роль на земле» не делают еще писателя реалистом, ибо все это можно найти у представителей различных направлений.

Колоссальную роль в развитии реализма сыграло установление французскими просветителями факта влияния среды и обстоятельств на формирование характера человека. Именно это открытие явилось одной из философских основ реалистического искусства. Перенесенное в Россию Радищевым, развитое, обоснованное теоретически и доказанное художественными примерами, оно ложится в основу реалистического метода Радищева и открывает широкий путь дальнейшему развитию реализма. Раньше «Путешествия из Петербурга в Москву» страшное влияние среды показал Фонвизин, что и даст право говорить о «Недоросле» как первой русской реа-

листической комедии. Так ее и называют многие исследователи. Других смущают наличие трех единств, значимость имен, образ Стародума как рупора идей автора, бледность и однолинейность образов Милона, Софьи. Говорить об элементах классицизма в «Недоросле», конечно, можно, но не они определяют новаторство Фонвизина, который впервые в русской литературе изобразил влияние среды на формирование характера, создал первые сценические характеры, первые образы-типы, впервые (и именно в «Недоросле») воспроизвел типичную обстановку дворянской усадьбы. Сочетание обобщения огромной силы с ярко выраженной индивидуализацией сделало имена Простаковой, Митрофана, Кутейкина и другие нарицательными, чего не было и не могло быть с персонажами классической комедии. Все это вместе взятое и есть то новое качество, которое позволяет рассматривать фонвизинский шедевр не как произведение с реалистическими тенденциями, а как первый образец русского реализма.

Я не разделяю пессимизма докладчика по отношению к советским исследователям, но то, что они порой за второстепенным не видят главного, верно не только применительно к «Недорослю». В школах, где у учителя так мало времени, он все-таки сосредоточивает внимание учеников на разборе трех единств и значимости имен в «Горе от ума», соответственно вспоминая о классицизме. Но разве многообразие характера Фамусова сводится к тому, что он болтун и сплетник? Нужно ли было Чацкому несколько лет, чтобы разобраться в фамусовской Москве, которую он давно знал? Нужно ли было переносить место действия, дабы дать возможность Чацкому убедиться в увлечении Софьи Молчалиным? Все это оправдано содержанием, и сосредоточить внимание нужно на том принципиально новом, что несла грибоедовская комедия.

По поводу Радищева у нас с докладчиком давние разногласия. Правда, я никогда не называла Радищева сентименталистом. Я считала и считаю его метод реалистическим в основе своей, но полагаю, что в образе «чувствительного путешественника» отчетливо сказалось влияние сентиментализма, который имеет основу и в философских воззрениях Радищева.

Надо заметить также, что источник многих споров — неустойчивость терминологии, разное осмысление ее исследователями русской и западно-европейской литератур. Если согласиться с тем, что «Побочный сын», «Отец семейства», «Памела» — реалистические произведения, то «Путешествие из Петербурга в Москву» — несомненно более высокая стадия реализма. Соответственно, признав существование «античного», «просветительского» и прочих реализмов, можно отыс-

кивать признаки «просветительского» реализма в России. Только думаю, что это неверно.

При всех условиях творчество Державина отнести к реализму невозможно. Он представитель сатирического направления, но сатирическое направление не синоним реализма, а поэзия Державина не исчерпывается обличительными одами. В его творчестве есть оды, где обнаруживаются и ломоносовские традиции, и чуждый им, но характерный для предромантической поэзии автобиографизм, и религиозность, и почти языческое преклонение перед материальной природой, которую он воспроизвел с потрясающей силой истинного художника, и постижение «тайны национальности», и голая риторика, и гениально-смелое введение в поэзию «низкого» и многое другое. Прекрасное творчество Державина необычайно сложно и еще более противоречиво, чем его мировоззрение. Но от этого оно не становится «великолепной развалиной». Оно вобрало в себя опыт предыдущего развития русской поэзии, как вбирает мощный поток различные ручьи. Отнести его к классицизму, романтизму, «просветительскому» реализму — значит сказать только часть правды, что уже является ложью. У Державина учился молодой Жуковский, и без Державина едва ли могли родиться в начале XIX в. стихи Дениса Давыдова. Державин был нужен Рылееву, и отзвуки его поэзии слышатся у Тютчева. Творчество Державина помогло сформироваться Пушкину, и в нем находил пример «словотворчества» Языков. На рубеже XX в. о нем вспомнили бесконечно далекие от реализма символисты и акмеисты.

Надо признать истину: творчество Державина — наилучшее доказательство того, что в литературе XVIII в. многообразие жизни и ее противоречия находили отражение в многообразии направлений, то борющихся, то сочетающихся в творчестве одного и того же писателя. В этом отличие ее от литературы XIX в., литературы победившего реализма.





Г. П. МАКОГОНЕНКО

К ИСТОРИИ РУССКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ И РЕАЛИЗМА XVIII ВЕКА

Буржуазное Просвещение, сложившееся на Западе в 40—50-е годы XVIII в., было последовательным выражением антифеодальной идеологии. Самоотверженно отстаивая свободу человека, Просвещение оказывало решительное и обновляющее влияние на все области общественной жизни, в том числе на искусство и литературу.

Советская историко-литературная наука доказала, что важнейшей особенностью развития русской общественной мысли XVIII в. было формирование просветительской идеологии. Естественно, возникают в этой связи многие существенные, не решенные до сих пор вопросы. Оказывало ли русское Просвещение влияние на эстетические взгляды писателей, действовавших во второй половине века? Помогала ли освободительная философия преодолевать сословный взгляд на человека, выработанный феодальной идеологией и усвоенный искусством дворянского классицизма? Поднимала ли передовая идеология эпохи писателей на новую, более высокую эстетическую ступень, помогала ли в выработке нового художественного метода познания и изображения действительности, способствовала ли рождению новых художественных открытий, которые определяли бы дальнейшее развитие русской литературы? Все эти вопросы, как сказано, еще не нашли в науке своего разрешения.

Какова картина эстетического развития русской литературы XVIII в., рисуемая нашей сегодняшней наукой? Она определяется схемой: сначала был классицизм, потом он был разрушен и вытеснен сентиментализмом. Об этом говорится и в книге Г. Гуковского «Очерки по истории русской литературы и общественной мысли XVIII в.», вышедшей в 1938 г., и в «Истории русской литературы» Д. Благого, изданной в

1951 г., и в отдельных монографических работах самого последнего времени. С 30—50-х годов XVIII в., пишет Д. Д. Благой, начинает развиваться русский классицизм. Он становится господствующим литературным направлением века. Но примерно с 60—70-х годов «начинает складываться новое литературное направление — дворянский сентиментализм, — идущее на смену классицизму, который оттесняется не только извне (...), но и расшатывается изнутри».¹

Схема взята на вооружение нашей наукой. При изучении наследия того или иного писателя исследователи часто не стремятся выяснить реальный характер идейно-эстетического содержания его творчества, но ограничивают свою задачу определением, к какому одному из двух направлений он принадлежит, подбирая для того нужные доказательства или «улики». Оттого, как правило, при характеристике писателей-просветителей проблема соотношения идеологического и эстетического не ставится. Определив убеждения того или иного писателя как просветительские, исследователи зачисляют одного в классики, другого — в сентименталисты.

Существующая схема игнорирует реальные художественные явления, мешает понять действительное богатство литературы, превратно толкует процесс литературного развития.

Смысл моей постановки вопроса сводится, в сущности, к простым вещам: раз мы все признаем существование в России идеологии Просвещения и устанавливаем, что крупнейшие писатели второй половины века — Фонвизин, Новиков, Радищев и Крылов — были просветителями, то мы не можем отмахнуться от проблемы — какое влияние оказали просветительские убеждения на эстетические взгляды и художественную практику хотя бы названных писателей. Я и предлагаю заняться этой проблемой, поставленной перед наукой самой жизнью.

Чтобы начать обсуждение, я сформулировал некоторые положения, которые, как мне кажется, не давая бесспорных и категорических решений, могут послужить основой дискуссии. Моя точка зрения сводится к следующему.

Борясь за раскрепощение личности от феодальной неволи, Просвещение не могло не использовать искусство как могучее оружие критики существующего неразумного строя, как средство воспитания нового идеала жизни. Вот почему и во Франции, и в Германии была объявлена жестокая война классицизму. В спорах и полемике рождалась враждебная

¹ Д. Д. Благой. История русской литературы XVIII в. Учпедгиз, М., 1951, стр. 680.

классицизму эстетическая теория, появлялись художественные произведения, открывавшие новые возможности искусства.

Но ниспровержение классицизма диктовалось и другими, органическими, внутренними причинами. Просвещение как идеология, выражающая не только буржуазные идеи, но в конечном счете интересы широких народных масс, принесло новый взгляд на человека, обстоятельства его жизни, место личности в обществе. Соответственно изменились и содержание и формы искусства. Отличное от классицизма искусство Просвещения провозгласило доверие к реальной действительности, к живой жизни, исполненной противоречий и страстей, к жизни людей всех сословий, реабилитировало то, что объявлялось классицизмом низким и недостойным искусства, героизировало простого человека и его объективное, «натуральное» чувство.

Каково же содержание эстетической системы искусства Просвещения? — Определение принципов, формирование важнейших особенностей, отстаивание реалистического метода. Советское литературоведение убедительно показало, что зарождение основ реалистического искусства, создание теории реализма осуществлено просветителями в XVIII в. С наибольшей четкостью это сделано усилиями Дидро и Лессинга.

Нет нужды оговаривать, что свойственная просветительской идеологии ограниченность сказалась на непоследовательности развивавшейся в XVIII в. теории реализма.

Но при всей непоследовательности и противоречивости просветительской идеологии, порождавшей противоречивость художественной практики писателей-просветителей, совершенно ясно, что именно Просвещение в XVIII в. определило демократизацию искусства, открыло новую возможность изображения человека и объективных обстоятельств его жизни и что этот новый метод был реализмом. Реализм, окончательно победивший в XIX в. и вобравший в себя достижения классицизма и романтизма, начинает свою новую жизнь именно здесь, в просветительской литературе XVIII в. И не потому вдохновленное Просвещением искусство называется реализмом, что будто есть необходимость все хорошее в искусстве вообще и в классицизме в частности называть этим именем. Дело в другом. Развернувшееся антифеодальное движение народных масс породило идеологию, которая открыла человечеству многие истины, ранее ему неизвестные. В свете открытий в области философии, и социологии, и естествознания стала ясной и очевидной недостаточность эстетического мето-

да классицизма. Начал складываться новый художественный метод, отвечающий потребностям жизни. И при всех своих противоречиях, исторической ограниченности и непоследовательности именно этот метод, провозглашенный просветительской литературой XVIII в., в последующем обогащенный историческим, социальным и эстетическим опытом человечества, лег в основу реалистического искусства XIX в. На материале литературы Запада, как я уже сказал, эта проблема принципиально решена. Нам, историкам русской литературы XVIII в., эту проблему также надо поставить и решить.

Понимание внесловной ценности человека, раскрепощение чувств и разума, вера в человека, в его великую роль на земле, раскрытие внутреннего мира личности и объективного бытия человека во всем могуществе и красоте его неповторимой индивидуальности, выдвижение патриотической и гражданской деятельности как единственного пути к самоутверждению личности, живущей в самодержавно-феодальном обществе, — вот что составляет первую особенность художественного метода русского Просвещения.

Просветителями выдвинуто великое учение о связи человека с условиями жизни, о формировании средой характера, поступков и морали человека. Перед литературой встали новые задачи подробного, достоверного, научно точного изображения нравов, раскрытия связи человека с обстоятельствами его жизни. Признавая равенство всех людей, просветители увидели разность социальных условий их существования. Появилось понятие определенной, конкретной среды. Характер перестал строиться по заданной теме, он как бы извлекался из обстоятельств, обуславливавших весь его нравственный мир, он рождался на глазах читателя и зрителя. Среда объясняла человека, характер раскрывал закономерности среды.

Установление причинной связи между средой и человеком с наибольшей философской глубиной раскрыто в сочинениях Гельвеция и Гольбаха, в работах по эстетике таких теоретиков, как Лессинг и Дидро. К сожалению, в художественной практике писатели-просветители были менее последовательны. Иногда раскрывалась не столько сама зависимость человека от обстоятельств, сколько ставилась проблема воспитания. Искусственное изменение условий жизни позволяло демонстрировать способность героя приспособляться к новым обстоятельствам, приобретать новые навыки и убеждения («Робинзон Крузо»). Но открытие просветителей, менявшее эстетический кодекс литературы, сделано ими в XVIII в., и с этой поры начинается новый этап в развитии реализма.

Своеобразие русских исторических и социальных обстоятельств определило критический пафос литературы. Критика социальной практики дворянства издавна обостряла внимание писателей к условиям жизни обличаемых. Писатели-просветители углубили эту традицию, обогатили ее учением о зависимости убеждений человека от условий его социального и общественного бытия. Естественным следствием освоения просветительского учения о связи человека и среды явилось широкое изображение в литературе помещичьего и крестьянского быта, картин нравов русской жизни. Это мы видим у большинства писателей второй половины XVIII в. Правда, нередко подобные картины быта — дань времени, не больше. Потому они лишь соседствовали с героями, а не пересекались с ними и не определяли их природу. Но в лучших произведениях Фонвизина и Новикова, Державина и Радищева мы видим принципиально новые характеры, которые обусловлены обстоятельствами их жизни. Таковы, например, Бригадирша, Простакова, Еремеевна, Митрофан в комедиях Фонвизина или герои его «Путешествия мнимого глухого и немого». У Радищева — это герои «Путешествия из Петербурга в Москву», Ушаков и его друзья в повести «Житие Ф. В. Ушакова», у Новикова — это родители Фалалея в «Письмах к Фалалею» и т. д.

Установление обусловленности характера человека условиями его бытия, показ того, как крепостное право и паразитический образ жизни разрушают и губят личность, «расчеловечивают» человека, открытие возможности для человека восстать против порабащивающих его законов среды и в борьбе восстановить себя как личность — вот что составляет вторую особенность художественного метода русского Просвещения.

Герои литературы классицизма и сентиментализма лишены национальной определенности. «Тайна национальности» человека будет полностью раскрыта позже, реалистической литературой XIX в. Умение увидеть в человеке не просто человека, но еще и француза, или немца, или русского зависит не от индивидуальных способностей или степени даровитости и таланта писателя. «Тайна национальности» обусловлена временем, определенным историческим уровнем жизни народов. Путь образования нации — сложный и для каждого народа индивидуальный. В конце XVIII и начале XIX в. процесс образования наций в европейских странах завершился и проблема национальной обусловленности человека, его взглядов, манеры понимать вещи и излагать свои мысли стала ясной и очевидной. Для XVII и XVIII вв. проблема

национального характера еще не была поставлена жизнью в порядок дня.

Возможность раскрытия национальной обусловленности человека связана и с определенным художественным методом. Классицизм конструировал характеры по нормам разума. Сентименталисты занялись раскрытием и реабилитацией того, что отвергал и осуждал классицизм, — чувства. Разуму было противопоставлено сердце, миру отвлеченной разумности — мир внутренней жизни, исполненной противоречивых, порой испепеляющих страстей. В обоих случаях разум и чувства принадлежали не конкретной, индивидуально неповторимой личности, но человеку вообще.

Просветители в центре своего искусства поставили именно эту конкретную, индивидуально неповторимую личность, обусловленную в своих чувствах и мыслях обстоятельствами своего бытия. Новый художественный метод требовал показа обусловленности характера. Просветители увидели обусловленность человека средой, общественными, политическими, социальными обстоятельствами. Но эти обстоятельства имели еще одну грань — национальное существование. Человек живет не в безвоздушном пространстве, а в определенной стране, живет среди определенной национальности. Какова же национальная особенность народа и какие черты национального характера нашли свое отражение в данной конкретной личности? Ответ на этот вопрос может дать только реализм. Сама природа нового художественного метода уже предопределяет возможность раскрытия «тайны национальности». Так оно позже и произошло. Просветительский же реализм Франции и Германии в силу определенных исторических условий национальную обусловленность еще не показал.

Классицизм — антииндивидуалистическое искусство. Не видя в человеке личности, эстетический кодекс классицизма растворял и личность самого писателя в общей идее отвлеченной разумности. Сумароков — автор строго определенных жанров — развивал строго регламентированные идеи, как они начертаны в дворянском кодексе чести, который определен опять-таки чистым разумом. Потому художественный метод классицизма исключал влияние личности писателя на создаваемые ценности. Оттого писатель классицизма, лишившийся правилами нормативной поэтики индивидуальности, не осознавал себя и национально обусловленной личностью, национальным характером.

Сентиментализм сделал своим героем именно личность. Но, раскрывая ее внутренний мир, сентиментализм не показал связей своего героя с условиями бытия вообще, нацио-

нального существования в частности. Один герой отличался от другого степенью и интенсивностью переживаний. «Человек, — утверждали сентименталисты, — велик своим чувством». Индивидуальность писателя проявлялась в том же, в чем проявлялась индивидуальность его героев — в богатстве чувств. Сложность душевного мира, накал страстей, наконец, степень возможной искренности — вот те черты индивидуальности писателя, активно определявшие дух и форму создаваемых им произведений.

Иначе вставал вопрос о писательской индивидуальности в литературе русского Просвещения. Утверждая объективное бытие своего героя, писатели-просветители осознавали объективность и собственного существования, как конкретной, определенной личности. Эта личность была обусловлена обстоятельствами общественной борьбы России и исторического бытия подымающейся нации. Сумароков всегда помнил, что он дворянин. Карамзин любил подчеркивать, что он прежде всего человек, гражданин мира. «Все *национальное* ничто перед *человеческим*, — писал он. — Главное дело быть *людьми*, а не славянами».² Новиков, Фонвизин, Державин, Радищев и Крылов всегда и прежде всего сознавали себя русскими. Национальная определенность сказывалась, естественно, прежде и полнее всего в личности писателя. И эта «тайна национальности», писательской индивидуальности, проявляясь в творчестве, изменила внутренний облик всей художественной структуры произведения. Она определила не только природу создаваемых характеров, но и особенность писательского взгляда на вещи, его склада ума, стиль повествования, язык и способ выражения.

Раскрывшаяся возможность показа национальной обусловленности характера, первые шаги в художественном выявлении «тайны национальности», умение показать русскую природу — таковы главные черты третьей особенности художественного метода просветителей.

В своем внутреннем единстве указанные три черты характеризуют новый художественный метод как реализм. Конкретные обстоятельства исторического развития России, своеобразие общественной борьбы обусловили рождение русского реализма на основе просветительской идеологии во второй половине XVIII в.

Но воздействие освободительной идеологии на искусство было и более широким и более разнообразным. Учение о ра-

² Н. М. Карамзин. Письма русского путешественника, ч. V. М., 1801, стр. 139.

венстве людей, философия, научившая ценить в человеке его личность, а не сословную принадлежность, раскрывавшая величие и богатства мира души и жизни сердца, подготавливали также рождение искусства сентиментализма. Между реализмом XVIII в. и сентиментализмом много общего. Оба литературных направления, противостоя классицизму, способствовали демократизации литературы. И сентиментализм и реализм провозглашали внесословную ценность человека, воспитывали в нем достоинство и уважение к своим силам и способностям, к своему чувству, помогая тем самым дискредитации феодальной идеологии, унижавшей человека, подготавливая людей к пониманию свободы.

Были между двумя направлениями и существенные различия, определявшиеся различным методом изображения человека. Реализм, раскрывая личность, связывал ее с окружающим миром, показывал зависимость и обусловленность ее характера и нравственного кодекса обстоятельствами бытия. Сентиментализм, превознося человека, погружал читателя в мир нравственной жизни, изолировал человека от жизни, обстоятельств, быта.

Особенности сентиментализма связаны с двойственностью идеологии Просвещения. Просветители проповедовали революционные идеи, оставаясь сами сторонниками мирных реформ. Эта двойственность просветительской идеологии проистекала из буржуазной природы Просвещения. Рассматривая творчество Вольтера, Руссо и Дидро, Плеханов писал: «Не будучи сторонниками революционного способа действий, они пугались приближавшегося взрыва, а не приветствовали его. Они от всей души предпочли бы мирную реформу насильственной революции. Это мирное настроение проповедников революционных идей ярко отразилось как в литературе, так и в искусстве. Буржуазная драма, в образах выражавшая стремления третьего сословия, совсем не знает боевых мотивов».³

Человек сентиментализма, противопоставляя имущественному богатству богатство индивидуальности и внутреннего мира, богатству кармана — богатство чувства, был лишен боевого духа. Герой европейского сентиментализма не протестант, он беглец из реального мира. В жестокой феодальной действительности он жертва. Но у себя в очаге, в своем уединении он велик, ибо, как утверждал Руссо, «человек велик своим чувством». Поэтому герой сентиментализма не просто свободный человек и духовно богатая личность, но это еще

³ Г. Плеханов. Сочинения, т. XXII, Госиздат, М.—Л., 1925, стр. 21.

частный человек, бегущий из враждебного ему мира, не желающий бороться за свою действительную свободу в обществе, пребывающий в своем уединении и наслаждающийся своим неповторимым «Я». Этот индивидуализм французского сентиментализма являлся прогрессивным в пору борьбы с феодализмом. Но в этом индивидуализме, в этом равнодушии к судьбе других людей, в сосредоточении всего внимания на себе и полном отсутствии боевого духа уже отчетливо проступает эгоизм, который расцветет пышным цветом сразу после революции.

Именно эти-то черты европейского сентиментализма позволили русскому дворянству заимствовать и перенять его философию. Развивая лишь слабые стороны этого идеологического движения, лишь то, что ограничивало его революционность, дворянские писатели в конкретно-исторических русских условиях (эпоха реакции после поражения крестьянской войны 1773—1775 гг.) превращали сентиментализм в оружие борьбы с передовой демократической и революционной идеологией. Этим и объясняется развитие и становление в России сентиментализма во второй половине 70-х и в 80-х годах XVIII в. на базе масонства. Именно в эти годы шла работа по идейному перевооружению дворянства, сменявшего идеологию классицизма на идеологию сентиментализма. Херасков, Муравьев, Кутузов, Петров, Львов — первые представители русского дворянского сентиментализма. В 90-е годы сентиментализм окажется господствующим направлением в дворянской литературе. Во главе школы станет Карамзин, ученик Хераскова и Муравьева. Мнение Добролюбова, что характерной чертой сентиментализма является «самодовольное спокойствие человека, не думающего о счастье других», точно передает общественную консервативность этого направления.

Следовательно, говоря о влиянии просветительской идеологии на эстетическое развитие в XVIII в., нельзя все сводить к реализму. Как видим, из того же источника вытекало и другое направление. Но разве эта действительная сложность идейного и эстетического развития в литературе XVIII в. мешает нам понять интересующую нас проблему: как возникал в это же время реализм?

Фонвизин сумел создать новый тип реалистической комедии, преодолев то противоречие, которое он видел в драматургических произведениях, написанных «во вкусе дидеротовом». Он не привносил готовую сюжетную схему в комедию, и обнаружив конфликт в общественно-социальных отношениях крепостнической России, положил его в основание «Недоросля».

В «Недоросле» поэтому завязывают действие не условная и традиционная в драматургии классицизма любовная интрига, не семейные перипетии в испытании добродетели, характерные для «серьезной комедии» и «мещанской трагедии», а противоречие социальной жизни, наблюденное Фонвизиным. Гоголь прямо указал на то, что новый сюжет «Недоросля» помог драматургу вскрыть глубоко и проникновенно важнейшие стороны социального бытия России, «раны и болезни нашего общества, тяжелые злоупотребления внутренние, которые беспощадной силой иронии выставлены в очевидности потрясающей».⁴

«Недоросль» связан с «Бригадиром» и в то же время во многом от него отличается. В обеих комедиях действие происходит в доме провинциальных помещиков, отношения большинства героев определяются их семейным родством. В «Недоросле» так же отчетливо, достоверно, зримо передан быт семьи Простаковых. Но при этом Фонвизин уже отказывается от традиционной ремарки: «Театр представляет комнату...» и т. д. И это не случайно. Изменились задача художника и способ раскрытия характера. Конфликт, на котором строит Фонвизин «Недоросль», втягивает в большие события всех героев. Раскрытые, как и персонажи «Бригадира», в своей социальной обусловленности, герои «Недоросля» в силу нового конфликта начинают жить двойной жизнью, действие как бы выносится из помещичьего дома, семьи, частного бытия на простор жизни всеобщей. И тогда развивающиеся в доме события становятся отражением конфликтов и бедственных условий жизни в стране. Такой показ человека мог быть осуществлен только благодаря новому художественному методу.

В «Недоросле» Фонвизин уже не ограничивается бытовой характеристикой своих героев, не замыкается в семейных отношениях, умея за семьей увидеть Россию, за точно выписанным интерьером помещичьего дома — экстерьер человеческой судьбы в обществе. Индивидуальные особенности характера каждого из членов семьи Простаковых оказываются связанными с определенной социальной системой, которая существует при поддержке двора. Так естественно и закономерно разговор о поведении семьи Простаковых оборачивается осуждением правительства и монарха: осуждение жестокости Простаковой приводит к выводу, что угнетать рабством себе подобных не следует. Здесь же, в частном доме, в миниа-

⁴ Н. В. Гоголь, Полное собрание сочинений, т. VIII, Изд. АН СССР, М.—Л., 1952, стр. 393.

тюре разыгрывается та идейная борьба, которая проходила в дворянской среде между лучшими людьми господствующего сословия, стоявшими на просветительских позициях, и помещиками-рабовладельцами. Все это делало «Недоросль» новаторским произведением. Гоголь, автор «Ревизора», внимательно изучавший предшествующую литературу и чутко улавливавший близкие ему традиции, увидел это близкое в том, что сделали до него авторы «Горя от ума» и «Недоросля». Одобряя изгнание Фонвизиним и Грибоедовым из своих комедий любовной интриги и семейной проблематики, Гоголь писал: «Содержание, взятое в интригу, не завязано плотно, ни мастерски развязано. Кажется, сами комики о нем не много заботились, видя сквозь него другое, высшее содержание и соображая с ним выходы и уходы лиц своих».

«Высшее содержание» и было тем новым, что внес Фонвизин в реалистическую комедию, изменив ее природу. И опять же Гоголь дал точное и лаконичное определение новаторского характера комедий Фонвизина и Грибоедова: «Их можно назвать истинно общественными комедиями, и подобного выражения, сколько мне кажется, не принимала еще комедия ни у одного из народов».⁵

При этом развитие «высшего содержания» не приводило к отказу от комического начала. «Недоросль» — смешная, исполненная истинной веселости, обличительная комедия. Но то был смех карающий, смех, убивающий трусость и подлость, моральную низость дел и помыслов, ничтожество, преступность и призрачность жизни Простаковых и Скотининых. Творчество Фонвизина — высшее художественное достижение русского Просвещения, его «Недоросль» с наибольшей ясностью и убедительностью свидетельствует о зарождении и торжестве во второй половине XVIII в. реалистической комедии.

Как же воспринят мой доклад участниками конференции?

Выступавшие признали закономерным и своевременным саму постановку вопроса о влиянии просветительской идеологии на литературные направления XVIII в., соглашались с выводами или спорили с отдельными положениями доклада. Каждому ясно, что споры не только естественны, но и необходимы: что-то было мною не договорено, что-то сформулировано либо не очень удачно, либо не очень убедительно, либо без учета всей сложности литературного развития. Поставленная проблема может быть решена только коллективными усилиями, только в деловом заинтересованном обсуждении

⁵ Там же, стр. 400.

То, что мы будем спорить, хорошо. Но при этом необходимо, чтобы спор шел по существу, чтобы один вопрос не подменялся другим, чтобы в споре предлагались решения проблемы, а не высказывались парадоксы.

В этой связи мне хотелось бы остановиться на выступлении Л. И. Кулаковой. Она так формулирует основное содержание моего доклада: «Литература последней трети столетия не укладывается в рамки классицизма и сентиментализма; эпоха Просвещения создала свой стиль, и этот стиль — реализм». Каково же отношение ее к этим положениям? Половинчатое. «С первой частью ее (мысли, — Г. М.) нельзя не согласиться. Вторая ведет к новой схеме, новому упрощению». В чем же видит Л. И. Кулакова «упрощение» вопроса? В том, что, по ее мнению, следует говорить не о реализме, а о существовании в литературе XVIII в., помимо классицизма и сентиментализма, «сатирического направления». Это направление, оказывается, «живя внутри» классицизма, «разрушало нормы классической эстетики и подготавливало почву для реализма». Такова, по Кулаковой, не упрощенная, далекая от схемы, концепция историко-литературного развития. Разберемся же в ней.

Итак, оказывается, был не один, а два классицизма. Один классицизм как литературное направление в чистом, так сказать, виде, а другой классицизм — как «сатирическое направление», которое его разрушало. Что это значит? Ведь Л. И. Кулакова отлично знает, что классицизм как метод и как литературное направление не отрицал сатиры, критического отношения к действительности. Существование сатирических жанров в принципе не разрушало классицизм. Активный интерес к сатире, развитие сатирических жанров, художественные достижения в области критического изображения жизни в басне, комедии, сатире — все это составляет своеобразие русского классицизма, не более.

Утверждение Л. И. Кулаковой обедняет русский классицизм и снимает с обсуждения вопрос о том, что определяет рождение реализма. Ее выступление вновь возвращает нас к давним временам, когда доказывалось, что реализм зарождается в недрах классицизма на основе сатирического отношения к действительности. Но как же можно сатирическое отношение подменять понятием художественного метода? Зачем играть в словечки? Ведь ясно же, что не было никакого особого направления в литературе, в таком его понимании, как мы понимаем направления классицизма и сентиментализма, романтизма и реализма. Когда мы говорим об этих направлениях, то подразумеваем, что разных художников

каждого направления объединяло единство художественного метода. Я уже сказал, что классицизм как метод предполагал и обосновывал в том числе и сатирическое отношение к действительности. Сатирическое отношение мы наблюдаем и у писателей-реалистов, и у писателей-романтиков — вспомним «К временщику» Рылеева. Разве сатира Рылеева разрушала романтизм и рождала реализм?

Для подкрепления своей позиции Л. И. Кулакова приводит цитаты из Белинского и Чернышевского, которые говорили, что своеобразием русской литературы — от Кантемира до Гоголя — было ее стремление сатирически изображать жизнь. Что ж, правильно говорили. Только они никогда не рассматривали сатиру как источник реализма, никогда не доказывали, что реализм рождался из сатирического отношения к действительности, как это пытается изобразить Л. И. Кулакова. Мысль Белинского и Чернышевского ясна: закрепить и углубить в современной им литературе характерную для русских писателей традицию сатирического, обличительного отношения к «гнусной расейской действительности».

С помощью новых ссылок на Белинского и Чернышевского, утверждавших, что Гоголю были близки сатирические произведения Кантемира и Фонвизина, Сумарокова и Крылова, Л. И. Кулакова делает теоретический вывод: «Преемственная связь между критическим реализмом и сатирическим направлением несомненна». Но эта связь видна и без цитат из Белинского и Чернышевского, она действительно несомненна, и кто ее отрицает? Только странно, почему Л. И. Кулакова говорит о связи лишь с «сатирическим направлением»? Разве реализм не наследует также достижения романтизма и классицизма в целом? По Кулаковой же получается, что реализм наследует только басни Сумарокова и сатиры Кантемира. Значит, опыт Сумарокова-драматурга, и прежде всего трагика, прошел бесследно для русской литературы? Значит, Пушкину-реалисту ни к чему был эстетический опыт Ломоносова, как известно не принадлежавшего к сатирическому направлению?

Подмена вопроса, нежелание прямо заниматься существом проблемы, теоретически обосновывать свою позицию при решении важной задачи — выяснить, в чем же проявилось влияние просветительской идеологии на эстетическое развитие в XVIII в., приводят к путанице, к натяжкам, к новым схемам. Спора не получилось.

Высказывания подобного рода, к сожалению, вовсе не случайны — это позиция. Она наглядно прсвляется в оценке

Л. И. Кулаковой «Недоросля» Фонвизина. Решительно опровергнув мои соображения о том, что просветительская идеология способствовала рождению реалистического метода, в частности реалистического метода у Фонвизина, Кулакова заявляет, что в XVIII в. реализма не было, а было только «критическое направление», из которого родился, уже в XIX в., реализм. Л. И. Кулакова говорит: «Не вдаваясь в детальную полемику, скажу только, что можно спорить о частностях, но говорить о реализме нельзя до тех пор, пока в произведениях нет типических характеров в типических обстоятельствах и сочетания типического и индивидуального».

Как видим, позиция, казалось бы, ясная — в XVIII в. реализма быть не могло. Но, оказывается, с той же самой позиции можно сделать противоположное заключение. Переходя к «Недорослю» и «Путешествию из Петербурга в Москву», Л. И. Кулакова говорит: «Колоссальную роль в развитии реализма сыграло установление французскими просветителями факта влияния среды и обстоятельств на формирование характера человека. Именно это открытие явилось одной из философских основ реалистического искусства». Что это такое? Чем же это утверждение отличается от высказанного мною положения, так решительно отвергнутого Л. И. Кулаковой? Но не будем задавать вопросов и послушаем Л. И. Кулакову дальше. Не будем удивляться, когда услышим и такое: «Перенесенное в Россию Радищевым, развитое, обоснованное теоретически и доказанное художественными примерами, оно (открытие французских философов о влиянии среды на характер, — Г. М.) ложится в основу реалистического метода Радищева и открывает широкий путь к дальнейшему развитию реализма. Раньше „Путешествия“ страшное влияние среды показал Фонвизин, что и дает право говорить о „Недоросле“, как первой русской реалистической комедии». Далее подробно обосновывается мысль о том, что «Недоросль» — реалистическая комедия. Наконец, формулируется окончательный вывод: «Все это вместе взятое и есть то новое качество, которое позволяет рассматривать фонвизинский шедевр не как произведение с реалистическими тенденциями, а как первый образец русского реализма».

Но ведь именно это я утверждал в докладе. Спорит, со мной или соглашается Л. И. Кулакова? Опровергает мои аргументы или укрепляет их своими соображениями? Выяснить эти волнующие вопросы невозможно. Невозможно потому, что эти утверждения носят парадоксальный характер. Парадокс первый: реализма в литературе XVIII в. нет, а было «критическое направление». Парадокс второй: «Путешествие

из Петербурга в Москву» и «Недоросль» — это реалистические произведения, это начало русского реализма. Заключает эти суждения парадокс третий: существование реалистических произведений и формирование реалистического метода авторами «Недоросля» и «Путешествия» равным счетом ничего не означает, потому что все это происходит «от неустойчивости терминологии». «Соответственно, признав существование «античного», «просветительского» и прочих реализмов, можно отыскать признаки «просветительского» реализма» в России. Только думаю, что это неверно». Таков общий и окончательный вывод. Такова логика Л. И. Кулаковой, когда она отстаивает свою «не упрощенную» концепцию эстетического развития в XVIII в.

В заключение несколько слов по поводу замечаний оппонентов, отказывающихся признать рождение реализма в просветительской литературе XVIII в. Уточняя свою мысль, я говорил, что в конкретно-исторических условиях второй половины XVIII в., когда в России развернулась антифеодалная борьба, идеологами которой были просветители, и зародился реализм. Поскольку он возник на просветительской основе, я назвал его просветительским. Мне это нужно было для того, чтобы подчеркнуть, что были иные, особые обстоятельства, которые привели к зарождению реализма Шекспира и Сервантеса. С другой стороны, я указывал, что реализм Пушкина более зрелый, чем фонвизинский и радищевский. Мои оппоненты поняли эти мои формулировки по-своему, иронически спрашивая: сколько же было реализмов? И не является ли такое обилие реализмов хорошим аргументом против их существования вообще?

Отвечаю на вопрос. Прибавление разных прилагательных к термину «реализм» объясняется недостаточной изученностью истории реализма. Пренебрежение к теоретической постановке вопроса мешает понять, что реализм, раз возникнув, не окостеневает, не превращается в сумму приемов, но живет своей жизнью, развивается, находится в движении под влиянием различных идеологических и социальных обстоятельств, проходит через многие этапы, обогащаясь и совершенствуясь, и, следовательно, от юности приходит к зрелости и мудрости. Но реализм даже в своем начальном, младенческом периоде не перестает быть реализмом, хотя ему еще и не присуща зрелость реализма Пушкина. Реализм не рождается сразу зрелым, как родилась Афродита из пены морской, во всей своей сияющей красоте.

Сторонники той точки зрения, что русский реализм начинает свою историю с Пушкина, полагают, будто «Борис Году-

нов» и «Евгений Онегин» это младенческая стадия реализма. Нет нужды доказывать как наивно подобное представление. Разве можно отрицать, что реализм «Медного всадника» и «Капитанской дочки» приобрел новые черты по сравнению с «Борисом Годуновым», стал более зрелым, богатым? Разве лермонтовский реализм это не новая ступень в его развитии? Разве Тургенев, Достоевский, Толстой просто переняли наследие Пушкина и Гоголя, а сами не прокладывали новых путей, не подняли реализм на новую, более высокую по сравнению с Пушкиным высоту?

Реализм, раз возникнув, развивается, все время обогащается и меняется, и притом остается реализмом. Реализм один, но всегда следует помнить не просто о реализме, а и о его конкретно-исторической стадии. Возникнув в XVIII в., пройдя славный путь, он где-то в начале XX в. исчерпывает себя, и, как известно, уже Чехов, по словам Горького, начнет «убивать реализм». Вот почему, относя к начальному этапу русского реализма XVIII в. реализм Фонвизина и Радищева, Державина и Крылова, я назвал его для удобства и ясности «просветительским», поскольку его возникновение связано с освободительной идеологией. Другого значения этому прилагательному я не придавал.

Цель моего доклада не в окончательном решении, а в постановке проблемы, в привлечении научной общественности к ее тщательному обсуждению. Я могу в чем-то ошибаться, но я ясно понимаю необходимость исторического подхода к явлениям литературы, теоретической разработке проблемы возникновения реализма и доверия к живому опыту литературы. Подобное рассмотрение проблемы несомненно принесет успех.

Как бы подводя итог писательским оценкам и характеристикам художественного метода Фонвизина, Горький в своих лекциях по русской литературе писал: «Самым видным и интересным представителем ее (екатерининской, — Г. М.) эпохи для русской литературы последующего периода является основоположник реализма Фонвизин».⁶ Это мнение Горького было устойчивым. В докладе на Первом съезде писателей, говоря о развитии русского реализма, он так определил его этапы: «линия критического реализма — Фонвизин, Грибоедов, Гоголь и т. д., до Чехова, Бунина».⁷

Антиисторично все лучшее в искусстве и литературе прошлых лет объявлять реализмом. Но антиисторично и выводить

⁶ М. Горький. История русской литературы. Гослитиздат, М., 1939, стр. 36.

⁷ М. Горький, Собрание сочинений в 30 томах, т. 27, Гослитиздат, М., стр. 311.

русский реализм из «недр романтизма», приурочивать его рождение к 20-м, а то и к 40—60 годам XIX в. Реализм не есть результат саморазвития замкнутого эстетического ряда: классицизм подготовил сентиментализм, сентиментализм — романтизм, а романтизм — реализм. Реализм сформировала история. Он родился в недрах живой жизни, где бушевала борьба за освобождение человека, где вырабатывался новый взгляд на человека и общество, где рождалось новое объяснение мира. Факты свидетельствуют, что реализм сформировался как художественный метод до романтизма и сентиментализма. Творчество Шекспира и Сервантеса тому прекрасное доказательство. Выяснение основ просветительской эстетики в русской литературе XVIII в. поможет нам понять шекспировский путь развития реализма. Сделать мы это можем только сообща, только в осторожном и критическом подходе и к материалу, и к выводам.





**МАТЕРИАЛЫ ЮБИЛЕЙНОГО ЗАСЕДАНИЯ,
посвященного 250-летию со дня рождения
А. Д. КАНТЕМИРА**

П. Н. БЕРКОВ

**ПЕРВЫЕ ГОДЫ ЛИТЕРАТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АНТИОХА КАНТЕМИРА (1726—1729)**

Несмотря на то что литературное и общественное значение деятельности А. Д. Кантемира давно уже получило широкое и прочное историко-литературное и общественное признание, научное изучение его жизни и творчества, по существу, началось только в самое последнее время.

Достаточно указать на то, что почти сто лет, с 1867—1868 гг. до появления в серии «Библиотека поэта» «Собрания стихотворений» Кантемира, подготовленного З. И. Гершковичем, и читатели, и исследователи-литературоведы пользовались одним и тем же изданием сочинений сатирика, основанным на очень небольшом количестве списков его произведений, недостаточно тщательным в текстологическом отношении и мало удовлетворительным со стороны комментариев.¹

Казалось бы, при большом интересе к жизни и творчеству первого русского сатирика в советской науке можно было ожидать полного или почти полного изучения его биографии и литературной деятельности, что уже теперь позволило бы создать крупную, обобщающую монографию о Кантемире, подобно тому, как это стало реальностью в отношении Ломо-

¹ Сочинения, письма и избранные переводы князя Антиоха Дмитриевича Кантемира. С портретом автора, со статьей о Кантемире и с примечаниями В. Я. Стоюнина. (Редакция изд. П. А. Ефремова). Т. I. Сатиры, мелкие стихотворения и переводы в стихах. СПб., изд. И. И. Глазунова, 1867. СХІІІ, 560, 50 стр.; т. II. Сочинения и переводы в прозе, политические депеши и письма. СПб., 1868, 5 встум., 462 стр.

носова, Новикова, Фонвизина, Радищева. Однако, к сожалению, это далеко не так.

Прежде всего мы еще довольно плохо знаем рукописную традицию Кантемира. Как известно, его оригинальные литературные произведения при жизни автора не печатались, и автографы его произведений не сохранились. Они дошли до нас в большом количестве списков, как современных поэту, так и более поздних. Один из авторитетнейших знатоков вопроса З. И. Гершкович утверждает, что «сатиры Кантемира разошлись по стране в сотнях списков».² Возможно, что это так и было, и даже наверно так и было. Однако до сих пор у нас нет не только сколько-нибудь полного перечня существующих списков произведений Кантемира, но даже хотя бы простой сводки того, что по этому вопросу известно в печати. А как можно изучать творчество автора, в особенности такого, произведения которого при жизни распространялись только в рукописном виде, не приведя в известность всего, что до нас от него дошло? А то, что сохранилось, до сих пор обследовано совершенно неудовлетворительно. Мы не можем ответить на самые существенные вопросы текстологии Кантемира. Например, и П. А. Ефремов и З. И. Гершкович в основу своих изданий положили один и тот же список произведений Кантемира (прежде хранившийся в Библиотеке АН, ныне находящийся в Институте русской литературы (Пушкинский Дом), шифр: Р. П, от. I, № 132). Список этот представляет копию с якобы «подлинной рукописи сатир и мелких стихотворений Кантемира» и был сделан в 1755 г. «при Академии наук».³ До сих пор не было сделано попыток отыскать эту «подлинную рукопись» или хотя бы определить, нет ли среди дошедших до нас списков каких-либо других копий с той же «подлинной рукописи», чтобы с их помощью попытаться устранить сомнительные чтения «академического списка 1755 г.».

Мы довольствуемся рукописными копиями сочинений Кантемира, не делая попыток отыскать экземпляры, принадлежавшие ему лично, находившиеся в его библиотеке и после его смерти, возможно, купленные вместе с другими русскими его книгами правительством Елизаветы Петровны. Проф. В. Н. Александренко в брошюре «К биографии князя А. Д. Кантемира» поместил краткие сведения о судьбе биб-

² З. И. Гершкович. От составителя. В кн.: Антиох Кантемир, Собрание стихотворений, Библиотека поэта, Большая серия, изд. «Сов. писатель», Л., 1956 стр. 431.

³ П. А. Ефремов. Несколько слов об издании. В кн.: Сочинения, письма и избранные переводы... Кантемира, т. I, стр. VI.

лиотеки сатирика, представляющие живейший интерес для изучения текстов его произведений. Приведем полностью эти несколько строк: «§ 5. Библиотека князя Кантемира. Для составления описи библиотеки Гросс (секретарь нашего посольства в Париже и душеприказчик Кантемира, — П. Б.) призвал двух парижских книгопродавцев и при их помощи вся библиотека покойного князя была оценена и описана. «Только манускрипты, по большей части русские и сочиненные князем, они оценить не могли»⁴ (по-видимому, последняя фраза в кавычках — цитата из документа, — П. Б.). Вся библиотека князя Кантемира, состоявшая из 847 названий, оценена была в 6562 фр. ливра, причем по сделанной в Париже оценке книги русские, латинские и греческие, всего 207 названий (в 300 томах), были куплены русским правительством».⁵

В конце своей брошюры (стр. 15—46) В. Н. Александренко приложил опись библиотеки Кантемира; пользоваться ею нелегко, так как записи либо были сделаны малограмотно, либо воспроизведены без внимательной корректуры (см., например: № 344 — Spernulli вместо Bernulli; № 312 — Eulertii вместо Eulerii; № 658 — Duglossii вместо Dlugossii; № 723 — La Mezore de Voltaire вместо Мероре, и т. д.); иногда имело место и то и другое.⁶

Все же эта опись имеет первостепенное значение для изучения литературных и научных интересов Кантемира. Оставляя се анализ до другого случая, мы отметим, что здесь в числе других указаны: № 62 — История Юстина, в переводе Кантемира, рукопись; № 63 — Сатиры и другие стихотворения его, ркп. в 4°; № 64 — Послания Горация, перевод Кантемира, ркп. в 4°; № 65 — Анакреон, перевод Кантемира, ркп. в 4°; № 617 — Русско-французский словарь, составленный Кантемиром, в лист, 3 тома; № 719 — рукопись алгебры,

⁴ За свои труды книгопродавцы получили от Гросса по 2 луидора. (Прим. В. Н. Александренко).

⁵ В. Н. Александренко. К биографии князя А. Д. Кантемира. Варшава, 1896, стр. 13—14. Может возникнуть мысль, что Г. Гросс, душеприказчик Кантемира, нарушил завещание своего начальника (которое, кстати, сам он, Гросс, и писал): свою библиотеку поэт завещал брату Матвею и детям брата Сергея (Завещание Кантемира. В кн.: Сочинения, письма и избранные переводы... Кантемира, т. II, стр. 353). В Архиве Ленинградского отделения Института истории АН СССР сохранилась копия письма душеприказчиков князьям Кантемирам (1745) по поводу завещанной библиотеки (Путеводитель по архиву Ленинградского отделения Института истории. Изд. АН СССР, М.—Л., 1958, стр. 283). Вероятно, наследники отказались от этого дара.

⁶ Подлинник этой описи, по указанию В. Н. Александренко, хранится в Московском архиве Министерства иностранных дел (во французских делах, связка 68).

сочинение Кантемира; № 720 — рукопись Епиктета, перевод Кантемира.⁷

Если принять во внимание указания В. Н. Александренко о том, что русское правительство купило книги русские, латинские и греческие по сделанной парижскими книгопродавцами оценке, то выходит, что рукописи Кантемира, как неоцененные, куплены не были. Это отчасти подтверждается также подсчетом (приблизительным) русских, латинских и греческих книг, находившихся в описи: вместе с рукописями Кантемира их насчитывается 221, без рукописей — несколько больше 210, т. е. примерно столько, сколько было куплено. Однако можно не сомневаться, что рукописи Кантемира представляли в глазах Гросса ценность и были либо отправлены в Россию, либо сохранены у самого Гросса, либо отданы французским друзьям поэта. Во всех случаях их надо искать.

З. И. Гершкович установил, что для истории рукописной традиции сатир Кантемира особо важное значение имеет «уникальный список» (БАН, ф. 1, оп. I, № 22), содержащий только одну сатиру, текст которой несомненно предшествует по времени так называемой «первоначальной» редакции и притом существенно отличается от последней.⁸ Поскольку это список, а не оригинал, постольку мы вправе предполагать, что безусловно должны были быть еще и другие списки того же текста, тем более для нас важного, что он, по-видимому, отражал самый ранний этап работы автора над своим произведением и представлял текст, который вызвал стихотворные отклики Феофана Прокоповича и Феофила Кролика. Следовательно, необходимо тщательнейшим образом проверить, не имеется ли среди наличествующих списков сатир Кантемира еще каких-либо копий «допервоначальной» редакции.

Далее, в результате разысканий З. И. Гершковича установлено, что «между „первоначальной” (1731) и окончательной (1743) редакциями были еще две „посредствующие” редакции сатир <...>, первая датируется октябрем-ноябрем 1740 г., вторая — началом 1742 г.»⁹ Опять-таки, при наличии «сотен списков» сатир Кантемира, при его исключительной прижизненной и посмертной популярности трудно предположить, что обе «посредствующие» редакции, обнаруженные З. И. Гершковичем, с одной стороны, восходят (одновременно!) к одной и той же, так называемой Курбатовской руко-

⁷ Список кантемировского перевода Епиктета, до сих пор не опубликованный, хранится у проф. А. В. Кокорева (Москва).

⁸ Ан т и о х К а н т е м и р, Собрание стихотворений, стр. 502. К сожалению, З. И. Гершкович до сих пор не опубликовал этого списка.

⁹ Там же, стр. 502.

писи¹⁰ и, с другой, засвидетельствованы только ею. Хотя авторская скромность Кантемира достаточно известна, однако не менее известно, что он придавал большое значение распространению своих сатир и произведений вообще, несколько раз пытался получить разрешение на их напечатание, но в результате отказов вынужден был довольствоваться размножением их в рукописном виде. Поэтому можно с уверенностью утверждать, что внимательное изучение всех дошедших до нас списков произведений Кантемира может в дальнейшем обнаружить и другие копии «посредствующих» редакций и тем самым прояснить многое в истории текста как сатир, так и других стихотворных и прозаических сочинений Кантемира.

Следовательно, одна из первых задач изучения творчества Кантемира — задача археографическая и текстологическая. Прежде всего необходимо составить по возможности исчерпывающий каталог сохранившихся списков с точным обозначением местонахождения и происхождения каждого. При этом нужно привлечь и западные (европейские и американские) рукописные хранилища, так как несомненно, что списки сатир Кантемира не целиком отправлялись им в Россию, но отдавались кое-кому и за границей. Кроме того, за границу они могли попасть и позднее. Существенно также — для представления о действительной степени популярности Кантемира в XVIII в. — составление перечня утраченных списков его сатир и других произведений.¹¹

¹⁰ Там же, стр. 502 и 469—470.

¹¹ Так, список сатир Кантемира был в библиотеке проф. Т. Баузе, сгоревшей в 1812 г. (В. Н. Карзин. Каталог славяно-русским книгам, погибшим в 1812 г. Проф. Баузе. Чтения в императорском Обществе истории и древностей российских, 1862, ч. II, отд 5, Смесь, стр. 52. № 89—«Сатира кн А. Кантемира») Еще один список был в собрании П. Ф. Симсона (Описание рукописей, принадлежащих П. Ф. Симсону. Тверь, Изд. Тверской ученой архивной комиссии, 1902, стр. 149—150). В связи с вопросом о недошедших до нас списках и оригиналах произведений Кантемира обращает на себя внимание следующее место в повести Герцена «Кто виноват?»: «В одном из таких домов жила графиня Мавра Ильинишна. Некогда она кружилась в вихре аристократии, была кокетка, хороша собой, была при дворе, любезничала с Кантемиром и он писал ей в альбом силлабическим размером мадригал, „сиречь виршную хвалебницу“, в которой один стих оканчивался словами „богиня Минерва“, а другой рифмующий стих — словами „толь протерва“ (<...>» (А. И. Герцен, Собрание сочинений в тридцати томах, т. IV, Изд. АН СССР, М., 1955, стр. 20). Являются ли эти строки полностью выдумкой Герцена (слово «протерва» по-латыни «бесстыдная»), или в основе их лежит что-то реальное, предстоит выяснить. Конечно, графиня Мавра Ильинишна, жившая в 1830-х годах в Москве, никак не могла, как бы престарела она ни была, «любезничать с Кантемиром», покинувшим Россию в 1731 г., это, конечно, явный анахронизм, но, возможно, что отголосок чего-то, действительно виденного Герценом в старинном альбоме, в данном отрывке все же есть.

По возможности полный учет всех известных списков произведений Кантемира позволит изучить «рукописное предание» его текстов с большей определенностью и либо подтвердит гипотезу З. И. Гершковича о наличии пяти или по меньшей мере четырех редакций сатир — «допервоначальной» (для I и II сатир, а возможно, и для III, см. ниже), «первоначальной», двух «посредствующих» и окончательной, либо внесет в нее поправку, либо, наконец, полностью опровергнет ее. Во всяком случае мы должны признать, что сейчас наши кантемироведы пользуются слишком небольшим числом списков и поэтому их текстологические выводы не могут претендовать на полную убедительность.¹²

Из сказанного ясно, что в области текстологии Кантемира предстоит еще очень большая работа; все же и сейчас уже возможны и необходимы некоторые разыскания историко-литературного характера, которые позволят уточнить наши представления о его творческом пути. Одним из таких требующих решения вопросов является анализ так называемых мелких стихотворений Кантемира. В советском литературоведении, как, впрочем, и в дореволюционную эпоху, внимание исследователей привлекали только его сатиры. Все прочие стихотворения, за исключением, пожалуй, эпической поэмы «Петрида», либо рассматривались как факты биографии («Устами ты обязал меня и рукою», «Erosos consolatoria» и т. д.), либо вообще замалчивались. Далее, издатели Кантемира, а за ними и исследователи его творчества слишком доверчиво относились и относятся к указанным сатириком датировкам его произведений. В результате всего этого у нас нет хронологически ясной картины развития творчества Кан-

¹² Перечень рукописей, которые были привлечены к работе Т. М. Глаголевой, см. в ее «Материалах для полного собрания сочинений И. А. Д. Кантемира» (СПб., 1906, стр. 3; или: Известия Отделения русского языка и словесности, т. XI, 1906, кн. I, стр. 179). З. И. Гершкович перечисляет использованные им для «Собрания стихотворений» Кантемира рукописи, преимущественно для текста «первоначальной» редакции, в количестве около 15 (Антиох Кантемир, Собрание стихотворений, стр. 503 и 433); все они хранятся в Ленинграде. Укажу известные мне московские рукописи: ГИМ, №№ 639, 2029, 2655; ГИМ ОПИ, № 383/29, 1618, 1622, 2297; Библиотека им. В. И. Ленина, собр. Тихонравова, №№ 103 и 505; собр. Ундольского, № 902; собр. Пискарева, № 204; собр. Буслаева, № 2; ЦГАДА (см. по указателю имен в «Путеводителе» 1946 г.). Ср. также: К. Емельянов. Новый список произведений Кантемира. Архивное дело, 1941, № 2, стр. 91—92 (о рукописи, 1754 г. из собрания проф. Тверской семинарии Прохора Богданова). О списках произведений Кантемира, обнаруженных в советское время, см. в печатающейся ниже библиографии о Кантемире, составленной В. П. Степановым и П. Н. Берковым.

темира, в особенности в начальный период его литературной деятельности.

Литературный путь Кантемира с наибольшей полнотой и попытками точных датировок был представлен Ф. Я. Приймай в вводной статье о сатире к «Собранию стихотворений». Здесь указывается, что с 1725 г. начинаются его переводы;¹³ к 1726 г. относится работа над «Симфонией на Псалтирь», а к 1726—1728 гг. — сочинение стихотворений, вернее песен, на любовную тему;¹⁴ «к этому же периоду, — продолжает Ф. Я. Прийма, — следует отнести и работу А. Кантемира над переводом на русский язык четырех сатир Буало и написание оригинальных стихотворений „О жизни спокойной“ и „На Зоила“ (. . .). С 1729 г. начинается период творческой зрелости поэта, когда он вполне сознательно сосредоточивает свое внимание почти исключительно на сатире».¹⁵

С этой концепцией, за исключением отдельных мелких оговорок, соглашаются и другие авторы, писавшие о Кантемире в советское время. Нам кажется, что в эту хронологическую схему следует внести некоторые уточнения.

Прежде чем обратиться к последним, необходимо напомнить, что в научном обороте имеется очень мало биографических источников, из которых можно представить себе самые ранние годы литературной деятельности Кантемира. Между тем именно они могут прояснить если и не многое, то по крайней мере кое-что. Поэтому всякий новый источник, который говорит нам о юношеских годах сатирика, приобретает большое значение. К числу таких существенно важных документов относится «Дневник Петра Даниловича Апостола», охватывающий время со второй половины 1725 г. по начало 1727 г. В этом «Дневнике» есть ряд упоминаний об А. Д. Кантемире, представляющих для нас бесспорный интерес.

¹³ Ф. Я. Прийма. Антиох Дмитриевич Кантемир. В кн.: Антиох Кантемир, Собрание стихотворений, стр. 8—9. Кстати, здесь говорится о раннем переводе Кантемира «Господина философа Константина Манассиса Синопсис историческая», датированном 1725 г., со ссылкой на рукопись Государственной Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина (Q. IV. 25). Ср. также статью А. Попова «Заметка о первых литературных упражнениях кн. А. Д. Кантемира» (Чтения в императорском Обществе истории и древностей российских», 1878, кн. III, стр. 11—14 особой пагинации), где приведены сведения о данном переводе Кантемира (с точной датой: 24 июня 1725 г.) и воспроизведением предисловия. Еще один список этого перевода Кантемира хранится в рукописном отделе Библиотеки Академии наук СССР (Ленинград). См.: Исторический очерк и обзор фондов рукописного отдела Библиотеки Академии наук, вып. II. XIX—XX вв. Изв. АН СССР, М.—Л., 1958, стр. 137.

¹⁴ Ф. Я. Прийма. Антиох Дмитриевич Кантемир, стр. 9.

¹⁵ Там же, стр. 40.

П. Д. Апостол (начало XVIII в.—1758) был вторым сыном гетмана Д. Апостола.¹⁶ В соответствии с политическими воззрениями той поры П. Д. Апостол был взят в Петербург в качестве заложника, чтобы в определенном смысле связать руки Д. Апостола, считавшегося не слишком надежным из-за прошлых связей с И. С. Мазепой и из-за недовольства действиями русских военных на Украине. Воспитывался он в Петербурге, по не вполне достоверным источникам — в доме А. Д. Меньшикова. Нам неизвестно, когда, где и от кого приобрел Петр Апостол хорошее знание французского языка; возможно, что в Петербурге. Во всяком случае дневник его писан по-французски, на страницах его часты записи вроде следующих: «Извлеч следующие места из комедии *Les filles egrangtes*» (11 июля 1725 г.), «Места, извлеченные из комедии *Deux Arlequins*» (24 июля 1725 г.) и т. д.¹⁷ Из «Дневника» явствует, что П. Апостол очень интересовался книгами на французском, латинском и итальянском языках, выписывал французские и немецкие и покупал русские газеты.

В «Дневнике» с ноября 1725 г. находятся сведения о встречах автора с «молдавскими» (иногда с «волошскими», что одно и то же) князьями, т. е. с Кантемирами. Часто П. Апостол обедает у Кантемиров, изредка приглашает их к себе, еще чаще они встречаются у «М-г Mathieu»; по-видимому, под этим именем фигурирует старший брат А. Кантемира, Матвей, отстраненный отцом от наследования. Так, в записи 7 декабря 1725 г. указано: «Послал молдавскому князю словарь де-Поме»;¹⁸ в записи 28 декабря 1725 г. отмечено, что на обеде у молдавских князей присутствовала их сестра, т. е. М. Д. Кантемир. На следующий день, 29 декабря 1725 г., П. Апостол заносит в свой дневник: «Я отправился к отцу

¹⁶ В. Л. Модзалевский. Малороссийский родословник, т. I. А—Д. Киев, 1908, стр. 7—8.

¹⁷ «Дневник» П. Д. Апостола в переводе на русский язык был напечатан в «Киевской старине» (1895, т. I, июль—август, стр. 100—155). Выписки из французских комедий в «Киевской старине» опущены. Оригинал рукописи хранится в Библиотеке Киевского университета (№ 79). Переводы проверены по микрофильму, любезно предоставленному мне д-ром Г. Грасхофом, которому приношу благодарность.

¹⁸ Франсуа Помей (Pomey François) (1618—1673), французский филолог, автор многократно издававшегося «*Dictionnaire français et latin*» (Lyon, 1664). Возможно, однако, что речь идет о более популярном французско-латинском словаре того же автора — «*Indiculus Universalis, ou l'Univers en abrégé*» («Маленький всеобщий указатель, или Вселенная в сокращенном виде») (Lyon, 1667); это словарики, содержащий наиболее употребительные в разговоре слова, которые расположены не в алфавитном порядке, а по темам (так называемый «Целларий»). Словарь Помея П. Апостол незадолго до этого купил в Петербурге у некоего Армашенки за 4 р. 68 коп. (см. запись 29 октября 1725 г.).

Кондоиди с князем Антиохом». П. Апостол упоминает какого-то француза Ушара, с которым был знаком и А. Кантемир. В частности, 13 декабря 1725 г. украинский знакомец Кантемира отмечает в своем дневнике, что был у некоего Алепли, у которого находились молдавский князь, вероятно А. Кантемир, и Ушар. Кто этот Алепли, упоминаемый и дальше, нам неизвестно, но, очевидно, это одно и то же лицо с Алиплесом, с каким-то служащим Д. Кантемира; об этом Алиплее упоминает И. Ю. Ильинский, секретарь Д. Кантемира, в своем «Журнале»: «1721, 22 июля: Алиплея бив за караул посадили»; «24 ноября. Алиплей приехал с ведомостью <...>. Родивон с Алиплеем к князичи посланы».¹⁹

Можно не сомневаться в том, что знакомство П. Апостола с А. Кантемиром не ограничивалось только пирами у молдавских князей, за один из которых автор дневника получил «страшный нагоняй» от отца (запись 21 ноября 1725 г.), и обедами в ресторанах. По-видимому, вопросы литературы и современности также привлекали внимание молодых друзей. В кратких записях П. Апостола это, как и многое другое, не получило отражения, но предполагать подобную тематику в их беседах дают основание записи о посылке словаря Помея, о посещении торжественного открытия Академии наук (запись 27 декабря 1725 г.), о визите с А. Кантемиром к А. Кондоиди, прежнему воспитателю сатирика, и т. д. Трудно допустить, чтобы события, отмеченные П. Апостолом в дневнике, — казнь двух человек, из которых один выдавал себя за царевича Алексея (22 ноября 1725 г.),²⁰ покупка газет, брак герцога Голштинского и проповедь (8 и 20 декабря 1725 г.), отлучение от церкви автора пасквиля (17 июля 1726 г.) и др., — не находили отклика в дружеских разговорах А. Кантемира и его украинского знакомого.

Следует пожалеть, что дневниковые записи Апостола столь лаконичны и хронологически ограничены. Как раз в эти годы в Петербурге происходили важные общественно-политические события, которые не могли не привлечь внимание умных, образованных, с живым характером юношей. Эти события были связаны прежде всего с вызывающим поведением Меншикова, с его заигрыванием с реакционерами, с вопросами

¹⁹ Л. Н. Майков. Материалы для биографии кн. А. Д. Кантемира С введением и примечаниями проф. В. Н. Александренко. СПб., 1903, стр. 297 и 300.

²⁰ Ср.: С. Лашкевич. Историческое замечание о смертной казни самозванца Александра Семикова, выдававшего себя за царевича Алексея Петровича. Чтения в императорском Обществе истории и древностей российских, 1860, т. I, стр. 141—146.

престолонаследия, с усилением церковной реакции, вообще с борьбой против петровского направления и т. д. Следует особенно подчеркнуть, что в дневнике П. Апостола часто указывается, как он то с отцом, то один посещал Феофана Прокоповича, который принимал их «очень любезно» (запись 31 октября 1725 г.), приглашал к обеду (13 мая 1726 г.). Трудно допустить, что молодые друзья не говорили между собой о Феофане Прокоповиче.

Следовательно, они едва ли симпатизировали реакции, как церковной, так и политической.

Из «Дневника» П. Апостола известно о его близких отношениях к Меньшикову, который несколько раз поручал ему переводы политических бумаг. Опять-таки нельзя допустить, что при посещениях молдавских князей П. Апостол не вел с ними разговоров на темы, связанные с Меньшиковым, от которого зависела судьба Д. и П. Апостолов, их пребывание в Петербурге и т. д.

Таким образом, «Дневник» П. Апостола при всей его неполноте, краткости и, возможно, умышленной лаконичности все же помогает воссоздать обстановку, в которой проходила юность А. Кантемира. Это как раз те годы, когда началась его литературная деятельность, сперва как переводчика прозаических произведений и составителя «Симфонии на Псалтирь», а затем и как переводчика французской сатирической поэзии.

Мы знаем даты литературных трудов Кантемира 1725 и 1726 гг., предполагаем, что переводы сатир Буало относятся к 1729 г. А чем был он занят в области литературы в 1727—1728 гг.?

Нам кажется вполне возможным, что именно к этому времени, к 1726—1727 гг., относятся первые опыты Кантемира в области эпиграмматического творчества. Предположение это как будто идет в разрез с указанием самого сатирика, который в окончательной редакции своих произведений (1743) утверждал, что из девяти эпиграмм, включенных им в подготовленный к печати сборник стихотворений, все писаны в Москве в 1730 г., кроме двух — «На Леандра, любителя часов» и «На гордость нового дворянина».²¹

Утверждение это относится к 1743 г., т. е. отдалено от времени написания эпиграмм, даже если принять дату 1730 г., тринадцатью годами, — сроком, вполне достаточным для того,

²¹ Антиох Кантемир, Собрание стихотворений, стр. 235. В Курбатовской рукописи, как указывает З. И. Гершкович, Кантемир писал: «Трудно точно означить время сочинения сих эпиграмм, но то известно, что все писаны в Москве после первой и второй сатиры, и то в разные случаи» (там же, стр. 470)

чтобы успеть забыть точные факты. Так, например, «хроностическая эпиграмма на коронацию Петра II», состоявшуюся 25 февраля 1728 г., могла быть написана только к этому моменту, иначе она теряла всякий смысл, и уж никак не могла быть сочинена ни в начале 1730 г., когда Петр II был болен оспой, ни после 18 января 1730 г., когда он умер.²² Попутно отмечу, что в самом начале 1728 г. большой литературной новинкой была только что, в декабре 1727 г., напечатанная латинская ода Феофана Прокоповича, написанная на случай проезда Петра II через Новгород по пути в Москву на коронацию. В конце этой оды также имеется хроностическая (латинская) эпиграмма на коронацию Петра II.²³ По-видимому, молодой поэт Кантемир под влиянием латинского образца Феофана Прокоповича решил создать русскую параллель хроностической эпиграммы, и это могло быть только в январе-феврале 1728 г.

Если принять эти — как нам кажется, бесспорные — соображения, то нельзя согласиться с приведенным выше утверждением Кантемира, что семь его эпиграмм были написаны в Москве в 1730 г., — хроностическая эпиграмма безусловно должна быть из этого числа исключена. Прежде чем мы займемся остальными шестью, остановимся на тех двух эпиграммах, которые были помещены автором в конце раздела и о которых глухо было сказано, что они не относятся к указанному времени и написаны не в Москве.

Комментируя их в «Собрании стихотворений», З. И. Гершкович пишет: «О последних двух эпиграммах (VIII и IX), названных выше, известно лишь, что они не были „написаны в Москве в 1730 году“». Но где и когда написаны? Судя по тому, что Кантемир, подготавливая Курбатовскую рукопись (т. е. в

²² Там же, стр. 470—471.

²³ ReX regVM Petro sanCIVIt regna seCVnDo
nVnC DeCVs IMperII trIbVIt bonVs arbItter IpsI
(Царь царей Петру судил царем быть Второму,
Ныне благой судия царство вручает ему)

(Miscellanea sacra. Vratislaviae,
1744. стр. 153; ed. emendatius
recusa, ibidem, 1745, стр. 153).

Сумма, получающаяся из цифрового значения больших букв, дает в каждом стихе число 1727 — дату ожидавшегося приезда Петра II в Новгород. Насколько были в то время в моде хроностические стихи, можно видеть из следующего сообщения в «*Sanct-Petersburgische Zeitung*» (1728, 8 Juni, № 46, стр. 198): «Am I. Mai als des Churfürsten von der Pfaltz Nahmenstage hat man es würklich voll gefühlet gehabt und auslaufen lassen. Es waren unterschiedene Teutsche Reime darin zu lesen, und unter andern auch folgendes Chronostichon:

stat baCChI renoVata DoMVs VInoqVe sVperIt».

Из больших букв получается дата MDCCXXVIII — 1728.

1740 г., — П. Б.), не включал в нее указанные две эпиграммы, можно допустить, что они были написаны после 1740 г.»²⁴

З. И. Гершкович исходит из предположения, что в Курбатовскую рукопись Кантемир должен был включить все им написанное. Можно, однако, допустить и другое: по каким-либо причинам Кантемир в 1740 г. не был заинтересован в опубликовании этих эпиграмм. Обращает на себя внимание их место в разделе эпиграмм в окончательной редакции произведений Кантемира: обе эпиграммы являются последними. Изучение композиции различных стихотворных публикаций XVIII в., как в журналах, так и в отдельных изданиях, показывает, что произведения, вызывавшие у авторов или у издателей сомнение в отношении их цензурной благонадежности, обычно помещались в конце всей подборки или раздела.²⁵ Нам кажется, что и здесь имело место подобное же.

Почему же Кантемир мог в 1740 г. быть заинтересован в том, чтобы написанные им эпиграммы «На Леандра, любителя часов» и «На гордость нового дворянина» не были напечатаны, а через три года мотивы для этого отпали? Почему, далее, остальные пять эпиграмм Курбатовской рукописи («К любовнице», «К моему портрету», «О Феофиле и Феофане», «О Меналке» и «На Харона») ²⁶ Кантемир считал возможным опубликовать в 1740 г., а в 1743 г. он от включения их в состав своего сборника уже отказался?

Ответы на подобные вопросы могут быть только гадательными, так как причины включения и невключения могли быть самыми разнообразными и не обязательно продиктованными общественно-политическими или литературными соображениями. И именно только как догадку мы предложим свое объяснение того, почему эпиграммы «На Леандра, любителя часов» и «На гордость нового дворянина» не были включены в состав Курбатовской рукописи. Вероятная причина, как нам кажется, такова: либо они были написаны (или хотя бы одна из них) на живых еще в 1740 г. людей и появление их в печати могло быть для автора сопряжено с неприятностями, либо автор мог опасаться, что эпиграммы (или, опять-таки, одну из них) отнесут на счет другого, еще живого лица.

По-видимому, вообще Кантемир имел основания выдавать свои эпиграммы за литературные безделушки: «В них нет

²⁴ Антиох Кантемир, Собрание стихотворений, стр. 470.

²⁵ Так было с известным стихотворением А. А. Ржевского «Мадригал Либере Сакке» и др.

²⁶ Антиох Кантемир, Собрание стихотворений, стр. 470. Название третьей из этих пяти эпиграмм с несомненностью свидетельствует о том, что она представляла собой ответ молодого поэта на приветственные стихи Феофила Кролика и Феофана Прокоповича.

ничего приметного, — писал он о своих эпиграммах в Курбатовской рукописи, — кроме новости своей, понеже до сих пор на нашем языке, чаю, эпиграммы не писаны».²⁷ Ему важно было, чтобы недалновидная тогдашняя цензура, для которой предназначались в первую очередь датировки в рукописи, и не особенно догадливые читатели приняли его эпиграммы действительно за нечто «неприметное», тогда как на самом деле они были не только первыми русскими эпиграммами вообще, как полагает З. И. Гершкович, но и первыми русскими политическими эпиграммами.²⁸

Особенно очевиден политический характер в эпиграмме «На гордость нового дворянина»:

В великом числе вельмож Сильван всех глупее,
 Не богатей, не старей, делом не славнее;
 Для чего же, когда им кланяются люди,
 Клашаются и они, — Сильван один, груди
 Напялив, хотя кивнуть головой ленится?
 Кувшин с молоком сронить еще он боится.²⁹

К последнему стиху Кантемир сделал примечание, которое должно еще больше подчеркнуть и без того понятную идею эпиграммы и раскрыть ее адресат: «Для разумения сей эпиграммы нужно ведать, что Сильван, прежде чем в люди вышел, торговал молоком, сам оное по улицам продавая. Обыкновенно такие люди молоко носят в больших кувшинах на голове, для того не могут тогда кланяться, опасаясь сронить кувшин и пролить молоко. След(ственно), сим стихом стихотворец искусно напоминает подлое состояние Сильваново, избличая вдруг его непристойную спесь».

Смысл и адресат этой эпиграммы станут сразу ясными, если мы вместо «кувшин с молоком» подставим «лоток с пирогами», обязательно ассоциирующийся в нашем сознании с биографией и личностью А. Д. Меньшикова. Нам могут возразить: а зачем подставлять вместо «кувшина с молоком» «лоток с пирогами»? ведь у автора обычно все рассчитано и, следовательно, если он сказал «кувшин с молоком», а не «лоток с пирогами», то именно это и хотел сказать? Однако это возражение не представляется нам убедительным: сам Кантемир подчеркивает, что «сим стихом стихотворец искусно напоминает подлое состояние Сильваново». Эпиграмма Кантемира

²⁷ Там же, стр. 470.

²⁸ Вопросу о первых русских эпиграммах мы предполагаем посвятить особую статью: к 1720-м — началу 1730-х годов относятся еще эпиграммы Феофана Прокоповича (русские и латинские), Феофила Кролика (латинские) и др.

²⁹ Антиох Кантемир, Собрание стихотворений, стр. 235—236.

приобретает реальный смысл тогда, когда она оказывается направленной не «на гордость нового дворянина» вообще, а на «непристойную спесь» определенного лица, «подлое состояние» которого надо «искусно» напомнить. Если взять эту эпиграмму вне ее конкретного адресата — Меньшикова, она становится прямым противоречием II сатире Кантемира, «На зависть и гордость дворян злонравных», согласно морали которой не родовитостью, а личными заслугами определяется общественное значение человека. Если это дворянин новый, то, значит, он получил дворянство за свои заслуги. Поэтому острое эпиграммы направлено не на новое дворянство этого человека, а на его гордость, «непристойную спесь».

На первый взгляд, характеристика Сильвана в эпиграмме Кантемира не соответствует тому представлению о Меньшикове, которое сложилось у нас. Едва ли «в великом числе вельмож» он был «всех глупее», «не богачей, не старей, делом не славнее». Однако поведение Меньшикова в царствование Екатерины I и в особенности в самом начале царствования Петра II свидетельствует о том, что он совершал один «глупый» поступок за другим.

Вот что писал о Меньшикове акад. К. И. Арсеньев: «Воздавая должное великим его достоинствам государственным, нельзя умолчать и о тех качествах, которые, помрачая память его в потомстве, навлекли ему ненависть современников и были причиною его унижения и страданий. Жестокосердие, гордость, властолюбие и корыстолюбие, господствовавшие в нем страсти отвратили от него сердца современников и поставили его виновным пред судом потомства беспристрастного (...). Бесперывные успехи по службе, необыкновенно быстрое его возвышение, счастье, венчавшее все его начинания, породили в нем благородную гордость, которая будучи питаема ласкательством и угодливостью пресмыкавшихся перед „его высококняжескою светлостью“ царедворцев, переродилась в необузданную кичливость и высокомерие, нестерпимое для немногих благородномысливших и ненавистное для всех (...). Ничто не могло вывести его из его беспечности и самоуверенности; он переходил от одной ошибки к другой».³⁰

Несомненно, что молодой Кантемир принадлежал к числу «немногих благородномысливших».

Кроме того, нельзя упускать из виду, что жанр эпиграммы, близкий к графическому жанру шаржа, карикатуры, также

³⁰ К. И. Арсеньев. Царствование Петра II. СПб., 1839, стр. 97, 98 и 35.

предъявляет свои требования к обрабатываемому жизненному материалу. Поэтому и могли быть в эпиграмме Кантемира на Меньшикова «сгущены краски»: автору важно было осмеять заносчивого и окончательно занесшегося временщика, а не дать более или менее точный исторический портрет его.

Наконец, еще одно соображение: жанр эпиграммы в XVII—XVIII вв., в частности во французской поэзии, на опыт которой главным образом и мог опираться в то время Кантемир, почти всегда имел прямых адресатов. Подобно сатире того времени, эпиграмма была направлена «на лицо», а не «на порок». И если в данной эпиграмме говорится, что герой ее в прошлом торговал чем-то вразнос, то это был конкретный признак. И, следовательно, если мы отказываемся в Сильване данной эпиграммы видеть Меньшикова, то «в великом числе вельмож» конца 20-х—начала 40-х годов XVIII в. мы должны указать кого-либо, чья биография давала бы основания для создания такого образа. Но другого уличного торговца среди «новых дворян» — вельмож того времени история указать не может.

А раз адресатом эпиграммы о Сильване является Меньшиков, значит она была написана тогда, когда он был еще в силе, до его ареста и ссылки, т. е. до 8 сентября 1727 г. Писать эпиграмму на павшего временщика и политически и практически нецелесообразно, и этически некрасиво, не в духе Кантемира, поклонника и последователя строгой нравственной философии. Можно почти с полной уверенностью предположить, что эпиграмма «На гордость нового дворянина» была написана Кантемиром в Петербурге не позднее 1727 г., и он был вполне прав, не поместив ее в число московских эпиграмм 1730 г.

Таким образом, уже по крайней мере две из девяти эпиграмм Кантемира относятся к 1727—1728 гг., т. е. к периоду до сатир.

Меньшиков умер в ссылке в 1729 г.; казалось бы, моральные препятствия против опубликования эпиграммы о Сильване в 1740 г. должны были у Кантемира отпасть. Но, как нам кажется, у него могли быть другие основания для того, чтобы воздержаться от печатания данного произведения: очень оно напоминало «гордость» другого «нового дворянина», хотя и не носившего в молодости на голове «кувшин с молоком», но тоже происходившего из «подлого состояния», — бывшего конюха Э.-И. Бирона, судьба которого в конце 1740 г. была еще неясна (ср. характеристику «временщика» Макара во второй редакции сатиры V «На человеческие злонравия вообще», стихи 619—644:

Болваном Макар вчера́сь казался народу,
 Годен лишь дрова рубить или таскать воду;
 Никто ощущать не мог в нем ума хоть кроху и т. д).

Сложнее обстоит дело с эпиграммой «На Леандра, любителя часов», также не входящей в группу московских эпиграмм 1730 г. Она, как установил в своей студенческой работе «О заимствованиях русских писателей» Н. С. Тихонравов,³¹ представляет перевод из Буало. И. В. Шкляр в печатаемой ниже статье высказала вполне правдоподобное предположение, что перевод этой эпиграммы предшествовал переводам четырех сатир Буало и был, возможно, вообще первым переводом Кантемира в стихах. Однако возникает вполне законный вопрос: чем руководствовался молодой поэт, выбрав для перевода именно эту, а не какую-либо другую эпиграмму Буало или любого иного французского стихотворца? Над этим вопросом задумывался и Н. С. Тихонравов в цитированной выше статье. Он писал «Не надобно, впрочем, терять из виду, с какой целью писаны эти эпиграммы(. . .). Может быть, у Кантемира была мысль познакомить русских с поэзией европейской и дать им примеры всех родов ее».³² Но объясняет ли предположение Тихонравова самый факт выбора этой, а не какой-либо иной эпиграммы для перевода?

Индивидуальная психология поэтического творчества — вещь настолько субъективная и малодоступная для изучения, что почти невозможно дать удовлетворительные ответы на подобные вопросы, в особенности когда до нас не дошли ни архив Кантемира, ни аналогичные материалы его современников. И все же кое-что мы можем предположить.

Большим и важным для русской литературы XVIII в. открытием Кантемира во второй половине 20-х годов явилось, как мы полагаем, то, что заменой оригинальных произведений могли оказаться не только псалмы, но также и переводы, в частности с французского. И. В. Шкляр в публикуемой ниже статье выдвигает положение, что «перевод некоего италиянского писма, содержащего утешное критическое описание Парижа и французов» был предпринят Кантемиром именно потому, что это произведение сатирическое. Можно это предположение продолжить: еще и потому, что некоторыми «утешными критическими» сторонами оно напоминало русскую действительность середины 20-х годов XVIII в.

Вполне вероятно, что, наткнувшись в сочинениях Буало на

³¹ Н. С. Тихонравов, Сочинения, т. III, ч. 2. М., 1898, стр: 297—298 Это место у Тихонравова напомнила мне И. В. Шкляр.

³² Там же.

эпиграмму «L'amateur d'horloges» и найдя ее «применительной» к какому-то своему современнику, Кантемир перевел ее, заменив французское имя героя эпиграммы Любэн на греческое Леандр, может быть содержавшее намек на имя реального лица (Леандр значит «человек-лев»). Кто был этот коллекционер часов во времена Кантемира, мы не знаем, но, возможно, в 1740 г. это лицо еще находилось в живых, и поэтому сатирик не счел удобным включать эпиграмму в состав Курбатовской рукописи.

Вместе с тем, как нам кажется, имеет смысл обратить внимание на запись в «Дневнике» П. Апостола от 26 марта 1726 г.: «После обеда ходил с кап. Штоффелем к одному купцу, у которого купил серебряный кадран за 17 рублей». Кадранами в XVII—XVIII в. назывались карманные часы. Насколько часы были в то время редкостью свидетельствует то, что в описи вещей, оставшихся после Петра I, указано двое карманных часов, а в росписи приданого кн. Варвары Черкасской, считавшейся одно время невестой А. Кантемира, отмечено трое карманных часов (эти сведения сообщил мне В. М. Глинка, за что приношу ему благодарность). У нас нет никаких доказательств того, что именно покупка часов П. Апостолом послужила для Кантемира поводом к переводу эпиграммы о любителе часов. Однако все же не исключена возможность, что так оно и было.

Допускаем также, что и некоторые другие эпиграммы Кантемира представляют собой переводы, но это не мешает им быть откликом на современные поэту факты и на поступки известных его читателям людей. Так, например, эпиграмма «На старуху Лиду», по нашему мнению, является переводом, возможно, с итальянского или латинского (на это наводит мысль второй стих):

На что Друз Лиду берет? дряхла уж и седа,
С трудом ножку воробья сгрызет в полобеда.
К старине охотник Друз, в том забаву ставит,
Лидой медалей число собранных прибавит.

Из примечаний Кантемира к этой эпиграмме особенно существенно последнее: «Медалями называют старинные деньги. Многие охотники собирают такие медали, и то не без пользы, понеже к изъяснению хронологии много спомоществуют. Стихотворец наш Лиду-старуху приуподобляет старинным деньгам».³³

Что эта эпиграмма имела непосредственное отношение к какому-то современному нумизмату, несомненно. Но кто этот

³³ Антиох Кантемир, Собрание стихотворений, стр. 234—235.

коллекционер старинных монет, предстоит еще выяснить. Дело в том, что во второй половине 20-х и начале 30-х годов в Петербурге и Москве было сильно увлечение нумизматикой. Вот что писал по этому поводу в одном из европейских научных изданий 1727 г. некий Михаил Схенд-фан-дер-Бех: «Если бы какой-нибудь антикварий, любящий рыться в вековых древностях, взглянул на здешние медали, бросающиеся в глаза драгоценности, которые представляют „лица государей и богов, пострадавших от проклятой ржавчины”³⁴ и на монеты — памятники знаменитых людей, — то довольно нашлось бы дела для его ржавого пера. Даже из самой Сибири ежедневно прибывают греческие и римские тени, которые, по любви к древностям, откапываются жителями в могилах их предков. Все, что со времен Рюрика (то есть 808 г. по Р. Х.) до сих пор можно было найти по части нумизматики этого народа, то есть русские монеты или любопытные сведения об этом деле, все это недавно Петр Миллер, человек ученейший, привел в порядок и описал с величайшей точностью».³⁵

Об этом П. Миллере, точнее Муллере, лице, заслуживающем специальной работы, для которой мы давно уже собрали обширные материалы, следует напомнить, что он был хорошо знаком с Д. Кантемиром, которому рекомендовал в качестве преподавателя для детей (в том числе и Антиоха) и в качестве секретаря И. Г. Фокеродта.³⁶ Не может быть никакого сомнения, что П. Муллер, знакомец Феофана Прокоповича, гостивший в свои приезды в Петербург на даче последнего, был известен и молодому Кантемиру. В 1728 г. П. Муллер, постоянно живший в Москве, приехал в Петербург и сделал в Академии наук сообщение о своем труде, посвященном русским и татарским монетам.³⁷ Историк В. Н. Татищев, сам серьезно занимавшийся русской нумизматикой, писал в 1732 г. в Академию наук в ответ на запрос последней о русских монетах: «... в том господин Петер Муллер многие способы к рассмотрению подать может, понеже он о том довольно прилежал».³⁸ Впрочем, сведений о том, собирался ли П. Мул-

³⁴ В подлиннике стихи:

Caesareas facies, Divos rugibine sacra Horrendos...

³⁵ *Acta physico-medica Academiae Caesareae Naturae Curiosorum*, 1727, t. I, Supplementum, стр. 141—142; русский перевод (неточный) см.: *Сын отечества*, 1842, № 1, стр. 23.

³⁶ E. Winter. *Halle als Ausgangspunkt der deutschen Russlandkunde im 18. Jahrhundert*, Berlin, Akademie-Verlag, 1953, стр. 85.

³⁷ Протоколы заседаний конференции императорской Академии наук с 1725 по 1803 г., т. I. 1725—1743. СПб., 1897, стр. 11.

³⁸ Материалы для истории императорской Академии наук, т. 2 (1731—1735). СПб., 1886, стр. 180.

лер в 1730 г. жениться на какой-либо старой женщине, у нас нет.

Однако нумизматикой в эти годы увлекался не один только П. Муллер. Особенно много в этой области сделал акад. Г.-З. Байер, с которым, как известно, хорошо был знаком А. Кантемир.³⁹ В «*Commentarii Academiae scientiarum petropolitanae*», начиная со второго тома, Байер печатал статьи по нумизматике,⁴⁰ а в 1734 г. издал книгу «*Historia Osrhoena et Edessena, ex numis illustrata*», («Хозройская и Эдесская история в освещении монет»)⁴¹ Байер занимался описанием коллекции монет другого петербургского академика — И.-Х. Буксбаума.⁴² Очень ценную нумизматическую коллекцию и альбом отпечатков монет, находившийся перед Великой Октябрьской социалистической революцией в Вольфенбютельской библиотеке, составил непосредственный учитель А. Кантемира, акад. Х.-Ф. Гросс.⁴³

Здесь мы перечислили нумизматов, имевших отношение к Академии наук. И. Г. Спасский в статье «Очерки по истории русской нумизматики»⁴⁴ называет значительное число других русских нумизматов этого времени, среди которых встречаются и лица из высшего общества (гр. П. С. Салтыков, гр. Я. В. Брюс, герцог Брауншвейгский, А. П. Волынский и др.), и купцы (купец-откупщик Бабушкин, известный нам П. Муллер, названный здесь П. В. Меллером), и даже «пол Федор, который жил близ Воскресенского монастыря».

Таким образом, эпитаграмма Кантемира касалась живого явления тогдашней современности и несомненно была написана на кого-то из перечисленных нами лиц. Может быть, в дальнейшем и удастся определить точно, кто был этот «эпиграмматический» Друг.

Из остальных эпитаграмм якобы 1730 г. останавливают на себе внимание «На самолюбца» («Наставляет всех Клеарх и

³⁹ П. П. Пекарский. История императорской Академии наук в Петербурге, т. I. СПб., 1870, стр. 194.

⁴⁰ Там же, стр. 195.

⁴¹ Там же, стр. 194—195.

⁴² Там же, стр. 239, 241.

⁴³ Об этом в биографии Гросса у Пекарского ничего не сказано (глухо упомянуто о том, что он занимался объяснением русских монет; см. там же, стр. 216). Сведения о коллекции и альбоме Гросса см.: Известия императорской Археологической комиссии, 1915, Прибавления к т. LVIII, стр. 6.

⁴⁴ Нумизматический сборник, ч. I, М., Госкультпросветиздат, 1955, стр. 34—108; о нумизматах первой половины XVIII в. см. стр. 40—54. Приведенные нами сведения об «академических» нумизматах и подробности о П. Муллере у И. Г. Спасского отсутствуют.

всех нравы судит. . .»), «На Брута» («Умен ты, Бруте, порук тому счесть устанешь. . .») и «О прихотливом женихе» («Гораздо прихотлив ты, дружок мой Эраздо. . .»). Все они, вероятно, также имели конкретных адресатов, возможно также, что для них, в частности для второй, будут отысканы иностранные источники. Однако существенно в них то, что это уже не насмешливая трактовка человеческих слабостей — коллекционерских увлечений часами и нумизматикой, а сатирический анализ, обобщение более крупных явлений в моральной жизни общества.

По существу, эти произведения представляют промежуточный жанр между эпиграммой и сатирой. Для эпиграммы, даже с сатирическим характером, важнейшим элементом является остроумная концовка, *pointe*, заключительный стих, рассчитанный на то, чтобы сохраниться в памяти читателя, иногда даже независимо от предшествующей части стихотворения; например:

Умен ты молча, а глуп, как говорить станешь.
(«На Брута»).

Никто в городе, кой час, лучше его знает.
(«На Леандра, любителя часов»).

В рассматриваемых же эпиграммах (даже и во второй) суть заключается не столько в последнем стихе, сколько в характеристике «самолюбца», «глупца», «прихотливого жениха»; при этом все три характеристики выдержаны в сатирическом духе и очень напоминают «портреты» порочных людей в сатирах Кантемира ранних редакций. Больше того, метод построения эпиграмм данной группы, включая «На гордость нового дворянина», и «портретов» людей, осмеиваемых поэтом в сатирах, один и тот же: сперва идет перечисление отрицательных черт героя эпиграммы или отдельного персонажа сатиры, а затем следует афористически выраженное обобщение, сентенция или нечто похожее на эпиграмматическую *pointe*; вместе с тем как в героях эпиграмм, так и в персонажах сатир мы в одно и то же время и узнаем конкретных людей, и видим обобщения, «образы», элементы того, что в последующие эпохи будет называться типом.

Из сказанного вполне закономерен вывод: эпиграммы явились для Кантемира подготовительным этапом, переходным периодом к сочинению сатир. И поэтому если данные эпиграммы, время создания которых автор относит к 1730 г., и на самом деле были написаны после двух первых сатир, в чем, впрочем, приходится сомневаться, то несомненно, что в конце 20-х годов Кантемир эпиграммы писал и, возможно, некоторые из них включил в текст ранних сатир.

Вполне допустимо, что вслед за эпиграммами 1727—1728 гг. («На гордость нового дворянина», «Хроностическая на коронацию Петра II»), но, вероятно, раньше эпиграммы «На Леандра, любителя часов», Кантемир стал переводить сатиры Буало и одновременно сделал опыт создания своей собственной сатиры «На Зоила», фактически представляющей не то длинную эпиграмму, не то «портрет» порочного, еще не вставленный в ряд аналогичных «портретов» в более обширном сатирическом произведении, не то «портрет», изъятый из уже написанной большой сатиры.

Сатира «На Зоила» не подверглась до настоящего времени сколько-нибудь внимательному анализу. Впервые сообщившая о ней в печати Т. М. Глаголева, обосновывая атрибуцию этого произведения сатирику, писала: «Принадлежность <...> данной сатиры именно Кантемиру выводим из следующих оснований: 1) отсутствие других сатириков в послепетровскую эпоху; 2) стиль сатиры; 3) содержание ее».⁴⁵ Остановившись подробно на первом пункте,⁴⁶ Т. М. Глаголева продолжает: «Конструкция данной сатиры соответствует конструкции известных сатир Кантемира: 1) излюбленный Кантемиром тринадцатисложный стих; 2) чередование слов автора с речами изображаемого типа; 3) внезапное заключительное обращение к музе».⁴⁷ Далее Т. М. Глаголева приводит и текстуальные сравнения и переходит к очень краткому анализу содержания сатиры «На Зоила». «Содержанием сатиры, — пишет она, — является обрисовка одного определенного характера, что встречается у Кантемира во II сат<ире>, которая целиком посвящена характеристике дворянина (позднее Евгения)».⁴⁸ И несмотря на то, что на предыдущей странице Т. М. Глаголева утверждала, что в послепетровскую эпоху не было других сатириков, кроме Кантемира, она завершает свой анализ сатиры «На Зоила» следующим образом: «На основании этих данных мы решаемся заключить, что рассматриваемая нами сатира или принадлежит А. Кантемиру, или же является искусным подражанием. Если принять первое

⁴⁵ Т. М. Глаголева. Материалы для полного собрания сочинений кн. А. Д. Кантемира. СПб., 1906, стр. 37 (или: Известия Отделения русского языка и словесности, т. XI, 1906, кн. I, стр. 213).

⁴⁶ В начале своей статьи Т. М. Глаголева писала: «В просмотренных нами сборниках Публичной библиотечки встречаются лишь переложения псалмов и стихи с религиозным содержанием, оды и песни в честь высочайших особ, поздравительные стихи и т. под. <...>, но нет ни одной сатиры, ни одного стихотворения с определенным философским содержанием». См. там же, стр. 5 (или 181).

⁴⁷ Там же, стр. 37 (или 213).

⁴⁸ Там же, стр. 38 (или 214).

предположение, то следует отметить, что данная сатира могла быть написана лишь в начале первого периода литературной деятельности Кантемира (1729—1732 гг.). На это указывает: 1) содержание ее; 2) внешняя ее форма».⁴⁹

В суждениях Т. М. Глаголевой и в приводимых ею историко-литературных наблюдениях много спорного, даже неточного.

Вопрос о том, были ли до Кантемира сатирики в русской литературе и были ли у него последователи и подражатели, намного сложнее, чем представлялось Т. М. Глаголевой и ее современникам. Так, в конце 20-х годов нашего века акад. В. Н. Перетц в статье «Неизвестные подражатели кн. А. Д. Кантемира»⁵⁰ привел три⁵¹ сатиры, написанные в 1730—1740-е годы последователями поэта. В последнее время в печати появились сообщения о наличии и других подражаний сатирам Кантемира. Например, в отделе рукописей Библиотеки Академии наук СССР хранится список сатиры «На хулящих учение», являющейся, как указывает печатное описание, «подражанием сатире Кантемира».⁵² Студентки V курса филологического факультета Ленинградского университета И. В. Шкляр и Л. Р. Муравьева обнаружили в Государственном Историческом музее в Москве еще одно несомненное подражание сатирам Кантемира.⁵³ Таким образом, тезис о том, что Кантемир как сатирик был совершенно одинок, теперь не может быть принят безоговорочно.

Однако можно отметить еще более неожиданный факт — наличие у Кантемира предшественников.

В известном труде И. А. Чистовича «Феофан Прокопович и его время» в разделе, посвященном рассмотрению поэтической деятельности последнего, указывается: «Кроме духовных стихотворений, Феофан писал много стихов в разнообразных

⁴⁹ Там же, стр. 38 (или 214).

⁵⁰ В. Н. Перетц. Неизвестные подражатели Кантемира. Известия по русскому языку и словесности, 1928, т. I, кн. 2, стр. 335—337; отд. отт.: Изд. АН СССР, Л., 1928.

⁵¹ См. ниже в статье И. В. Шкляр о первом «подражании»; приводимом В. Н. Перетцем.

⁵² Исторический очерк и обзор фондов рукописного отдела Библиотеки Академии наук, вып. II. XIX—XX вв. М.—Л., АН СССР, 1958, стр. 84. Рассмотрение этого списка с неопровержимой точностью показывает, что перед нами не подражание, а самая ранняя редакция первой сатиры А. Кантемира.

⁵³ О более поздних украинских подражаниях Кантемиру говорит Ф. Я. Шолом в статье «Російсько-українські зв'язки в галузі громадсько-політичної поезії XVIII століття, I. Сатири А. Д. Кантемира та українські сатиричні вірші XVIII століття» (Наукові записки Київського державного університету, т. XI, вип. IX, Філологічний збірник № 4, 1952, стр. 125—138).

формах — од, сатир, эпиграмм и проч.». ⁵⁴ Еще более определенно о сатирах Феофана говорится в его анонимной биографии, напечатанной в «Nordische Nebenstunden» Шерера: «Он сочинил также разного рода стихотворения, много од в подражание Горацию и прежде всего оду на торжественную встречу Петра II в Новгороде, равно как и к богине Лихорадке, в то время, когда болел этой болезнью и был в ипохондрическом состоянии и проч., сатиры на испорченные нравы своей эпохи, на презирающих изящные искусства, на пошлых поэтишек и других бездарных писателей» («Composuit quoque varia poematum genera, odas plures ad imitationem Horatii, inprimis quando Petram S(ecundum) Novogradiam intrantem solleniter excepit, quin et in deam Febrin, cum qua tunc temporis laboravit hypochondria etc. Satyras contra corruptos seculi mores, contemptores bonarum artium, contra insulos Poetastros aliosque frigidus scriptores»). ⁵⁵

Однако ни одна из этих сатир Феофана Прокоповича до нас не дошла. Тем больший интерес представляет примечание Кантемира к стиху 47 (стих 41 второй редакции) сатиры III. Здесь поэт пишет: «Сей стих имитован с сих латинских:

Dote tuum nummum Gallam nupsisse relatum est
Fongilio juveni; postquam damnabilis, inquit,
Invaluit luxus.

(Феофан Прокопович в сатире русской)». ⁵⁶

Таким образом, у Феофана Прокоповича была специальная сатира, которую он сам назвал русской и которая была написана никак не позднее 1730 г. (сатира III Кантемира в первой редакции была сочинена, по указанию поэта, до августа 1730 г.). Трудно допустить, что Феофан стал писать сатиры под влиянием первой сатиры Кантемира. Напротив, скорее можно предположить, что латинские сатиры Феофана предшествовали русским произведениям того же жанра, написанным Кантемиром.

⁵⁴ И. Чистович. Феофан Прокопович и его время. Спб., 1868, стр. 599. П. О. Морозов в книге «Феофан Прокопович как писатель» (СПб., 1880) не останавливается на поэтической деятельности Феофана (см стр. 158).

⁵⁵ Nordische Nebenstunden. Das ist. Abhandlungen über die alte Geographie, Geschichte und Alterthümer Nordens. Herausgegeben von J. B. Scherger, т. I. Frankfurt und Leipzig, 1776, стр. 265.

⁵⁶ Сочинения, письма и избранные переводы... Кантемира, т. I, стр. 238; ср. стр. 79. Приводимый там перевод не вполне точен: вместо «Скрывают» следует «Передают». На это примечание обратила мое внимание И. В. Шкляр.

Как бы то ни было, сейчас уже нельзя утверждать, что «отсутствие других сатириков в послепетровскую эпоху» является фактом бесспорным, как полагала Т. М. Глаголева. Впрочем, как мы видели, и сама исследовательница не была вполне убеждена в безусловности своего исходного положения.

Однако спорность позиции Т. М. Глаголевой не ограничивается вопросом о наличии или отсутствии сатириков в послепетровскую (или даже Петровскую) эпоху. Приводимые ею другие доказательства принадлежности стихотворения «На Зоила» Кантемиру тоже очень шатки. Можно ли считать аргументом то, что это произведение написано «излюбленным Кантемиром тринадцатисложным стихом»? Ведь тринадцатисложный стих был основным и наиболее распространенным стихом у силлабистов: одиннадцатисложник, а тем более «краткие метры» являются редкими исключениями в практике русских силлабических стихотворцев. Поэтому утверждение Т. М. Глаголевой о тринадцатисложном стихе сатиры «На Зоила» как доказательстве принадлежности данного стихотворения Кантемиру основным (и тем более первым в порядке перечисления) аргументом служить не может. Не более убедительны и два следующих довода Т. М. Глаголевой, основывающиеся каждый на примере одной только сатиры Кантемира. Более доказательны фразеологические и текстологические сопоставления, приведенные исследовательницей и в дальнейшем умноженные З. И. Гершковичем.⁵⁷

И все же, несмотря на наши возражения против некоторых приемов в методике доказательства, примененной Т. М. Глаголевой, мы склонны считать сатиру «На Зоила» произведением Кантемира. Мы уже указывали, что к не вполне убедительным аргументам Т. М. Глаголевой З. И. Гершкович прибавил более доказательные соображения. Он остановил, например, внимание на том, что к образу Зоила сатирик возвратился еще и в сатире III (в обеих редакциях) и что в примечании к стиху 299⁵⁸ первой редакции к имени Зоила Кантемир дал такое пояснение: «Под Зоила именем описать намерен был сатирик самолюбивого, завидливого, но да не продолжит чрезмерну сатиру — кончает внезапно, как из следующего примечания видеть можно».⁵⁹ З. И. Гершкович не процитировал полностью первого примечания и не при-

⁵⁷ Антиох Кантемир, Собрание стихотворений, стр. 461.

⁵⁸ В «Собрании стихотворений» (стр. 462) допущена опечатка: в стихе 229.

⁵⁹ Сочинения, письма и избранные переводы... Кантемира, т. I, стр. 246; Антиох Кантемир, Собрание стихотворений, стр. 462.

вел следующего, в котором еще более точно определена задача, поставленная поэтом: «Начинал тут сатирик характер завидливого человека описывать, но для вышеписанного резона прервал речь свою и то-то значат точки оные, которые стиху следуют». ⁶⁰

Очевидно, усмотрев, что пояснение, данное к стиху 303 первой редакции, только повторяет сказанное ранее (в примечании к стиху 299), Кантемир в примечании к стиху 352 второй редакции пишет коротко: «Здесь сатирик вдруг пресекает описание завидливого Зоила, чтоб не наскучить Феофану». ⁶¹

Таким образом, для Кантемира ко времени создания окончательной («второй») редакции III сатиры характер Зоила определился как «завидливый»; в первой же редакции сатирик еще колебался: для него Зоил был «самолюбивый, завидливый». Эти авторские колебания были, как нам кажется, не случайны, что выяснится из дальнейшего.

Указание З. И. Гершковича на связь сатиры «На Зоила» с соответствующими стихами III сатиры несомненно является более веским доказательством принадлежности этого произведения Кантемиру, чем доводы Т. М. Глаголевой. Однако крайне удивляет, что З. И. Гершкович не обратил внимания на эпиграмму Кантемира «На самолюбца», герой которой хотя и не носит имени Зоил, но несомненно является его разновидностью и представляет, вероятно, первый вариант разрабатываемого характера:

Наставляет всех Клеандр и всех нравы судит:
Тот спесив, тот в суетах мысли свои нудит,
Другой в законе не тверд и соблазны вводит,
И науки новостью в старый ад нисходит.
Наведи и на себя, Клеандр, зорки очи,
Не без порока и ты, скажу, нет уж мочи:
Самолюбец ты, Клеандр, все, кроме тя, знают:
Слепец как ведет слепца, в яму упадают.

Характеризуя в данной эпиграмме Клеандра как самолюбца, Кантемир на самом деле писал «портрет» человека, всем недовольного, «всесветного судии», «ругателя закоснелого», «осуждателя».

Совершенно тот же «характер» изображен в сатире «На Зоила»:

По нем может ли что быть в целом свете право?
Всё не туды, один он мыслит только здраво.

(Стихи 3—4).

⁶⁰ Сочинения, письма и избранные переводы... Кантемира, стр. 246.

⁶¹ Там же, стр. 86; Антиох Кантемир, Собрание стихотворений, стр. 107.

Но герой сатиры не просто ворчун, он «вредительный» и «злбный Зоил»:

Кто недруг или хотя пришел не по нраву,
Злишься, терзаешь всяко и отъемлешь славу
(Стихи 53—54).

И все это делается из самомнения, самовлюбленности и желания сохранить славу за одним лишь собой.

Надо полагать, что сатирой «На Зоила» Кантемир остался недоволен и продолжал разрабатывать образ «самолюбивого» Клеандра — Зоила. Следует иметь в виду, что слова «самовлюбленный» в тогдашнем русском языке не было. А характер Клеандра заинтересовал Кантемира тем, что в нем сложно сочетались самовлюбленность, стремление подчеркнуть свое превосходство над всеми, быть над всеми судьей и всех наставлять. Раскрытие этого характера поэт завершил в первой редакции III сатиры, распределив черты, ранее соединенные в одном Зоиле, между разными персонажами — славолубивым Катонем, самовлюбленным Нарцизом и «самолюбивым, завидливым» Зоилом.

Менее всего сохранились старые черты в Катоне: то, что можно было только угадывать в цитированных выше двух стихах «Кто недруг или хотя пришел не по нраву» и т. д., — преследование своих недругов из нежелания с кем-либо делить славу, — развилось в первой редакции сатиры III в портрет славолубивого Катона, которому

Одним словом не давай есть, дай ему славы.
(Стих 218)

Еще дальше от первоначального замысла сатиры «На Зоила» портрет «славолубивого» Фоки во второй редакции сатиры III. Но этот образ значительно отошел и от образа Катона из первой редакции. Таким образом, характер «славолубивого», еле-еле намеченный в сатире «На Зоила», получил в дальнейшем самостоятельное развитие, в нем в разное время были обобщены разные группы жизненных наблюдений и философских размышлений Кантемира, и поэтому этот сатирический портрет приобрел в последней обработке, в образе Фоки, явно политическое звучание и смысл.

В портрет Нарциза перешли такие черты характера Зоила, как недовольство окружающими, происходящее от неумеренного самомнения:

Нарцизу все не нравно, все ему противно...
...Перед ним и весь человек
Род ничто. Один только он изо всех веков

Есть, его же почитать всем прилично всюды
 По его словам, скоты суть прочие люди. . .
 Собою весь наполнен, о себе и мыслит,
 Чаёт, что всех прочих бог и в твари не числит.

(Стихи 219—238).

Развивая в сатире III те признаки, которые в зародыше были даны в портретах Клеандра и Зоила, Кантемир ввел в характеристику Нарциза отдельные элементы из этих ранних портретов: Так, первый стих эпиграммы «На самолюбца»

Наставляет всех Клеандр и всех нравы судит,
 — перешел в сатиру «На Зоила» в виде вопроса:

Скажи, что тебе нравно, что по твоей моде?

(Стих 21),

а в сатире III первой редакции принял форму, близкую к тексту эпиграммы:

Нарцизу все не нравно, все ему прогивно

(Стих 219).

И наконец, во второй редакции, там, где Гликон заменил прежнего Нарциза, Кантемир в какой-то мере объединил все предшествующие попытки найти исчерпывающую формулу для данной разновидности порока:

Гликон ничего в других хвально не находит.

(Стих 205).

Однако как ни меняется выражение во всех этих случаях, смысл всегда остается тот же.

Третий образ сатиры III называется в обеих редакциях Зоилом, как и в ранней сатире. При первой переработке он был задуман еще «самолюбивым, завидливым», как сказано в примечании, но в самом тексте первой редакции Зоил трактован скупо, бегло; подчеркивается, что он мучает и других и себя, потому что «завистью зло сердце Зоила» (стих 302).⁶² Во второй редакции сатиры III характер Зоила рассмотрен более подробно: вместо прежних четырех стихов, ему отведено шестнадцать с половиной, благодаря чему «завидливый» герой обрисован разносторонне. Однако совершенно неожиданно здесь всплывает перифраза знакомых нам по сатире «На Зоила» стихов:

Кто недруг или хотя пришел не по нраву —
 Злишься, терзаешь всяко и отъемлешь славу

(Стихи 53—54).

⁶² Возникает вопрос, случайна ли тут аллитерация.

Во второй редакции III сатиры они звучат так:

Хвалят ли кого — ворчит и злобно дивится
Слепому суду людей, что свойства столь плохи
Высоко ценит. . .

(Стихи 348—350).

Все это, как нам кажется, является развитием полустигмы из эпиграммы «На самолюбца»: «Самолубец ты, Клеандр. . .» (стих 7).

Приведем еще один пример того, как элемент эпиграммы «На самолюбца» перешел в сатиру «На Зоила» и в сатиру III.

В эпиграмме есть следующие стихи, представляющие собой упреки или нападки Клеандра на кого-то, чья деятельность имела отношение к религии («закон» здесь явно «религия»; может быть, речь идет о преследованиях Феофана Прокоровича, как известно, обвинявшегося обскурантами в склонности к протестантству):

Другой в законе не тверд, и соблазны вводит,
И науки новостью в старый ад нисходит.

(Стихи 3—4).

В сатире «На Зоила» эта мысль выражена в несколько ином плане, но опять же связана с вопросами религиозными, хотя речь идет уже о других лицах. Когда сатирик напоминает о какой-то женщине и ее детях, впавших в бедность, Зоил язвительно спрашивает:

Не пора ли им отстать католической веры?

(Стих 16).

В сатире III эта религиозная трактовка понятия «закон» получает расширительный характер:

Исправил ли кто закон, судит ли кто право,
Благонравен ли или рассуждает здраво,
Учен ли кто, пользу ли сделал кто народу.

(Стихи 223—225).

Для Нарциза, — говорит сатирик, — это не имеет никакого значения. Во второй редакции эти стихи, осложненные новыми подробностями, которые мы опускаем, приобретают следующий вид, сочетая старую и новую трактовку вопроса:

Приятен ли кто во всем, святу ль жизнь водит,
Учен ли кто. . .

К пользе ли общества ввел законы важны.

(Стихи 206—210).

Таким образом, преемственная связь в трактовке характера «самовлюбленного» «завистника» между эпиграммой «На самолюбца» и сатирами «На Зоила» и III, как нам кажется, неоспорима. Не менее тесна связь между сатирой «На Зоила» и сатирой III. К сказанному выше прибавим следующее.

В сатире «На Зоила», характеризую своего героя, автор пишет:

По нем может ли что быть в целом свете право?
Всё не туды, один он мыслит только здраво.

(Стихи 3—4).

Эти слова сохранились в несколько измененной форме в обеих редакциях сатиры III. Яснее всего видна преемственная связь между сатирой «На Зоила» и сатирой III по изменениям выражения «Все не туды», которое в первой редакции сатиры III обратилось во «Все то плюнуть!» (стих 227), а во второй — во «Все то ничто» (стих 211).

Но и другие части этих же стихов (стихи 3—4) сатиры «На Зоила» перешли в сатиру III (в первую редакцию). Здесь они звучат так:

Исправил ли кто закон, судит ли кто право,
Благонравен ли или рассуждает здраво

(Стихи 223—224).

Во второй редакции их, однако, нет.

Приведенные примеры свидетельствуют, как нам кажется, о том, что сатира «На Зоила» безусловно является произведением Кантемира и притом ранним и представляет, с одной стороны, дальнейшее развитие эпиграммы «На самолюбца», а с другой — как бы первоначальный, неосознанный замысел сатиры III с ее идеей показать различие и разнообразие страстей человеческих.

При анализе сатиры «На Зоила» обращает на себя внимание еще следующее. Автор и в тексте произведения, и в примечании приводит много конкретных подробностей: Зоил «хитрым своим советом, своей рукою чуть иного не пустил таскаться с сумою, да еще мало и той показалось злости, начал поносить, что он мот в карты и кости» (стихи 25—28); про Зоила были распущены не соответствовавшие действительно слухи о его смерти (стихи 31—36). Герой сатиры обидел автора (стих 40), причем дело шло о чести последнего (стихи 42—43).⁶³ Вместе с тем Зоил «рожден благороден, разумом

⁶³ Ср. в примечаниях к сатире «На Зоила»: «Когда автор сей сатиры обижен стал быть безвинно Зоилом, тогда написал сию (...), чтоб...» чувствительно показать, как всякая обида в чести несносна бывает» (Антиох Кантемир, Собрание стихотворений, стр. 192).

доволен», он «изобилует во всем, разных искусств полон», у него «есть благонравные дети» (стихи 45—47). Больше того, Зоил «кому друг — там услуги, там честь, там и верность» (стих 51). В примечаниях Кантемир открыто говорит, что Зоил — «знатная персона», что, исправившись, он мог бы сделать честь российской нации».

Мы слишком мало и плохо знаем в конкретно-бытовом отношении эпоху Кантемира, чтобы попытаться определить, кого из «знатных персон» конца 20-х годов XVIII в. имел в виду сатирик. Т. М. Глаголева писала: «Нам не удалось установить, кого именно изображает автор сатиры под именем «Зоила», но несомненно, что здесь он имеет в виду кого-то из своих личных врагов».⁶⁴ Исследовательница ничего не прибавила к тому, что известно из примечаний и текста самой сатиры.

Что сатира «На Зоила» относится ко времени до сатиры I, т. е. до 1729 г., видно из содержащихся в стихах 13—16 намеков, как нам кажется, на княгиню Ирину Долгорукову, принявшую в 1726 г. в Голландии католицизм и в 1728 г. вернувшуюся в Россию.⁶⁵ Вот эти стихи:

Если с печальна сердца страждет, лицо в поте —
«Почто с детьми та ходит в французском бармоте?»⁶⁶
Обняла уж их нужда и бедность без меры —
«Не пора ли им отстать католицкой веры?».

Нам могут возразить, что княгиня И. П. Долгорукая вовсе не впала в безмерную бедность. Но разве мы знаем в необходимой степени все подробности данной эпохи? И, кроме того, известно ли еще о ком-либо, кто бы в то время принял католичество? Все эти соображения заставляют нас считать, что в цитированных стихах отразились — может быть, не совершенно точно — слухи о «совращении» И. П. Долгорукой в католичество, и это может служить хронологическим признаком для датировки сатиры «На Зоила».

Подводя итоги, мы должны сказать, что рассмотренными в настоящей статье материалами не исчерпываются ни проблематика творчества раннего Кантемира, ни его биография

⁶⁴ Т. Глаголева. Материалы для полного собрания сочинений кн. А. Д. Кантемира, стр. 38 (или 214).

⁶⁵ И. А. Чистович. Феофан Прокопович и его время, стр. 372—373.

⁶⁶ Слово «бармот» отсутствует во всех русских и французских словарях XVII—XX вв. По мнению проф. Марсель Эрар (Лион), это испорченное слово «*barbotte*», означающее женский головной убор 20-х годов XVIII в. Приношу коллеге Эрар благодарность за данное пояснение

в период с 1726 по 1729 г. И то, и другое предстоит еще углубленно изучать. Однако важнейшей задачей следует считать выяснение вопроса о том, как и почему молодой поэт от эпиграмм и «портретных» сатир перешел к большим художественным обобщениям, определившим его место в истории русской литературы и общественной мысли.





З И. ГЕРШКОВИЧ

ОБ ИДЕЙНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЭВОЛЮЦИИ А. Д. КАНТЕМИРА

(По данным творческой истории сатир)

Проблема идейно-художественной эволюции Кантемира-сатирика занимала исследователей и прежде. Тем не менее правильного решения данной проблемы не было найдено.

Еще в дореволюционную эпоху буржуазно-дворянские исследователи создали концепцию идейного и творческого развития Кантемира, согласно которой его литературная и научно-философская деятельность распадается на два резко противопоставленных друг другу периода — русский (1729—1731) и заграничный (1732—1744). Сравнивая оба эти периода, сторонники указанной концепции настойчиво стремились доказать, будто бы Кантемир во второй, заграничный период отказался от острой социальной критики, которая была характерна для его творческой деятельности в России, и совершил крутой сдвиг «вправо», предавшись отвлеченному морализаторству в духе горацианской философии «золотой середины».

В связи с изложенной схемой идейного развития Кантемира находится и господствующее в науке представление о различии «русских» и «заграничных» сатир в художественном отношении. Выдвинутое еще В. А. Жуковским деление сатир Кантемира на «философические» и «живописные» использовалось, например, Л. В. Пумпянским в качестве критерия для классификации сатир по их художественным особенностям, причем сатиры, написанные в России, оказывались отнесенными к разряду «живописных», а все «заграничные» сатиры — к разряду «философических». Таким образом, сатиры русского и заграничного периодов противопоставлялись исследователем не только в идейном, но и в художественном

отношении и соответственно делался вывод о спаде художественного мастерства Кантемира в заграничный период.

В статье «К вопросу об эволюции мировоззрения и творчества А. Д. Кантемира», анализируя проблему так называемой девятой сатиры, я уже указывал на несостоятельность традиционной схемы идейно-творческого развития сатирика и приводил ряд фактов, опровергающих ее.¹

В настоящей статье имеется в виду развить и конкретизировать выдвинутую в предыдущей статье концепцию идейно-художественного развития Кантемира. С этой целью привлекаются данные творческой истории первых пяти сатир, написанных Кантемиром в России и затем многократно и существенно им перерабатывавшихся в бытность его за границей.

Анализ творческой истории названных сатир позволяет проследить во всей конкретности основные тенденции в развитии мировоззрения сатирика, определить с объективной достоверностью характер и направление его идейной эволюции.

1

Литературное наследство Кантемира до настоящего времени не подвергалось специальному текстологическому анализу. Все суждения, встречающиеся на этот счет в работах о Кантемире, поверхностны, неточны, а зачастую ошибочны. Это обстоятельство послужило одной из причин утверждения в науке ложных взглядов на творческую историю сатир, на характер и направление идейно-творческой эволюции сатирика.

Не имея возможности в рамках данной статьи подробно останавливаться на истории создания сатир, как она представляется на основе исследования многочисленных рукописных источников, я приведу лишь основные выводы этого исследования.²

До сих пор считалось, что первые пять сатир имели две редакции текста: первоначальную, созданную сатириком в период его пребывания в России (1729—1731), и оконч-

¹ Сб. «XVIII век», вып. 3, Изд. АН СССР, М.—Л., 1958, стр. 44—64. Здесь же дан обзор высказываний предшествующих исследователей по поводу идейной эволюции Кантемира (стр. 59—60).

² См. об этом также в моих комментариях к изданию: Антиох Кантемир. Собрание стихотворений. Библиотека поэта, Большая серия, изд. «Советский писатель», Л., 1956, стр. 501 и сл. В дальнейшем ссылки на это издание будут даваться непосредственно в тексте с указанием страницы или стихов соответствующей сатиры.

чателъную, оформленную им за границей к началу 1743 г. Обнаруженный в библиотеке АН СССР в Ленинграде (Ф. I, оп. I, № 22) уникальный список, содержащий одну только I сатиру, свидетельствует о том, что эта сатира имела более ранний текст, чем тот, какой представлен в так называемой первоначальной редакции. Как показывает анализ сохранившихся списков произведений Кантемира, существовал более ранний текст и II сатиры, отличавшийся от так называемой первоначальной редакции, но, к сожалению, не дошедший до нас.³

Указанные факты приводят к заключению, что эта первоначальная редакция является результатом переработки более раннего текста сатир (по крайней мере первых двух), итогом определенного этапа творческой работы Кантемира, завершившегося в конце 1731 г. (чтобы не вносить разноречия в установленные наименования, сохраняем за этой редакцией название первоначальной).

Кроме того, с несомненностью можно утверждать, что между первоначальной и окончательной редакциями были еще две посредствующие редакции, о существовании которых не было известно в литературе. Судить об этих двух промежуточных редакциях можно по уцелевшим отрывкам из рукописного сборника сочинений Кантемира, хранящимся в Государственной Публичной библиотеке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина.

Как удалось установить, дошедшие до нас отрывки восходят к рукописи, представленной П. А. Курбатовым в 1811 г. в Общество любителей российской словесности при Московском университете (почему она и будет называться в дальнейшем Курбатовской рукописью). В протоколах этого Общества сохранился отзыв А. Ф. Мерзлякова, позволяющий судить о состоянии и составе указанной рукописи в 1811 г.

Палеографическое и текстологическое исследование дошедших до нас отрывков выявило две самостоятельные промежуточные редакции I, II, III и V сатир Кантемира. Первую из этих редакций составляет основной массив сатирического текста Курбатовской рукописи, без пометок, вставок и поправок, произведенных Кантемиром. Это — основной текст данной рукописи, именуемый I Курбатовской редакцией. II Курбатовскую редакцию составляет основной текст, измененный

³ Статья была уже в печати, когда мне удалось обнаружить более ранний, чем «первоначальная редакция» текст II сатиры. Сообщение об этом подготовлено мною для опубликования в очередном выпуске сб. «XVIII век».

в соответствии с авторскими пометками, поправками и вставками.⁴

Судя по всем данным, I Курбатовская редакция оформилась окончательно в октябре—ноябре 1740 г., до смерти Анны Иоанновны, II Курбатовская редакция — в первые месяцы царствования Елизаветы Петровны, по всей вероятности, около середины 1742 г.

Текст Курбатовской рукописи как в первой, так и во второй редакции существенно отличается от известных до сих пор редакций — первоначальной и окончательной. По сравнению с первоначальной редакцией в Курбатовской рукописи сатирические обличения приняли более острый характер, критика социальных пороков стала более глубокой и резкой, хотя и не достигла такой силы и глубины, как в окончательном тексте.

Выявленные три новые редакции — самая ранняя и две промежуточные — позволяют более конкретно и с большей полнотой осветить творческую историю сатир Кантемира, а соответственно и идейно-художественную эволюцию сатирика.

2

Для правильного суждения об эволюции Кантемира следует в первую очередь принять во внимание творческую историю V сатиры, написанной в России, но затем коренным образом переработанной за границей.

Предшествующие исследователи, не вникнув должным образом в творческую историю этой сатиры, не учитывая всей глубины и кардинальности ее перестройки, из чисто формальных соображений рассматривали окончательный текст ее лишь как новую редакцию старой, написанной еще в России сатиры и не включали ее в группу «заграничных» сатир.

Напомню собственное признание Кантемира, содержащееся в Курбатовской рукописи, где сатирик прямо указывает, что в результате переработки, последовавшей в 1737 г., «как основание, так и содержание» этой сатиры стало «совсем ново».

⁴ В свое время Т. Глаголева исследовала отрывки I, II, V сатир (отрывки III сатиры ей не были известны) и пришла к заключению, что «весь текст сатир представляет собой сочетание первоначальной и окончательной редакций» (Т. Глаголева. Материалы для полного собрания сочинений кн. А. Д. Кантемира. СПб., 1906, стр. 7). В действительности же более детальный анализ обнаружил две самостоятельные редакции, отражающие одновременные этапы работы сатирика.

В первоначальной редакции Кантемир, стремясь доказать, что человек «не только глупее всех скотов, но еще злее всех зверей и дичее всякого уroda, которого бы ум вымыслить мог» (стр. 515), строил весь сюжет сатиры на противопоставлении «злонравных» качеств людей свойствам животных. Эти настойчиво проводимые параллели ослабляли социальное звучание сатиры: пороки злонравных воспринимались как родовые признаки человечества вообще, а не как качества, порожденные определенными общественными причинами. В этом отношении особенно показательны рассуждения Кантемира о происхождении и значении законов:

Если б не зол человек, на что бы уставы?
 Законы уставлены, чтоб исправить нравы
 И удержать склонность к злу, что нам с детства сродно;
 Нужда сделала закон: а то б, ей! несходно
 То самое исправлять, что право собою.

(Стихи 201—204).

Итак, законы были созданы из нужды «удержать склонность к злу», «сродную» человеку.

Эта общая концепция первоначальной редакции наложила свою печать на все содержание сатиры и ее художественные особенности. Большинство изображенных персонажей обрисовано чрезвычайно отвлеченно; за немногим исключением, они почти совершенно лишены каких-либо национально-исторических черт. Пороки, обличаемые сатириком, раскрываются им преимущественно в абстрактно-этическом аспекте.

В новом тексте V сатиры Кантемир фактически отказался от общей концепции первоначальной редакции и сделал мишенью своих обличений не человеческий род вообще (что было отражено прежде и в самом заглавии — «На человека»),⁵ а «человеческие злонравия вообще» (ср. новое заглавие сатиры). Он совершенно отказался и от прежней сюжетной схемы сатиры, построенной на невыгодном для человека сравнении его со всякими «скотами».

И хотя в новом тексте обличение человеческого «злонравия» вкладывается автором в уста мифологического персонажа — Сатира, однако здесь нет упора на сопоставление человеческих свойств со свойствами животных, нет тенденции рассмат-

⁵ Показательно, что Кантемир счел необходимым предпослать первоначальной редакции V сатиры «Предисловие», в котором разъяснял: «Мои стихи хотя под общим именем на человека устремляются, однако ж доброго гораздо от злого различают». Однако в самом тексте сатиры такое различие фактически не проведено. Намерение автора и творческое воплощение оказались несогласованными, что и вызвало необходимость специального разъяснения в «Предисловии».

ривать пороки, свойственные людям, как следствие греховности всего человеческого рода. Наоборот, когда Сатир, удрученный предшествующим опытом своего общения со злонравными людьми, гонит от себя Периерга, опасаясь, что тот, как представитель человеческого рода, готовит ему какие-нибудь козни, Кантемир заставляет Периерга произнести следующую тираду:

... Неправо худое,
 Не зная меня, обо мне мнение имеешь,
 Когда мысль мою и нрав ты уразумеешь,
 Не скажешь, что люди все меж собою сходны.
 Я сам знаю, что весьма в нашем роде плодны
 Недостатки и много есть чего гнушаться;
 Люблю ж добрых, а злых тшусь людей удаляться.

(Стихи 26—32).

Таким образом, уже в начале сатиры Кантемир предупреждает против огульного обвинения всего человеческого рода. Этим снимался тот налет мизантропизма, который, вопреки намерению сатирика, сказывался в первоначальной редакции и существенно ослаблял ее социальное звучание.

В окончательном тексте Кантемир не воспроизвел своих рассуждений, основанных на библейской истории грехопадения Адама и Евы, и вообще выбросил всякое упоминание о первородном грехе, тяготеющем будто бы над людьми, и о прирожденной их склонности к злу. Ответственность за порок была возвращена самим «злонравным». Вместе с исключением рассказа о грехопадении Адама и Евы Кантемир удалил также содержавшиеся в первоначальном тексте выпады против материалистов-безбожников.

В свое время В. Я. Стоюнин, характеризуя мировоззрение Кантемира, ссылаясь на этот выпад против атеистов, содержащийся в первоначальном тексте, но не указывая, что в окончательном тексте Кантемир исключил это место. В рассуждениях Стоюнина имеется одна важная деталь. Как известно, первоначальная редакция V сатиры, по собственному признанию Кантемира, «почти вся сделана в подражание Боаловой сатиры VIII-й». Стоюнин, зная об этом признании Кантемира, предварительно попытался выяснить, содержится ли указанный выше выпад против атеистов в сатире Буало. Поскольку у французского сатирика его не оказалось, Стоюнин заключил, что этот выпад сделан Кантемиром самостоятельно и поэтому может быть привлечен для характеристики мировоззрения русского сатирика.⁶ Все это так, но

⁶ Владимир Стоюнин. О преподавании русской литературы. СПб., 1864, стр. 218—220.

в заключении Стоюнина содержится только часть истины. Другая же часть, и притом очень существенная, исследователем обойдена.

В примечании к окончательному тексту Кантемир указывает, что причиной, побудившей его переработать сатиру, была подражательность ее первоначальной редакции. Если бы нападки против материалистов имели своим источником сатиру Буало, то исключение их из окончательного текста не было бы примечательно: они разделили бы общую участь со многими другими стихами сатиры, заимствованными у Буало. Но тот факт, что эти нападки принадлежали самому Кантемиру и тем не менее были им исключены при переработке сатиры, представляет собой явление в высшей степени знаменательное. Поэтому для характеристики мировоззрения Кантемира и его эволюции гораздо важнее подчеркнуть тот факт, что Кантемир отказался впоследствии от нападков на материализм (атеизм), чем то, что эти нападки прежде имели место.⁷

Разумеется, из сказанного было бы неверно заключить, что, отказавшись от выпадов против материализма, Кантемир сам стал материалистом и атеистом. Этот отказ говорит лишь о том, что углубленные занятия естествознанием и философией, видимо, поколебали его прежнюю убежденность в ложности материалистического учения о том, «что весь свет сделался сам собою и движется такожде» (стр. 521). Оставаясь деистом и, следовательно, продолжая признавать бога в качестве творца мира, Кантемир все более и более отвлекался от проблемы сущности бога, сосредоточивая все свое внимание на изучении естественных законов «натуры». Он пришел фактически к теории двойственности истины, типичной для раннепросветительской эпохи.

В этом отношении мировоззрение Кантемира развивалось в том же направлении, которое позднее привело Ломоносова к естественнонаучному материализму.

В обрисовке сатирических персонажей Кантемир в окончательном тексте V сатиры достигает большой обобщающей силы и социальной остроты. Обличаемый порок предстает теперь перед читателем значительно конкретнее в своей социальной и исторической обусловленности.

Несомненно, одним из самых ярких мест в сатире является изображенная Кантемиром картина всеобщего пьянства в день святого Николая. Обычно это место приводится иссле-

⁷ Факт исключения выпадов против материализма не является единственным у Кантемира. Так, например, в первоначальной редакции III сатиры содержался выпад против атомистики Эпикура как богопротивного учения; в окончательной редакции этот выпад также исчез.

дователями в качестве образца реалистического бытописания Кантемира. Почти во всех учебниках это место цитируется как показатель низкого уровня нравов, характерных для современной сатирику русской действительности. Однако такая оценка является односторонней, неполной. Она создает впечатление, будто Кантемир с чисто бытописательской целью решил показать «картину нравов» своего времени.

Между тем в сатире картина всеобщего пьянства не играет самодовлеющей роли. Ее нельзя рассматривать обособленно, вне связи с последующим текстом. Действительно, мастерски нарисованная картина пьяного разгула служит здесь только отправным моментом для обличения весьма колоритно изображенного ханжи-целовальника, который на словах сокрушается по поводу низкого нравственного уровня народа, предающегося пьянству, а сам наживается на этом пороке, продавая вино и притом еще сильно разбавляя его водой. Вот как автор устами Сатира обличает этого богомольного целовальника:

Вино должен перевесть, кто пьяных не любит!
А ты, вино продая, пьяных осуждаешь,
К тому же вседневно ты народ весь прельщаешь,
Кой, душе веря твоей, ценой покупает
С вином воду, что с реки даром достать знает.
(Стихи 309—318).

Кантемир показывает, что не одни только целовальники кормятся вокруг этого промысла. В ответ на обличения Сатира по поводу разбавления вина водой целовальник отвечает:

Кроме того, что товар дорог мне приходит
В лавку, сколько, знаешь ли, в подарках исходит
Судье, дьяку и писцу, кои пишут, правят
И крепят указы мне? и сколько заставят
В башмаках одних избить, пока те достану?
Сколько ж даром испою Сеньке и Ивану,
Ходакам, и их слугам,⁸ что и спят с стаканом?
Неужто ж мне бог велит торговать с изъямом?
(Стихи 327—334).

Таким образом, речь идет о целой системе общественных групп, заинтересованных в укоренении порока, который служит для них «питательной почвой». Такого социального поворота традиционной темы обличения пьянства русская литература до Кантемира не знала.

Особенно показательны в этом отношении образы временщиков. Должно заметить, что они становятся объектом сатиры Кантемира только в заграничный период. В «русских» сатирах первоначальной редакции нет ни одного намека на

⁸ Здесь понимаются полицейские служители.

этот счет.⁹ Изображение фаворитизма дано в окончательном тексте сатиры V весьма широко и притом именно в социальном, а не в отвлеченно-этическом плане. Характерно, что Кантемир выводит здесь три различных по своим нравственным чертам, но единых по своей социальной сущности образа временщиков — Хирона, Ксенона и Макара, подчеркивая тем самым, что дело не в их индивидуальных свойствах, а в политической системе, порождающей фаворитизм.

Критика фаворитизма, как известно, раздавалась и «справа», из лагеря консервативного родовитого дворянства. Но если эта критика осуждала временщиков за их «худородие», а фаворитизм — за то, что он нарушал еще сохранившееся местничество, то Кантемир обличает это явление с иных социальных позиций.

Общей чертой в образах временщиков является не их «подлое» происхождение, а их культурное ничтожество и моральная порочность, их несоответствие занятому положению. Они осуждаются за худые личные качества, а вся система фаворитизма подвергается критике за то, что она приводит к власти не достойнейших по своим способностям людей, а случайных проходимцев, волею случая и каприза возведенных на высшую ступень. При всей ограниченности этой критики она все же имела прогрессивное значение, исходила из патриотических чувств сатирика, понимавшего вред фаворитизма для русского государства. Обличая фаворитизм, Кантемир непосредственно целил во временщиков, а фактически направлял свои стрелы выше и задевал не названных, но подразумеваемых носителей верховной власти, определявших своим произволом выбор «персон в случае».

Введением образов временщиков в окончательный текст V сатиры Кантемир, видимо, хотел воздействовать на Елизавету Петровну, с восшествием на престол которой сатирик связывал на первых порах свои надежды на возрождение петровских традиций.

Хотя Кантемир, видимо, не хотел создавать полного сходства с прототипами, все же, если судить по основным чертам каждого из выведенных им образов, нетрудно увидеть в них Меньшикова — в образе Хирона, надменного гордеца, ограбившего казну; Ивана Долгорукова — в образе Ксенона, кстати, почти точно воспроизводившего прототип с его страстью к охоте, дерзостью, похотливостью и т. п.; и, наконец, Бирона — в образе Макара, вчера еще никому не известного

⁹ См. также образ временщика в окончательной редакции II сатиры (стихи 45—60), отсутствовавший в первоначальном тексте.

грубого и бессовестного невежды («годен лишь дрова рубить или таскать воду»), позднее оказавшегося в сибирской ссылке («между соболями»). Желая, вероятно, следовать исторической правде, Кантемир в одной сатире вывел сразу трех временщиков, в определенной последовательности сменяющих друг друга, соответственно реальной смене исторических прототипов. Следовательно, Кантемир имел в виду здесь сатирически обличить не вообще фаворитизм, а именно конкретные формы и примеры его проявления в России, возбудить негодование против этой политической язвы абсолютистской монархии, преподать «урок царям». Эти изменения текста V сатиры, их смысл и направление бесспорно убеждают в том, что в окончательном тексте философское и политическое мышление Кантемира поднялось на значительно более высокую ступень по сравнению с первоначальной реакцией, что Кантемир эволюционировал не «вправо», а «влево».

3

Творческая история остальных «русских» сатир, подвергшихся за границей меньшей переработке, чем V, вполне подтверждает сделанные прежде выводы относительно идейно-творческой эволюции Кантемира.

Обратимся к анализу творческой истории I сатиры «На хулящих учение». Не останавливаясь подробно из-за недостатка места на посредствующих этапах творческой работы Кантемира над I сатирой, сравним ее первоначальную редакцию с окончательным текстом, который вобрал в себя переработки, отраженные в промежуточных редакциях Курбатовской рукописи.

По сравнению с первоначальной редакцией в окончательной резко усиливается обличение представителей «священного чина» как наиболее ярких и упорных противников просвещения. Вводя новый образ ханжи Критона (отсутствовавший не только в тексте первоначальной редакции, но и в Курбатовской рукописи), Кантемир значительно глубже, чем прежде, раскрывает причины враждебного отношения духовенства к просвещению.

В распространении наук Критон видит прежде всего угрозу духовному престижу церкви:

Теперь, к церкви соблазну библию честь стали,
Толкуют, всему хотят знать повод, причину,
Мало веры подая священному чину.

(Стихи 33—35).

Однако больше всего его тревожит то, что

Мирскую в церковных власть руках лишну чают,
Шепча, что тем, что мирской жизни уж отстали,
Поместья и вотчины весьма не пристали

(Стихи 38—40).

В рассуждениях Критона Кантемир подчеркивает не столько психологические и нравственные, сколько экономические и политические мотивы, побуждавшие церковников выступить против «зловредного» «семени наук».

В этом же плане следует рассматривать и введение в сатиру еще одного персонажа, отсутствовавшего в первоначальной редакции, — судьи. Этот образ появился уже в Курбатовской рукописи и оттуда перешел в окончательную редакцию почти без изменений:

Хочешь ли судьей стать — вздень перук с узлами,
Брани того, кто просит с пустыми руками;
Твердо сердце бедных пусть слезы презирает,
Спи на стуле, когда дьяк выписку читает.
Если ж кто вспомнит тебе граждански уставы,
Иль естественный закон, иль народны нравы —
Плюнь ему в рожу, скажи, что врет околесну,
Налагая на судей ту тягость несносну,
Что подъячим должно лезть на бумажны горы,
А судье довольно знать крепить приговоры.

(Стихи 147—156).

Как видим, и здесь Кантемир изобличает социальную подоплеку обскурантистской позиции гонителей наук (на этот раз из числа представителей мирской власти), чего не было в должной мере сделано в первоначальной редакции.

Таким образом, введение новых персонажей несомненно усилило обличительный пафос сатиры, придало ей большую политическую остроту по сравнению с первоначальной редакцией.

Вот еще пример. В первоначальной редакции Кантемир вывел образ «завистного», который «видя в ином, что сам не имеет, Вредный нося в сердце яд, злы плевелы сеет», стремясь «семя наук учинить бесплодно». В Курбатовской рукописи характеристика этого персонажа несколько изменилась: из «завистного» он превратился в «злого плута», при этом содержание его речей осталось в основном прежним. Такая переработка не имела принципиального значения: как и прежде, образ трактовался исключительно с нравственно-характерологической точки зрения. Коренное изменение — и очень показательное — произошло лишь в окончательной ре-

дакции. Здесь этот персонаж, получивший имя Сильвана, выступает уже не просто как абстрактный носитель того или иного нравственного порока, а прежде всего как представитель определенной общественной группы. «Под именем Сильвана, — заявляет Кантемир в автокомментариях окончательной редакции, — означен старинный скупой дворянин, который об одном своем поместье радеет, осуждая то, что распространению его доходов не служит» (стр. 63). В речах Сильвана появляются новые аргументы против науки, подчеркивающие социальную обусловленность его позиции:

... кто в поту томится дни целы,
 Чтоб строй мира и вещей выведать премену
 Иль причину, — глупо он лепит горох в стену.
 Прирастет ли мне с того день к жизни иль в ящик
 Хотя грош? Могу ль чрез то узнать, что приказчик,
 Что дворецкий крадет в год? как прибавить воду
 В мой пруд? как бочек число с винного заводу?

(Стихи 53—58).

Сравнительный анализ текста различных редакций I сатиры выявляет весьма показательные изменения философских, точнее философско-религиозных, воззрений Кантемира. В первоначальной редакции Кантемир, излагая рассуждения «завистного» о бесплодии наук, писал:

Силы духов и души разыскать пределы —
 Напрасно время тратить, хотя между делы;
 Бога неприлично есть свойства испытати:
 Каков бог — что нужно знать? полно признавати.

(Стихи 77—80).

В Курбатовской рукописи мы находим лишь незначительные стилистические варианты этих же стихов. В окончательной же редакции произошли весьма существенные преобразования:

С ума сошел, кто души силу и пределы
 Испытает; кто в поту томится дни целы,
 Чтоб строй мира и вещей выведать премену
 Иль причину, — глупо он лепит горох в стену.

(Стихи 51—54).

Если в первоначальной редакции Кантемир еще считал «силы духов» и «свойства бога» объектами научного познания, то в окончательной редакции он расстаётся с подобными представлениями, проводя резче и определеннее разграничительную линию между наукой и верой. Для более глубокого пони-

мания смысла этой переработки важно учесть, что именно разумел Кантемир под знанием «свойств бога». Об этом предельно ясно говорится в примечании к стиху 36 первоначальной редакции: «Знать бога и признавать его — несколько, по моему мнению, между собою разнят. Всяк православный признает бога; но очень мало знают его, т. е. ведают его свойства, лиц св. троицы разделение и прочая, для истинного бога знания нужные известия» (стр. 503).

В окончательной редакции это примечание вместе с комментируемым стихом тоже было изъято. Видимо, Кантемир к концу жизни не считал уже столь важным «знать бога»; ему теперь представлялось гораздо более необходимым «строить мира и вещей выведать премену иль причину». Теперь Кантемир решительно уклонялся от теологического объяснения естественных явлений, от теистической апелляции к провидению. В аргументации сатирика остались лишь одни доводы «от науки», ссылки на естественные, а не на сверхъестественные причины, что уже наблюдалось нами в процессе анализа переработок V сатиры.

4

II сатира представляет собой одно из самых значительных в социальном отношении произведений Кантемира. Уже в первоначальной редакции этой сатиры явственно определялась его позиция как защитника петровских преобразований. Выступая с апологией петровской табели о рангах и лежащего в ее основе принципа предпочтения личных заслуг перед одной древностью рода, Кантемир с дерзкой смелостью обличает многочисленные пороки, присущие дворянскому классу. Разумеется, в этих обличениях Кантемир не выходит за рамки идеологии своего класса. Но его критика, направленная против тунеядства и косности, своекорыстия и сословного эгоизма дворянства, имела прогрессивное значение и положила начало одной из лучших традиций передовой русской литературы.

Буржуазно-дворянское литературоведение пыталось вывести генезис авторской идеи II сатиры из литературных источников западно-европейского происхождения. Так, например, В. Я. Стоюнин в своем критико-биографическом очерке о Кантемире писал, имея в виду II сатиру: «В своей сатире он сводит русскую действительность с теми новыми идеалами, которые у него выработались на основании морали, развитой европейскими писателями. Эта мораль, разумеется, резко противоречит старым взглядам на жизнь и тем нравственным

правилам, каких у нас еще держались по старине».¹⁰ Отсюда следует, что русская действительность, отраженная в этой сатире, якобы представлена сатириком целиком как начало отрицательное, косное, рутинное. Что же касается положительного начала, то оно, судя по словам Стоюнина, не имело почвы в русской действительности и чисто механически заимствовало сатириком из западноевропейских литературных источников.

Но в сатире Кантемира нет столкновения косной русской действительности и передовой европейской морали. В сатире, в полном соответствии с историческими тенденциями после петровской эпохи, представлено столкновение консервативных и прогрессивных сил, выросших в одинаковой степени на русской почве. Противопоставляя в своей сатире дворян, кичащихся древностью своих родов и заслугами своих предков, новым людям, личными заслугами и достоинствами добившихся высокого положения, Кантемир отразил реальное явление русской общественной жизни в современную ему эпоху.

II сатира проникнута высоким патриотическим пафосом. Для сатирика мера достоинства человека определяется пользой, приносимой им отечеству. Всяких похвал достоин лишь тот, кто «пóтом и мозольми в пользу отечества» трудится. Именно с этих благородных позиций Кантемир обличает ничемность, паразитизм и эгоистическое своекорыстие тех дворян, чьи нравы «ни отечеству добры, ни в людях приятны»

Кантемир едва ли не первый в русской литературе осудил свойственное господствующей верхушке дворянства слепое преклонение перед иноземным. В числе пороков «злонравного» дворянина, выведенного в сатире, Кантемир с едким сарказмом отмечает и такую черту, как внешнее подражание иностранной моде:

Долголетнего пути в краях чужестранных,
Издивений и трудов тяжких и пространных
Дивный плод ты произнес. Ущербя пожитки,
Понял, что фалды должны тверды быть, не жидки,
В пол-аршина глубоки и ситой подшиты.¹¹

(Стихи 167—171).

Не случайно именно в предисловии к этой сатире (в первоначальной редакции) Кантемир делает известное заявление

¹⁰ Сочинения, письма и избранные переводы князя Антиоха Дмитриевича Кантемира... (Редакция П. А. Ефремова), т. I, СПб., 1867, стр. LI.

¹¹ Мы цитируем здесь текст окончательной редакции, который в этом месте лишь стилистически отличается от первоначального текста (см. стихи 221—225).

о себе как писателе, который пишет по долгу гражданина, «отбивая все то, что согражданам... вредно быть может».

Эти черты, свойственные II сатире в первоначальной редакции, не только сохранились, но и были развиты в окончательной редакции. Здесь значительно резче и определеннее звучал мотив «естественного» равенства людей, независимо от их социального положения. Причем если в первоначальной редакции речь шла лишь о равенстве знатных и незнатных (без дальнейшей конкретизации социального положения), о необходимости предпочтения личных заслуг перед «породой», то в окончательной редакции этот мотив политически заостряется. Теперь Кантемир уже прямо говорит о «естественном» равенстве дворянина (и вообще «свободного») с «холопом»:

. . . Та же и в свободных
И в холопах течет кровь, та же плоть, те ж кости
Буквы, к нашим именам приданные, злости
Наши не могут прикрыть.

(Стихи 108—111).

Этих стихов в первоначальной редакции, а также в промежуточных редакциях Курбатовской рукописи не было. Конечно, из этого заявления не следует заключать, будто Кантемир стал антикрепостником. Он был ограничен не только классовыми рамками, но и историческими условиями. Тем не менее как лучший представитель дворянской интеллигенции своей эпохи Кантемир, исходя из своего понимания «естественного» равенства, выразил протест против бесчеловечно-жестокое обращение дворян с «холопами», возвысил свой голос в защиту гуманного отношения к народу.

Обращаясь к Евгению, Кантемир в следующих словах клеймит его жестокое обращение с крепостными:

Бедных слезы пред тобой льются, пока злобно
Ты смеешься нищете; каменный душою,
Бьешь холопа до крови, что махнул рукою
Вместо правой—левою (зверям лишь прилична
Жадность крови, плоть в слуге твоей одиночна).¹²

(Стихи 288—293).

Приведенные стихи (их также не было в первоначальной редакции) привлекли к себе внимание Белинского, процити-

¹² Ср. также стихи 244—245. Обличая трусость Дворянина, Кантемир иронически замечает

Один холоп лишь твою храбрость искушает,
Что один он отвечать тебе не посмеет

Стихи эти также вставлены Кантемиром в окончательный текст.

ровавшего их в своей статье о Кантемире как торжественное и неопровержимое доказательство того, «что наша литература, даже в самом начале ее, была провозвестницей для общества всех благородных чувств, всех высоких понятий. Да, она умела не только льстить, но и выговаривать святые истины о человеческом достоинстве».¹³

Показательна также следующая переработка первоначального текста, где Аретофил обращается к Дворянину (в окончательной редакции Филарет к Евгению) с вопросами:

Первоначальная редакция (стихи 123—128)	Окончательная редакция (стихи 88—96)
Победил ли сам враги? Дал пользу народу?	Презрев покой, снес ли ты сам труды военны?
Устрашил ли действиями Нептуна власть-воду?	Разогнал ли пред собой враги устрашенны?
Сокровища ль царские тобой умножены?	К безопасности общества расширил ли власти?
Презрев покой, подъял ли сам труды военны?	Нашей рубеж? Суд судя, забыл ли ты страсти?
Иль коли случай, младость в том че допустила,	<i>Облегчил ли тяжкие подати народу?</i>
Впредь в том показать себя есть ли ум и сила?	Приложил ли к царскому что ни есть доходу?
	<i>Бедных жалки ли тебе слезы и докуки?</i>
	Не завистлив, ласков, прав, не гневлив, беззлобен,
	<i>Веришь ли, что всяк тебе человек подобен?</i>

Как видим, вместо несколько абстрактного вопроса: «Дал ли пользу народу?», Кантемир поставил более конкретный: «Облегчил ли тяжкие подати народу?». Остальные два выделенных курсивом стиха, появившиеся в окончательной редакции, показывают, что, с точки зрения Кантемира, добродетельным человеком является лишь тот, кто, во-первых, признает «естественное» равенство людей, а, во-вторых, проявляет гуманное отношение к «бедным».

Наконец, перечисляя достоинства судьи (стих 266 и далее), Кантемир ставит обязательное требование, чтобы тот считал равными в суде «богача и нищего с сумою», «пахаря и вельможу» (этого места вообще не было в первоначальной редакции).

Во всех этих переработках и вставках совершенно отчетливо обнаруживается определенная линия, сознательная тен-

¹³ В. Г. Белинский, Полное собрание сочинений, т. 8, Изд. АН СССР, М., 1955, стр. 624. В дальнейшем цитаты из этой статьи приводятся без ссылки на источник.

денция, а не случайный и единичный импульс авторской мысли. Эта тенденция не могла не отразиться и на общей идее произведения. Она действительно вызвала в сатире определенные изменения, также весьма показательные.

В первоначальной редакции проблема соотношения личных заслуг и «породы» решалась Кантемиром в том смысле, что при равных добродетелях предпочтение следует отдать родо-виту:

Признаю. . .

Что неправо заслуги забыты бывают

Предков, когда потомки в нравах успевают,

И в равном достоинстве что предпочесть должно

Благородного — спорить никому не можно.

(Стихи 91—96).

Эта концепция получила в авторских примечаниях весьма характерную мотивировку. Оказывается, что, согласно мнению почти всех «благорассудных политиков», при прочих равных условиях следует предпочесть «благородного», ибо «тот всегда лучше радит о общем интересе, который, ежели тому повреждение учинится, и он нечто потерять имеет, а благородные обычайно большие имения и владения в государстве имеют и потому с большим усердием и от внешних неприятелей защищают и внутренней того пользы ищут» (стр. 507). Это объяснение явно внушено сословными интересами, сужавшими мировоззрение Кантемира.

В окончательной редакции указанная концепция претерпела существенные изменения. Если прежде вслед за признанием несправедливости забвения «заслуг предков» («когда потомки в нравах успевают») следовало утверждение о предпочтении при прочих равных условиях «благородного» перед «худородным», то теперь последнее утверждение совсем исчезло, а вместо него появилось предупреждение о том, что не следует опираться на одни заслуги предков:

Знаю, что неправедно забыта бывает

Дедов служба, когда внук в нравах успевает,

Но бедно блудит наш ум, буде опираться

Станем мы на них одних. Столбы сокрушатся.

(Стихи 115—118).

Соответственно этой переработке было изъято и примечание, в котором Кантемир доказывал с ограниченно-сословных позиций, почему при прочих равных условиях нужно предпочесть «породу». Видимо, это положение перестало казаться Кантемиру таким, против которого «спорить никому не можно»,

Все развитие темы Кантемир в окончательной редакции сосредоточил на обосновании своего основного тезиса об оценке человека по его «персональным» качествам, о превосходстве «добродетели» над «благородством», не ослабляя его никакими оговорками. Больше того, он теперь иначе толкует и самое понятие «благородство», подчеркивая, что «разнится — потомком быть предков благородных или благородным быть» (стихи 107—108).

В результате всей этой переработки общая идея произведения приобрела большую социальную заостренность, позиция автора стала более четкой и определенной, сатирические обличения — более целеустремленными и резкими.

Следует подчеркнуть, что окончательная редакция II сатиры, столь значительно и существенно отличающаяся от первоначальной, имеет исключительное значение для определения общественно-политической позиции Кантемира, для оценки исторического значения его творчества.

Мы уже знаем, как оценил Белинский появившиеся в окончательной редакции II сатиры гневные обличения жестокостей крепостничества. Продолжая и развивая традиции революционно-демократической критики, большевистская «Правда» в 1912 г. прямо назвала имя Кантемира в числе лучших представителей русской литературы, чья деятельность в той или иной мере способствовала борьбе с позорным явлением — крепостничеством: «Начиная с Кантемира, Новикова, Радищева ... и кончая Некрасовым, Тургеневым, Салтыковым, Герценом и Чернышевским — все поработали здесь немало, все занесли свои имена в славную книгу «борцов с крепостной неволей».¹⁴

Из всего анализа творческой истории II сатиры явствует, что эта оценка вызвана именно окончательной редакцией и, безусловно, не могла бы быть сделана на основании первоначальной редакции произведения.

5

III и IV сатиры также претерпели значительную переработку, хотя она в малой степени коснулась идейной основы этих произведений. Можно отметить отдельные изменения, носящие идеологический характер, но они не столь глубоки и ярки, как в анализированных выше сатирах.

¹⁴ Правда, 1912, № 203. Цит. по: сб. «Дооктябрьская „Правда“ об искусстве и литературе», Гослитиздат, М., 1937, стр. 101.

Уже при сопоставлении редакций V сатиры нами отмечались факты исключения Кантемиром выпадов против «безбожников», материалистов. Переработка III сатиры представляет еще один аналогичный факт. В концовке сатиры в первоначальной редакции Кантемир указывал, что он и «малейшую часть страстей не успел описать». В числе «страстей», не описанных в сатире, Кантемир упоминал и о «проклятом безбожнике, без души, без веры. Иже волю за закон вменяет без меры» (стихи 333—334). В окончательной редакции эти стихи исчезли.¹⁵

Общая концепция первоначальной редакции IV сатиры сохранилась и в окончательной. Кантемир продолжает здесь отстаивать свое право на сатирическое творчество, отвергая иные направления, особенно панегирическое. Изменения коснулись лишь отдельных мест. Показательно дополнение, внесенное Кантемиром в мотивировку своего отказа слагать похвальные стихи:

Достойных, право, хвалить — не наших плеч бремя,
 К тому ж человекья жизнь редко однолична:
 Пока пишется кому похвала прилична,
 Добродетель его вся вдруг уж улетает,
 И смраден в пятнах глазам нашим представляет
 Себя, кто мало пред тем бел, как снег, казался.
 Куды тогда труд стихов моих уж девался?
 Пойду ль уже чучело искать я другое,
 Кому б тые прилепить? Иль, хотя иное

В нем вижу сердце, ему ж оставя, образу
 Себе в людях навлеку, кои больше глазу
 Верить станут своему, нежли моей бредни,
 Не меряя доброту по толпе в передни.

(Стихи 120—132).

Здесь важно не только указание на изменчивость человеческих свойств, но и выраженное в последних строках чувство авторской ответственности за правдивость изображаемого. Это характерно для творческой программы Кантемира. Он отвергает панегирический жанр не только потому, что нужно «ломать» «нрав» своей музы (этот мотив развивается в сатире вслед за цитированными строками), но и главным образом потому, что похвальный род стихов не позволяет верно, правдиво отражать действительность. В общей эстетической концепции Кантемира сатира выступает как едва ли не един-

¹⁵ Напомним, что из примечаний к III сатире был также исключен выпад против «богопротивного» учения Эпикура, о чем уже было сказано выше.

ственная форма, позволяющая верно воспроизводить правду жизни.

Проблемы идейно-эстетического порядка, ставившиеся в первоначальной редакции в некоторых случаях абстрактно, в окончательной редакции даются в автобиографическом преломлении. Ср., например:

Первоначальная редакция (стихи 103—106)	Окончательная редакция (стихи 105—112)
Колиж петь скучишь, можно причину сыскати	Вскинь глаза на прошлу жизнь мою и подробно
Печальное что писать; и что больше кстати	Исследуй. счастье ко мне ласково и злобно
Нам здесь, смертным, как печаль? Тужить не напрасно	Бывало, больше в своей злобе по- стоянно
Можем, приближаяся к смерти повсечасно.	Почерпнув довольну тут печаль, нечаянно
	Новым уж родом стихов наполним тетрати,
	Прилично чтецам своим: и что больше кстати
	Нам здесь, смертным, как печаль? Тужить не напрасно
	Можем, приближаяся к смерти повсечасно

Аналогичный пример виден из сопоставления стихов 135—139 первоначальной редакции и стихов 173—190 окончательной редакции.

В тех случаях, когда автобиографический элемент присутствовал и в первоначальной редакции, он иногда изменялся соответственно тому, как обогащался жизненный опыт автора. Так, в первоначальной редакции Кантемир отвергал любовную поэзию по той причине, что

... не смешон ли б я был, коль, любви не зная,
Хотел бы по Ирисе казаться здыхая;
А Ириса вымыслена — не видывал с роду;
Однак по ней то гореть, то топиться в воду,
И всечасно сказывать, что вот умираю,
Хоть сплю, ем сильно и в день ведро выпиваю.

(Стихи 129—134).

Позиция Кантемира ясна: он не может писать о том, что не волнует его, не занимает его, чего он «не знает».

В окончательной редакции, большая часть стихов которой написана Кантемиром, по его собственному признанию, в возрасте 32 лет (стр. 117), естественно не могло сохраниться мотива о «незнании любви». Но теперь изменилась точка зрения

поэта. Познав любовь, он все же отказывается слагать любовные песни:

Любовны песни писать, я чаю, тех дело,
 Коих столько ум не спел, сколько слабо тело
 (Стихи 151—152).

Вспоминая о сложенных им любовных песнях, «которые в России и теперь поются» (стр. 117), Кантемир заявляет: «Шуток тех минулося время» (стих 160). Он и здесь остается верен своему принципу — не отходить от жизненной правды, как он ее понимает.

6

Каковы причины, определившие прослеженную нами эволюцию мировоззрения и творчества Кантемира?

Творчество Кантемира теснейшим образом связано с действительностью. В его произведениях нашла свое отражение целая историческая эпоха с ее социальными, бытовыми и культурными особенностями. «Для меня, — писал Белинский, — Кантемир и Фонвизин (. . .) самые интересные писатели нашей литературы: они говорят мне не о заоблачных превыспренности по случаю площадных иллюминаций, а о живой действительности, исторически существовавшей, о нравах общества, которое так не похоже на наше общество, но которое было ему родным дедушкою».

Но Кантемир не был простым бытописателем или нравописателем своей эпохи. Тот же Белинский отмечал, что «Кантемир в своих стихах (. . .) публицист». Сатиры Кантемира явились выражением общественного самосознания передовой части русского общества послепетровской эпохи и острейшим оружием в современной политической и идеологической борьбе.

Поэтому понять эволюцию Кантемира и обусловившие ее причины можно только, рассматривая литературную деятельность первого русского сатирика в неразрывной связи с теми социальными, политическими изменениями, какие имели место в России с конца 20-х до середины 40-х годов XVIII в.

Являясь убежденным сторонником прогрессивных тенденций преобразовательной эпохи, воспевая «по влечению сердца (. . .) правительственные и общественные реформы Петра»,¹⁶ Кантемир со все возрастающей горечью и болью наблюдал,

¹⁶ Н. А. Добролюбов, Избранные сочинения, ГИХЛ, М.—Л., 1947, стр. 42.

как разрушались петровские установления, как бездарно и невежественно, во вред стране, правили Россией преемники и преемницы Петра, как усиливался политический произвол, как уменьшалась забота о развитии просвещения.

Впервые Кантемир со всюю силой ощутил этот разрыв с традициями Петровской эпохи в период олигархического правления «верховников», когда разгул политической и церковной реакции особенно резко контрастировал с недавним прошлым. В этот период Кантемир выступил со своими первыми сатирами — «На хулящих учение» и «На зависть и гордость дворян злонаравных», — самыми разящими в социальном отношении.

Последовавшие затем политические события, в которых Кантемир принял самое активное личное участие, — ликвидация «затейки» «верховников» и восстановление самодержавного правления — на первых порах внушили Кантемиру надежды на то, что при Анне Иоанновне будут возрождены петровские традиции. Написанные непосредственно вслед за этими событиями сатиры III, IV и V¹⁷ имеют по преимуществу абстрактно-морализаторский характер и, в сущности, лишены сколько-нибудь значительной социальной проблематики (за исключением, впрочем, IV сатиры, но в ней эта проблематика является отзвуком первых выступлений сатирика еще в период господства «верховников» и того резонанса, который имели эти выступления в русском обществе). Сатирическое творчество Кантемира приобретает теперь главным образом нравоописательный уклон и порою, как например в III сатире, снижается до простого характерологического упражнения в духе Феофраста и Лабрюйера.

Впрочем, Кантемир недолго тешил себя иллюзиями. Отрезвление произошло очень быстро, и уже в 1731 г. Кантемир, несомненно, убедился в том, что царствование Анны Иоанновны, обернувшееся деспотизмом и жестоким самодурством бироновщины, еще более усугубило разрыв с преобразовательскими начинаниями Петровского времени. Однако до отъезда за границу это убеждение Кантемира не получило еще должного выражения в его творчестве. Правда, в IV сатире, а также в общем пессимистическом тоне, каким проникнута V сатира, разочарование сатирика, безусловно, сказалось, но лишь как общее настроение, которое еще не вылилось в конкретные сатирические обличения.

Живые наблюдения над русской действительностью и придворной жизнью в первые годы царствования Анны Иоан-

¹⁷ Имеется в виду первоначальная редакция этих сатир.

новны, когда Кантемир находился еще в Москве, послужили ему тем источником впечатлений, которые впоследствии, в бытность его за границей, позволили ему углубить социальную проблематику сатир, заострить политический смысл обличений различных сторон тогдашней русской жизни.

К этому следует добавить, что, будучи за границей, Кантемир пристально следил за внутренней жизнью России, находясь в оживленной переписке со множеством лиц — переписке, которая, к сожалению, опубликована лишь в своей незначительной части.

Кантемир был осведомлен о всех событиях, происходивших в России. Патриотическое сознание сатирика, его просветительские идеалы, порожденные Петровской эпохой, глубоко уязвлялись каждым новым проявлением разнузданного деспотизма, бессмысленного и дикого произвола, грубости и обскурантизма, о котором он узнавал. Все это еще больше утверждало его в отрицательном отношении к бироновщине, к жестокостям и безрассудствам, сопровождавшим царствование Анны Иоанновны.

После пятилетнего перерыва (1732—1736) Кантемир за границей вновь принимается за перо — сначала за переработку некоторых старых сатир (например, сатиры V в 1737 г.), а затем и за создание новых.

Как можно судить по сохранившимся отрывкам Курбатовской рукописи, Кантемир при жизни Анны Иоанновны (напомним, что I редакция Курбатовской рукописи отражает состояние текста сатир к 1740 г.) еще не переделал старые сатиры столь основательно и радикально, как впоследствии, при оформлении окончательной редакции. Об этом, в частности, лучше всего можно судить по тексту I сатиры, почти полностью сохранившемуся в Курбатовской рукописи. При всех изменениях, произведенных Кантемиром, текст I сатиры по Курбатовской рукописи в идейно-политическом отношении мало отличается от первоначальной редакции. Выше мы имели возможность убедиться в том, насколько существенно Кантемир в окончательной редакции усилил социальное звучание этой сатиры не только по сравнению с первоначальной, но и с промежуточной ее редакцией по Курбатовской рукописи. Видимо, так же в основном обстояло дело и с остальными сатирами, о промежуточной редакции которых мы можем судить лишь по разрозненным отрывкам Курбатовской рукописи.

Все эти факты говорят о том, что радикальная перестройка сатир в известном уже нам направлении (при оформле-

нии окончательной редакции) произошла после смерти Анны Иоанновны, в царствование Елизаветы Петровны.

Из этого, однако, было бы неправильно заключить, что только после смерти Анны Иоанновны Кантемир пришел к решительной переоценке своего отношения к общественным и политическим условиям ее царствования. Совершенно бесспорно, что эта переоценка, начавшаяся у сатирика в России, оформилась у него за границей еще во время царствования Анны Иоанновны. И если все же это не нашло своего должного отражения в переработках старых сатир, то причина здесь кроется прежде всего в тактических соображениях, руководивших Кантемиром. Нисколько не преувеличивая прогрессивности идеологической позиции Кантемира, отдавая себе ясный отчет в ее исторической и классовой ограниченности, следует, однако, учесть, что социальные и исторические условия, в которых протекала деятельность Кантемира, вынуждали его прибегать к различным тактическим приемам, несомненно ослаблявшим и умерявшим силу его сатирических обличений. «Меня мой рок осудил писать осторожно», — с горечью замечает Кантемир в своей VIII сатире. Это признание сатирика нужно постоянно иметь в виду при оценке его творчества, точно так же как при оценке творчества прогрессивных русских писателей позднейшего времени приходится учитывать влияние цензурных условий.

В мае 1740 г. Кантемир отправил сборник своих сатир Хр. Гроссу в надежде на то, что тому через посредство Остермана удастся получить разрешение императрицы на их издание. Понятно, что, имея в виду представить свои сатиры на суд Анны Иоанновны, Кантемир не мог дать полную волю своим мыслям и чувствам. Именно этими тактическими мотивами мы объясняем то обстоятельство, что в промежуточной редакции сатир, создававшейся в период царствования Анны Иоанновны, не произошло еще столь глубоких и существенных изменений, как впоследствии, при оформлении окончательной редакции. Здесь несомненно имеет место некоторое несоответствие между социально-политическими взглядами Кантемира и их отражением в творчестве.

Чем же объяснить «проявление» этих взглядов в окончательной редакции? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо обратиться к событиям внутривнутриполитической жизни России в начале 40-х годов XVIII в. После смерти Анны Иоанновны и недолгого правления Анны Леопольдовны на престол в конце 1741 г. в результате дворцового переворота взошла Елизавета Петровна. С этим событием Кантемир несомненно связывал надежду на то, что Россия вновь станет на путь, ука-

занный ей Петром I, тем более, что сама «отрасль Петра Первого» при «восходе на престол родителей» стремилась решительно подчеркнуть разрыв с эпохой бироновщины и на первых порах действительно пыталась сделать кое-какие шаги (впрочем, чисто внешнего характера) к восстановлению петровских порядков.

В этих условиях, увидя новую перспективу для осуществления своей просветительской деятельности, Кантемир еще раз принимается за переработку «русских» сатир. На этом заключительном этапе творческой истории «русских» сатир Кантемир, наконец, решил «проявить» те мысли и идеи, которые уже давно созрели у него, но которые он не осмеливался прежде по чисто тактическим соображениям обнаружить.

Что же касается тех явлений, которые послужили источником идейной эволюции Кантемира, то их следует искать в обострении социальных противоречий послепетровской эпохи в целом и периода царствования Анны Иоанновны в особенности.¹⁸

Справедливость этого положения нетрудно доказать, проследив генезис некоторых мотивов, усиленных или вновь введенных Кантемиром в окончательной редакции «русских» сатир.

В процессе анализа творческих переработок II сатиры было обращено внимание на то, что в окончательной редакции сатирик политически заострил мотив «естественного» равенства, подчеркнув равенство знатного не только с незнатным, но и с «холопом». Кроме того, Кантемир ввел новые стихи, в которых гневно клеймил жестокость и самодурство, проявляемые «злонравными» дворянами по отношению к крепостным. Чем объяснить эти изменения? Каков их источник?

Рост русской абсолютистской монархии сопровождался усилением крепостного гнета, жестокой эксплуатацией крестьянства помещиками. Еще в первой редакции V сатиры (1731 г.) Кантемир дал весьма реалистическое изображение — едва ли не первое в русской литературе — бедственного положения крестьянина, которого обирали до нитки помещики. В эпоху бироновщины с учреждением доимочного приказа, с созданием специальных экзекуторских команд для взимания недои-

¹⁸ Разумеется, и непосредственные впечатления от общественно-политической жизни Англии и Франции, а также передовая европейская философия и литература оказали свое влияние на Кантемира, содействовали развитию его мировоззрения в прогрессивном направлении. Однако решающим источником явилась, конечно, русская жизнь (см. З. И. Гершкович. Идейные связи русских и французских просветителей 18 века (Кантемир и Монтескье). «Вестник истории мировой культуры», 1959, № 4, стр. 120--129).

мок положение податных классов, прежде всего крестьянства, стало неизмеримо более тягостным, чем прежде. Тысячи крестьян после жесточайших наказаний ссылались в Сибирь. Одна лишь весть о приближении карательных отрядов внушала ужас и заставляла крестьян покидать села и спасаться в окрестных лесах, а то и вовсе убежать из родных мест. За время бироновщины бегство крестьян, являвшееся и прежде формой протеста против крепостного гнета, достигло исключительных, неведомых прежде размеров. В одном только Переяславском (Залесском) уезде было 68 деревень, совершенно оставленных населением. Поля были заброшены, голод свирепствовал повсеместно.¹⁹ Разумеется, все это не могло пройти мимо внимания Кантемира и несомненно оказало свое воздействие на его сознание и творчество, вызвав отмеченные выше изменения в тексте II сатиры.

Именно во II редакции Курбатовской рукописи, созданной за границей после смерти Анны Иоанновны, в 1742 г., появилась вставка, содержащая обличения временщика Макара, под именем которого, как уже указывалось, выведен Бирон. Только при Елизавете Петровне Кантемир решился подвергнуть критике систему фаворитизма, надеясь внушить новой императрице мысль о губительности этой системы для государства, о необходимости ее искоренения.

В заграничный период Кантемир с новой силой обрушился на врагов просвещения и прежде всего на «гнусной чин» обскурантов из духовного звания.²⁰ И в этом отношении сатирическое творчество Кантемира вдохновлялось не просто инерцией прежних обличений, вызванных условиями господства «верховников», но и новыми фактами противодействия развивающейся русской культуре, относящимися уже к эпохе бироновщины. Полное пренебрежение, проявляемое правительством Анны Иоанновны к вопросам просвещения, невежественное презрение Бирона и его ставленников к русской национальной культуре и задачам ее развития вызвали

¹⁹ Из записок князя П. В. Долгорукова. Время императора Петра II и императрицы Анны Иоанновны. Перевод с французского С. М. М., 1909, стр. 126—128.

²⁰ Об отношении Кантемира в последние годы жизни к духовенству, кроме приведенных выше фактов, свидетельствует и следующий отрывок из его письма к сестре Марии: «О том вас прилежно прошу, чтоб мне никогда не упоминать о монастыре и пострижении вашем, я чернецов весьма гнушаюсь и никогда не стерплю, чтоб вы вступили в такой гнусной чин, или буде то противно моей воли учините, то я век уж больше вас не увижу». Письмо написано в 1744 г. (И. И. Шимко. Новые данные к биографии кн. Антиоха Дмитриевича Кантемира и его ближайших родственников. СПб., 1891, стр. 130)

горестные стихи Кантемира в IX сатире о бедственном положении детища Петра I — Академии наук, где собрались «заморски учителя», а русские юноши, жаждущие знания, не находят и «стени (т. е. тени) наук».

Логика идейного и творческого развития Кантемира, определяясь закономерностями общественно-политического развития России, совпадает с направленностью всего русского литературного процесса XVIII—XIX вв., с общей линией развития русской общественной мысли в этот период. Эволюция Кантемира, проявившаяся в усилении социальной критики русской действительности, есть лишь частное выражение общей тенденции развития русской литературы, характеризующейся ростом и укреплением обличительно-сатирического направления, которое, по словам Белинского, именно «со времен Кантемира сделалось живою струею всей русской литературы».

В процессе своего идейно-художественного роста Кантемир изживал традиции отвлеченно-морализаторской сатиры, и в его творчестве неуклонно креп и развивался новый тип сатиры — общественно-политической. Этот тип стихотворной сатиры, характеризующийся острой социальной проблематикой, политическим аспектом критики нравственных пороков и их носителей, представлял собой явление своеобразное и оригинальное во всей мировой литературе первой половины XVIII в. И совершенно не случаен тот успех, который выпал на долю сатир Кантемира не только в России, но и в Западной Европе, где они выдержали в течение трех лет (1749—1752) три издания на двух языках — французском и немецком. Этот новый тип сатиры, созданный Кантемиром, возник на русской почве, отвечал потребностям развивающегося русского общества послепетровской эпохи.





И. В. ШКЛЯР

**ПРИПИСЫВАЕМЫЕ А. Д. КАНТЕМИРУ ПЕРЕВОДЫ
САТИР БУАЛО И ОРИГИНАЛЬНЫЕ САТИРЫ
КАНТЕМИРА**

Уже в 1731 г. в IV сатире, «К Музе своей», Кантемир говорил, что хочет «в сатирах состарети», так как не писать ему нельзя — «таковы днесь веки»:

В чужестранстве ль буду жить или над Москвою,
Богат, нищ, весел, скорбен; — буду стихи ткати

В последней редакции той же сатиры, в конце жизни, он, как бы отстраняя от себя упреки в стремлении к «жизни спокойной», снова отстаивает свое право на «грубый слог» сатиры:

.. хвалить хоть ложно,
Хоть излишно, поверь мне, более пристойно
Тому, кто, живя с людьми, ищет жить покойно

Он знает «об опасности сатирических сочинений»: «правда редко любя и часто некстати», «кто всех бить нахалится — часто живет битый», — и все же сатира остается главным делом его жизни и творчества.

Но поэтическая деятельность Кантемира началась не с сатир. Сейчас известно уже много ранних его произведений. Первые труды Кантемира, если даже не считать «Слова похвального Димитрию Фессалоникийскому», связаны с его традиционным религиозным образованием и не являются собственно поэтическими (перевод с латинского «Господина философа Константина Манассиса Синопсис историческая», 1725, и «Симфония на Псалтирь», 1726).

Уже к 1726 г. определился интерес Кантемира к французскому языку и литературе. Современные французские моралистические журналы («Мизантроп», «Новый французский

зритель», «Современный ментор») и «История Людовика XIV»,¹ «Дикционарий» Ришелета и «романцы» XVII в. «Астрея» и «Принцесса де Клев» упоминаются в его дневнике 1728 г. и примечаниях к переводам, которые начинаются в 1726 г.

Первы труд мой в французском прими сей, друже,
Хотя неисправно, однако скончаный есть уже

— пишет Кантемир о «Переводе с итальянского на французский язык некоего итальянского письма, содержащего утешное критическое описание Парижа и французов, писанного от некоего сицилианца к своему приятелю». Выбор этот едва ли случаен — в «Письме» осмеиваются парижские нравы.

Вторым переводом с французского является начало пьесы, помещенное среди заметок в календаре 1728 г.² Но Кантемир перевел и более серьезные вещи: это «Таблица Кевика философа, или Изображение жития человеческого» (1729) и оконченный позднее большой труд, предпринятый еще в 1728—1729 гг., — перевод «Разговоров о множестве миров» Фонтенеля (Кантемир познакомился с ним в подлиннике в 1728 г.). В этих переводах проявились черты тогдашнего мировоззрения Кантемира — его знакомство с рационалистической философией Декарта³ и с «ификой», нравственной философией, особенно в «Таблице Кевика», которая является нравоучительным, но не сатирическим произведением.

Одновременно с переводами развивается оригинальное творчество Кантемира. К этому раннему периоду относятся некоторые его эпиграммы и до сих пор неопознанные любовные песни. Ф. Я. Прийма в предисловии к «Собранию стихотворений» Кантемира⁴ относит к этому времени еще два произведения — «О жизни спокойной» и «На Зоила». Первое из них все же едва ли относится к периоду до сатир, второе написано в 1730 г., между II и III сатирами.

В октябре—декабре 1729 г. начинают расходиться в списках две первые сатиры двадцатилетнего Кантемира.

Как пришел он к этому жанру?

¹ Вероятно: Histoire de France sous le regne de Louis XIV. Par M. Delarrey à Rotterdam, 1721, 9 vol.

² П. Н. Берков предполагает, что этот отрывок представляет собой кантемировский перевод комедии «Курьер из Бордо» Герарда. См.: П. Н. Берков. Из истории русско-французских культурных связей. (Гастроли французского ярмарочного театра в Петербурге в 1728—1729 гг.). Сб. «Романо-германская филология», сб. статей в честь акад. В. Ф. Шишмарева. Изд. ЛГУ, Л., 1957, стр. 55—57.

³ Кантемир ссылается на «Библиотеку философов» Гантье.

⁴ Антиох Кантемир, Собрание стихотворений, Библиотека поэта, Большая серия, изд. 2-е, изд. «Сов писатель», Л., 1956, стр. 10.

В 1906 г. в «Материалах для полного собрания сочинений кн. А. Д. Кантемира» Т. М. Глаголева опубликовала найденный ею в единственном сборнике перевод четырех сатир Буало и его «Речи к королю» в виде предисловия к ним. Исследовательница приписала этот перевод Кантемиру «совершенно предположительно, не имея на то никаких фактических данных». «Мы не нашли ни одного указания, — пишет она, — на то, что Кантемир переводил Буало, хотя перед талантом его преклонялся: „Буало — всей Франции чудо”».⁵

Права ли оказалась Т. М. Глаголева?⁶ Да, для этого утверждения есть основания. Некоторые доказательства приводит З. И. Гершкович в примечаниях к перепечатке перевода сатир Буало;⁷ доводы эти можно умножить и усилить.

Во-первых, обращает на себя внимание состав сборника. В него входят, кроме переводов из Буало, пять сатир Кантемира в первоначальной редакции, стихотворение «О жизни спокойной» и сатира «На Зоила», принадлежность которых Кантемиру Т. М. Глаголева доказала. Здесь же помещены азбуки различных южных народов (Кантемир участвовал с отцом в Персидском походе) и «Экспликация о совести» Д. Кантемира. Таким образом, все произведения либо принадлежат Кантемиру, либо имеют отношение к нему.

Во-вторых, утверждение Т. М. Глаголевой, будто о переводах Кантемира из Буало вообще ничего не известно, нуждается в поправке. Н. С. Тихонравов в статье «О заимствованиях русских писателей» указывает: «Из эпиграмм (Кантемира, — *И. Ш.*) VIII-ая есть простой перевод эпиграммы Буало „L'amateur d'horloges”».⁸ И далее приводится французский текст. При сравнении видно, что Кантемир заменил имя Любен на Леандр и убрал слова «l'homme de France». Т. М. Глаголева не знала или не обратила внимания на этот факт. З. И. Гершкович также не приводит этого указания Тихонравова и относит эпиграмму к позднему периоду творчества Кантемира. Более вероятно, что эпиграмма «На Леандра, любителя часов» относится к тому же времени, что и переводы сатир Буало. Кантемир сам указывает, что она не была

⁵ Известия Отделения русского языка и словесности, т. XI, 1906, кн. II, стр. 98—143.

⁶ С. В. Калачева в своей диссертации «Сатиры Кантемира» (М., 1953) отрицает принадлежность этого перевода Кантемиру на том основании, что имени переводчика в списке не указано, а Кантемир всегда старался свои произведения печатать, тем более он не утаил бы своего имени в данном случае, переводя такого известного и почитаемого автора, как Буало.

⁷ Антиох Кантемир, Собрание стихотворений, стр. 498—500.

⁸ Н. С. Тихонравов, Собрание сочинений, т. 3, ч. II, М., 1898, стр. 297—298.

написана вместе с другими эпиграммами, которые он датирует 1730 г.

В-третьих, как было сказано выше, Кантемир с 1726 г. переводит исключительно с французского и основательно знакомится с французской историей и литературой XVII в., так что он должен был столкнуться с произведениями Буало, а темы сатир последнего не могли его не заинтересовать. В 1-й сатире Буало рассказывает о судьбе Дамона, великого поэта, который покидает Париж: он впал в нищету и может оказаться в долговой тюрьме, но не хочет пресмыкаться и просить подачек в наглой толпе других голодных поэтов. Дамону противопоставлен образ выскочки, мошенника, недостойного любимца Фортуны. 2-я сатира, «К Мольеру», посвящена трудностям поэтического творчества. 3-я, очень бытовая сатира, по выражению самого Кантемира, «смешной пир описывает»; в ней высмеиваются чванство и глупость хозяина и его приживальщиков, но самая главная ее особенность — это форма диалога. В 4-й сатире, «К аббату Баеру», развита очень важная для Кантемира тема о разных человеческих заблуждениях, о невежестве и лицемерии, безбожии и «ложной мудрости», мотовстве и скупости.

Самым же главным доказательством принадлежности этих переводов Кантемиру являются многочисленные совпадения перевода с отдельными местами его собственных сатир. Часть из этих совпадений приводит З. И. Гершкович, подчеркивая, что «это сходство нельзя объяснить тем, что и Кантемир, и переводчик (если допустить, что это разные лица), пользовались одним оригиналом. Степень совпадения здесь превосходит обычное сходство двух самостоятельных переводов одного и того же оригинала».⁹ Особенно это относится к первому примеру, приводимому З. И. Гершковичем:¹⁰

Перевод 4-й сатиры Буало

К тому ж иной безбожник, без
души, без веры,
Волю свою чтит в закон, а там все
химеры;
Демона и адский огонь не чаёт
имети,
Мнит старинные басни, чтоб боя-
лись дети.

III сатира Кантемира, 1-я
редакция

Где проклятый безбожник, без
души, без веры,
Иже волю за закон вменяет без
меры,
Иже духи и адск огонь, в нем же
злым страдати,
Басни сказывает быть, чтоб робят
стращати?

⁹ Антиох Кантемир, Собрание стихотворений, стр. 499.

¹⁰ Этот же пример привела и Т. М. Глаголева в статье «К литературной истории сатир Кантемира. Влияние Буало и Лабрюйера» (Известия Отделения русского языка и словесности, 1913, кн. II, стр. 143—187).

З. И. Гершкович приводит еще два чисто кантемировских оборота из перевода «Речи к королю» и 1-й сатиры Буало: «рифмы прибрать» и «наука <...> отвсюду сбита». Можно привести другие примеры: «грубый» (применительно к слогу, стилю, стиху, — постоянный эпитет Кантемира, присутствующий в переводе 4-й сатиры Буало, но ни разу не встречающийся в оригинале); «сердце трепещет с гневом» (в обеих редакциях I сатиры Кантемира — «сердце трещит с гневом»¹¹); «ему же Аполлона тайны все открыты» (в III сатире Кантемира — «ему же Минерва» «тайны все открыла»).

Однако если бы пришлось говорить только об этих совпадениях, то возникло бы сомнение, которого не учитывает З. И. Гершкович: не использовал ли Кантемир в своих сатирах известный ему перевод из Буало, сделанный другим лицом? Конечно, можно возразить, что ему незачем было пользоваться чужим переводом, когда он сам хорошо знал французский язык и был знаком с творчеством Буало, как показывают его сатиры. Но необходимо учесть и такую возможность. З. И. Гершкович указывает еще на один факт: ряд французских имен (Жорж, Жакен в 1-й сатире) в переводе заменены другими (Фабиус, Тулий), встречающимися в сатирах Кантемира. Кроме того, обращает на себя внимание написание второй части имени Буало как «Деспро», что характерно именно для Кантемира, в то время как у его современников встречается форма «Депро», «Депрео».

Но для доказательства принадлежности перевода из Буало Кантемиру важны не только совпадения, а и расхождения с его сатирами. В начале II сатиры Кантемир, как он сам признается в примечании, подражает 3-й сатире Буало. Показательны два стиха из этого отрывка. В оригинале Буало: «Почему у тебя лицо бледнее, чем у рантье при виде указа, который уменьшает его доходы на четверть?»¹² В переводе 3-й сатиры Буало это сравнение изменено, приближено к русской действительности:

Почто бледное лицо, как винны в приказе,
Когда пред судьею смерть сулена в указе?

Близкие к этим строки, а не точный перевод, вошли во II сатиру Кантемира, причем там он достигает большей конкретности, мимоходом задевая своих постоянных врагов:

¹¹ В 1-й сатире Буало в этом стихе 14 слогов и нет цезуры, так что, может быть, и здесь следует читать «трещит» вместо «трепещет».

¹² Et ce visage enfin plus pasle qu'un Rentier,
A l'aspect d'un arrest qui retransche un quartier?

Сух и худ, как подьячий в вотчинном приказе,
 Когда казнь за взятки, смерть сулена в указе.

Совершенно очевидно родство этих строк, последние — явная переделка первых, усовершенствование собственных стихов Кантемира.

С этим же местом II сатиры связано еще одно доказательство того, что перевод из Буало сделан именно Кантемиром. В статье «Неизвестные подражатели Кантемира» В. Н. Перетц¹³ приводит сатиру «На скупого человека», написанную позднее, «героическими русскими шестистопными стихами», в Вологде, духовным лицом, как указывает автор:

Что так, друже, смутен стал, в знаках весь печали?
 С брюхом отчего глаза так глубоко впали?
 Где цветуща красота, очей нежны взгляды,
 Что печален, смутен весь, без всякой отрады?
 Как подьячий сух и худ в вотчинном приказе,
 Сулена что пред судьей грозна смерть в указе.
 Иль товары с кораблем на мори разбиты,
 Иль прикащики в пути от воров убиты?
 Что ж молчишь? Ну, говори, иль тебя покину.
 — Пстой, выслушай: скажу скорби сей причину.

Нетрудно заметить, что эти первые десять строк сатиры близки к началу II сатиры Кантемира. Однако В. Н. Перетц считает, что у Кантемира заимствована только первая строка и, может быть, вторая, намеренно огрубленная в пародийных целях, а далее тема развивается самостоятельно, за исключением сравнения с подьячим. Таким образом, получается, что заимствованы всего три строчки. Но В. Н. Перетц не заметил главного: весь этот отрывок заимствован у Кантемира, правда, не из одной только II сатиры. Восемь строк из десяти являются сплавом стихов из II сатиры Кантемира (в первой редакции) и перевода из Буало. В самом деле, первые две строки близки ко II сатире Кантемира:

Что так смутен, друже мой? Весь в знаках печали:
 Бледен, очи все в слезах, темны, красны стали.

А две следующие — к переводу из Буало:

Где красота цветуща и нежность безмерна?
 Не знал, что так печален, без всякой отрады.

Данные стихи стоят не подряд, поэтому их не связывает рифма.

¹³ В. Н. Перетц. Неизвестные подражатели Кантемира. Известия по русскому языку и словесности АН СССР, 1928, т. I, кн. 2, стр. 335—357.

Следующая строка является переделкой стиха II сатиры Кантемира:

Сух и худ, как подьячий в вотчинном приказе.

Шестая же строка снова ближе к переводу из Буало:

Когда пред судьбою смерть сулена в указе.

Седьмая и восьмая строки не соответствуют никаким известным нам у Кантемира, но это еще не значит, что они не принадлежат ему.

Часть следующей строки — «Что ж молчишь?» — взята из II сатиры, а окончание ее является переделкой стиха из Буало:

Молю, скажи подробну, либ тебя покину.

И заключительная строчка этого отрывка тоже близка к переводу из Буало:

Постой, выслушай скорби моя причину.

Из всего этого следует, что неизвестный автор подражал Кантемиру — творцу II сатиры и переводчику Буало. Может быть, он знал оба источника. Но возможно и другое. До нас не дошла самая ранняя редакция II сатиры Кантемира, относящаяся к январю 1730 г. Известная нам так называемая первоначальная редакция датируется декабрём 1730 г. З. И. Гершкович нашел раннюю редакцию I сатиры и убедительно обосновал необходимость существования такой же редакции и II сатиры. Нам известно о ней лишь то, что в ней не могло быть двестишестидесяти, содержащего намек на Георгия Дашкова. Но, кажется, в начальных стихах сатиры «На скупого человека» сохранена часть этой ранней редакции. Тогда отпадает предположение В. Н. Перетца о пародийности второй строки найденной сатиры. По-видимому, эта строка взята в таком виде из самой ранней редакции II сатиры Кантемира. В редакции же 1730 г. Кантемир дал ее в улучшенном виде. Таким образом, двестишестидесяти, соответствия которому у Кантемира не найдено:

Иль товары с кораблем на мори разбиты,
Иль прикащики в пути от воров убиты? —

занимало, очевидно, место позднейших строк:

Задумчив, как тот, кто, чин патриарш достати
Ища, лошади свои раздарил некстати.

Из этого примера видно, как переводы из Буало помогли молодому поэту лучше построить свою сатиру, какое значение имели для Кантемира и вообще для ранней русской сатиры эти переводы, о которых Т. М. Глаголева говорила, что «сатиры Буало теряют в них изящество, звучность и легкость стиха, а отчасти даже и свое остроумие».¹⁴

По-видимому, переходом к созданию собственных сатир следует объяснить то, что Кантемир перевел лишь четыре сатиры Буало (из двенадцати) и бросил комментировать «Речь к королю».

В первый период творчества Кантемир еще часто обращался к Буало. В написании IV сатиры ему помогла 7-я сатира французского поэта, а свою V сатиру он переделал уже в 1737 г., первой из написанных до отъезда за границу, ибо «усмотрел», что «почти вся она состоит из речей французского сатирика» (8-я сатира Буало, «На человека»). Но все это были не переводы из Буало, а оригинальные сатиры, отражавшие русскую общественную жизнь.

Кантемир мог найти у Буало много ценного: и композицию сатир, более сложную и интересную, чем лабрюйеровская «цепочка» (невыгодность применения последней особенно сказалась на III сатире Кантемира), и некоторые острые сатирические приемы. Таково, например, перечисление невозможных вещей, для того чтобы показать невозможность совершения чего-либо. Например, у Буало Дамон говорит, что намерение стать чиновником придет ему в голову не раньше, чем смогут увидеть летом (на день св. Жана) Сену, покрытую льдом; не раньше, чем Арнольд в Шантероне станет гугенотом, Сен-Сорлен — янсенистом, Сен-Павен — ханжой. Кантемир убирает незнакомые рядовому русскому читателю имена и переводит так:

Если во мне мысль нову уставить премену,
То в Петровки увидят льдом покрыту Сену,
Папа, Рим град оставя, кальвинистом будет,
А езуит разумный лукавить забудет.

Впрочем, тот же прием встречается и у Феофана Прокоповича в переводе 7-й элегии Овидия. Н. И. Петров, опубликовав этот перевод в статье «Киевская искусственная литература XVIII в.»¹⁵ и даже сравнив его со стихами Кантемира из I сатиры (клятва Луки), сделал только тот вывод, что «подражания Кантемира латинским образцам иногда такие же,

¹⁴ Т. М. Глаголева. Материалы для полного собрания сочинений кн. А. Д. Кантемира, ч. II, СПб., 1906, стр. 115.

¹⁵ Труды Киевской духовной академии, 1879, № 4, 6, 10; 1880, № 6.

как у Феофана», т. е., что каждый из переводов вполне самостоятелен. Кантемир в примечании к этим стихам тоже ссылается лишь на Овидия. Но и в другом месте той же сатиры он не указывает, что источником речи Сильвана явился отрывок из произведения Феофана Прокоповича. Между тем заимствование несомненно. Вот перевод Феофана:

Когда плугом по небе бразды водить станут,
А с поверхности земли звезды уж поглянут,
Когда от моря к ключам своим пойдут реки
И прешедши вспять к нам возвратятся веки,
Когда Днепр мимо Киева протекать престане,
Когда в жидов обману и лести не стане,
Когда Подол возрасте всех гор высочае, —
Тогда разве в нас серебро любовь потеряе.

Но как несомненно заимствование, так же ясно видна и большая работа Кантемира над этим переводом с подчеркнута киевским колоритом. Первые четыре строки почти не изменены; характерна замена: «Когда Дунай протекать престанет чрез Вену». Окончательный вывод сделан одним из условий: «Серебро, золото в приказах потеряет цену». Два последних условия отброшены совсем, причем первое из них снова появится у Кантемира (в IV сатире) и в таком же построении. Добавлено еще одно условие: — «Когда лучше свежины взлюбит умный стерву», замененное в конечной редакции более острым: «Когда в пост чернец одну есть станет вязигу». Заменен и вывод: Лука обещает при таких чудесах «предпочесть Бахусу Минерву» или, позднее, «оставя стакан, приняться за книгу». Как видно из приветственных стихов Феофана, он не обиделся на Кантемира ни за заимствования, ни за перделку.

Познакомившись с этим приемом сразу по нескольким источникам, Кантемир еще четыре раза использует его (в той же I сатире, а также во II, IV и V).

Другая находка Кантемира у Буало — это возможность не просто сравнивать, а в одной из частей сравнения кольнуть, кроме непосредственного объекта данной сатиры, еще какого-либо постоянного врага, духовное лицо или чиновника. При этом он не всегда берет у Буало готовый текст; иногда нейтральное место дает Кантемиру толчок к использованию данного сатирического средства применительно к русским условиям.

Мы уже видели, как в переводе 3-й сатиры Буало Кантемир вместо опечаленного рантье изображает озабоченного указом о взятках подьячего в вотчинном приказе. Подобное сравнение включает он и в перевод 4-й сатиры Буало. Оба

сатирика говорят об учителе, которого никто не слушает. «Как Жоли, он теряет свое время, проповедуя», — читаем дословно у Буало.¹⁶ При точном переводе смысл этого сравнения был бы утрачен, и Кантемир пишет: «Как у попа время в казанье пропало».

Такие сравнения часто встречаются в оригинальных сатирах Кантемира. Например: «Вчерашний часто обед кончает скорее, Чем в приходский праздник поп отпоет молебен» (сатира III, стихи 16—17); «Спешу <...>, как поп с похорон к жирному обеду» (IV, стих 150); «А зависти в тебе нет, как в попах соборных» (II, стих 22); «Дрожат руки, ноги, Как под брюхатым дьяком однокольны дроги» (III, стихи 229—330); «Задумчив, как хотевший патриархом стати, Когда лошади свои раздарил некстати» (II, стихи 3—4); «В мозг рместить столь трудно, Сколь дворецкому не красть иль судье — жить скудно» (II, стихи 233—234), и т. д.

В переводах из Буало Кантемир часто заменяет французскую обстановку более или менее русской. Так, если у Буало Дамон «вдали от полицейских, чиновников и дворца ищет покоя», «куда ни судебный исполнитель, ни полицейский не приблизятся»,¹⁷ то у Кантемира Дамон «от приказов далеко в чистом поле бродит» (сатира 1-я, стих 11), «там ни солдат, ни писец не придут, как воры» (1-я, стих 26). «Королевская отзывчивая доброта»¹⁸ становится у Кантемира «царской милостью» (1-я, стих 81); где у французского сатирика говорится о «лабиринте закона»¹⁹ и «уловках чиновников», там у русского появляются «лукавые ябеды» и «худой стряпчий с криком пред славным гордится» (1-я, стихи 121—123), и т. д. Иногда замены эти неуклюжи, даже смешны: «Сена в Петровки» (1-я, стих 126), «марки в зерновой избе» (4-я, стих 73; речь идет о маркизе в игорном доме). Вместо «стихи, как на костылях», как это дано у Буало, читаем у Кантемира «как на вилы подняты» (4-я, стих 98). Иногда он сохраняет французские слова, не переводя их («февра», «марки»). Некоторые непонятные места он совсем не переводит и заменяет их другими.²⁰

¹⁶ Souvent, comme Jcli, perd son temps à prescher.

¹⁷ Et bien loin des Sergens, des Clercs et du Palais.

Va chercher un repos qu'il ne trouva jamais.

¹⁸ Du Roi la bonté secourable.

¹⁹ D'un Dédale de lois.

²⁰ В то же время некоторые места у Кантемира, отмеченные Т. М. Глаголевой в качестве непонятных, представляют лишь искажения текста в данном списке. Таковы две строки из перевода 2-й сатиры Буало:

От часа того, когда мысль к трудам понудит,
Пира б густым смущенна глава не рассудит.

И все же перевод Кантемира, несмотря на свое несовершенство, является до сих пор единственной попыткой более или менее точного перевода Буало. Все последующие переводы конца XVIII и особенно начала XIX в. являются вольными.

Последний вопрос, возникающий при изучении переводов Кантемира из Буало, — об их датировке. Несомненно, что они сделаны до сатир. Т. М. Глаголева относила эти переводы к «московской эпохе, о которой мы имеем мало данных», т. е. к 1728—1731 гг. А. Н. Веселовский считал, что они были написаны в Москве в конце 30-х годов XVIII в., забывая, что Кантемира в это время в Москве не было.²¹ З. И. Гершкович ограничивает время перевода 1727—1729 гг. Последнее предположение представляется нам наиболее вероятным. Действительно, если Кантемир оставил перевод для оригинальных сатир, то, значит, это было сделано до октября 1729 г. Возможно, что перевод затянулся на несколько лет и начало его следует приурочить к последним месяцам 1727 г. В переводе 1-й сатиры Буало есть одно место, которое, может быть, является намеком на опалу Меншикова. Стихи Буало о педанте, ставшем герцогом («Я знаю, что вполне уместный страх заставил его на несколько месяцев исчезнуть с наших глаз»²²), Кантемир перевел не слишком точно:

Видим, что предел странный железного века
Тотчас возвысил князем проста человека,
Так-то добродетелью Фортуна играет,
Часто доброго низит, злого возвышает.

.....
А теперь на время он отсель удалился
Причина ссылка тому, что нету в параде;

Конечно, скоро опять проявится в граде
И, вступая в первую славу, снову всех обидит.

В оригинале Буало эти строки читаются так:

Mais depuis le moment que cette frénésie,
De ses noires vapeurs troubla ma fantaisie

В таком же странном виде дан перевод этого места и в «Собрании стихотворений» 1956 г. Строка получает смысл, если читать: «Паром густым смущенна, глава не рассудит», где «пар» следует понимать как «туман, наваждение». Из дословного перевода Буало «От его черных припадков потускнело мое воображение» Кантемир взял основное значение слова «vareug» — «пар», в то время как во множественном числе оно означает «припадки».

²¹ А. Н. Веселовский. Западное влияние в русской литературе. Изд. 5-е, М., 1916, стр. 40 и сл.

²² Je sçai qu'un juste effroi l'éloignant de ces lieux,
L'a fait peur quelques mois disparaître à nos yeux.

По-видимому, эта сатира переводилась вскоре после ссылки Меншикова, через несколько месяцев после эпиграммы «На гордого нового дворянина».

Переводы из Буало, конечно, слабее последующих сатир Кантемира, но о них можно сказать то, что он сам говорил о своих переводах из Горация:

Хоть сладость сохранить не смогли латинских,
Будут не меньше стихи русские полезны.

То, что из многих поэтических жанров Кантемир впервые в русской литературе избрал сатиру, вполне закономерно. Конечно, Буало был не единственной и даже не самой сильной литературной опорой начинающему сатирику. Не перечисляя других античных и западных авторов, напомним еще раз о влиянии Феофана Прокоповича на I сатиру Кантемира, хотя она, по словам автора, «ни с чего не имитована». Но именно переводы сатир Буало помогли ему найти самый подходящий для его таланта жанр и от замены в переводах французской обстановки русскими явлениями, событиями, конкретными фактами перейти к собственным сатирам, которые сделали его родоначальником сатирического направления в русской классической литературе.





МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ БИБЛИОГРАФИИ ИЗДАНИЙ А. Д. И Д. К. КАНТЕМИРОВ И ЛИТЕРАТУРЫ О НИХ (1917—1959)¹

СОСТАВИЛИ П. Н. БЕРКОВ И В. П. СТЕПАНОВ

АНТИОХ ДМИТРИЕВИЧ КАНТЕМИР

Тексты

Письмо 16 (27) мая 1743 (М. Л. Воронцову). [Факсимиле]. — Литературное наследство, 1933, № 9—10, с. 401.

[Сатиры и стихотворения]. — В кн.: Вирши. Силлабическая поэзия XVII—XVIII веков. Под общей ред. П. Беркова. Л., «Сов. писатель», 1935, с. 190—237.

Сатиры, [I и II, в сокращении]. — В кн.: Хрестоматия по русской литературе XVIII века. Сост. Г. А. Гуковский. М., Учпедгиз, 1935, с. 20—26; изд. 3-е, М., Учпедгиз, 1938, с. 41—50; также: Киев, «Радянська школа», 1936, с. 20—27; изд. 2-е, Киев, «Радянська школа», 1937, с. 20—27.

К уму своему. [Сатира I]. — В кн.: Русская литература XVIII века. Ред., вступит. статья и прим. Гр. Гуковского. Л., ГИХЛ, 1937, с. 3—5.

Mapping Clarence A. Anthology of eighteenth Century Russian Literature, vol. I. New York, King's Crown Press, 1951, p. 35—39.

Сатиры. [I, II и III, в отрывках]. — В кн.: Хрестоматия по русской литературе XVIII века. Сост. А. В. Кокорев. М., Учпедгиз, 1952, с. 74—93; изд. 2-е, М., Учпедгиз, 1956, с. 74—93.

¹ Данная библиография учитывает публикации текстов А. Д. и Д. К. Кантемиров, а также русскую и иностранную литературу о них за период с 1917 по 1959 г. Кроме работ, непосредственно посвященных биографии и творчеству А. Д. и Д. К. Кантемиров (за исключением кратких юбилейных заметок), учтены общие работы исторического и историко-литературного характера, содержащие оценку и анализ творчества указанных писателей. Кроме того, сделана попытка собрать воедино появившиеся в советское время сведения об архивных материалах, касающихся Кантемиров. В каждом из двух разделов (тексты и литература) литература расположена в хронологическом порядке. Ради экономии места в описании работ иногда опущены надзаголовочные и подзаголовочные данные и указаны лишь те страницы работ, где речь идет об А. Д. и Д. К. Кантемирах.

Письмо А. И Щербатову. [Факсимиле]. — В кн.: Краткий отчет о новых поступлениях 1950—1951 годов. Под ред. В. Г. Геймана. Л., 1953, вклейка, с. 16—17 (ГИБ им М. Е. Салтыкова-Щедрина).

[О литературном труде]. Пред. и прим. Л. И. Кулаковой. — В кн.: Русские писатели о литературном труде, т. I. Л., «Сов. писатель», 1954, с. 8—20, 717—719.

Ja k u b o w s k i Wiktor Antologia literatury rosyjskiej XVIII wieku. cz. I 1700—1760 Teksty Warszawa, PWN, 1954, s. 29—47, cz. I. Przypisy, s. 24—42.

Собрание стихотворений. Вступит. статья Ф. Я. Приймы. Подготовка текста и прим. З. И. Гершковича. Л., «Сов. писатель», 1956, 544 с.

Сатиры. [I и II]. — В кн.: Поэты XVIII века, т. I. Л., «Сов. писатель», 1958, с. 129—150.

Литература

Плеханов Г. В. «Ученая дружина» и самодержавие. (А. Д. Кантемир). — Общественная мысль в изящной литературе. — В кн. П.: История русской общественной мысли, т. II. М., Лит.-изд. отдел Наркомпроса, 1918, с. 136—160; т. III. М., Лит.-изд. отдел Наркомпроса, 1919, с. 7—21; также в кн. П.: Сочинения, т. XXI. М.—Л., ГИЗ, 1925, с. 78—102, 208—222.

Сакулин П. Н. История новой русской литературы. Эпоха классицизма. М., Изд. Общ. при ист.-филолог. фак. 2-го гос. унив., 1919, с. 45—46.

Перетц В. Н. Краткий очерк методологии истории русской литературы. Пгр., «Academia», 1922, с. 73—74.

Разночтения в сатирах и «Петриде» Кантемира по изданию Ефремова и по рукописи Киевской университетской библиотеки, № 74 (43).

Сиповский В. В. А. Д. Кантемир. — В кн. С.: Лекции по истории русской литературы, вып. 2. Баку, Бакинский унив., 1922, с. 319—326.

Сиповский В. В. Этапы русской мысли. Пгр., А. Ф. Маркс, 1924, с. 37—38.

Luther Arthur Geschichte der russischen Literatur Berlin—Leipzig, Bibliographisches Institut, 1924, S. 85—86.

Краткий отчет о деятельности Общества древней письменности и искусства за 1917—1923 годы. С приложением статей профессора Д. В. Айналова и А. И. Ляшенко. [Л.], 1925, с. 4.

О докладе Т. М. Глаголевой «Феофан Прокопович и Кантемир».

Lozinsky G. Le prince Antioche Cantemir — poète français. — Revue des études slaves, 1925, t. V, fasc. 3—4, p. 238—243.

Lozinsky G. Le prince Cantemir et la police parisienne. — Le Monde Slave, 1925, février, p. 223—247.

Lozinsky G. Trois épisodes de l'ambassade de Cantemir à Paris. — Le Monde Slave, 1925, mai, p. 402—421

Перетц В. Н. Неизвестные подражатели кн. А. Д. Кантемира. — Известия по русскому языку и словесности, 1928, т. I, № 2, с. 335—357.

Сакулин П. Н. Русская литература. Социолого-синтетический обзор литературных стилей, ч. II. М., Гос. академия художественных наук, 1929, с. 76—78.

Legras Jules. La Littérature en Russie. Paris, Armand Colin, 1929, p. 43—44.

Тимофеев Л. А. Д. Кантемир. — В кн.: Литературная энциклопедия, т. V. М., Ком. Академия, 1931, с. 95—97.

Сперанский М. А. Д. Кантемир. — В кн.: Энциклопедический словарь Русского библиографического института Гранат, т. 23. 11-е стереотипное изд., М., [1934], с. 326—328.

Берков П. Н. Ранние русские переводчики Горация. (К 2000-летию со дня рождения Горация). — Известия Академии наук СССР, Отделение общественных наук, 1935, № 10, с. 1040—1043.

Берков П. Н. Из истории русской поэзии первой трети XVIII века. (К проблеме тонического стиха). — В кн.: XVIII век. Сборник статей и материалов. [Сб. 1]. М.—Л., АН СССР, 1935, с. 76—78.

Гуковский Г. А. Кантемир. (1708—1744). — В кн.: Хрестоматия по русской литературе XVIII века. Сост. Г. А. Гуковский. М., Учпедгиз, 1935, с. 19 изд. 3-е. М., Учпедгиз, 1938, с. 41, также в кн.: Хрестоматия по русской литературе XVIII века. Сост. Г. А. Гуковский. Киев, «Радянська школа», 1936, с. 20; изд. 2-е, Киев, «Радянська школа», 1937, с. 20.

Докусов А. Антиох Кантемир. — В кн.: Вирши. Силлабическая поэзия XVII—XVIII веков. Под общей ред. П. Н. Беркова. Л., «Сов. писатель», 1935, с. 185—189, примечания, с. 302—313

Пумпянский Л. В. Кантемир и итальянская культура. — В кн. XVIII век. Сборник статей и материалов. [Сб. 1]. М.—Л., АН СССР, 1935, с. 83—132.

Розанов И. Н. Русское книжное стихотворство от начала письменности до Ломоносова. (Антиох Кантемир). — В кн.: Вирши. Силлабическая поэзия XVII—XVIII веков. Под общей ред. П. Н. Беркова. Л., «Сов. писатель», 1935, с. 74—87.

Mohrenschildt D. S. Russia in the intellectual life of eighteenth century France. New York, 1936, p. 35—37, см. также указатель имен

Гуковский Г. А. Вступительная статья. — А. Кантемир. — В кн. Русская литература XVIII века. Ред. и прим. Гр. Гуковского. Л., ГИХЛ, 1937, с. XI—XII, 685.

Райков Б. Е. Гелиоцентрическое учение в 30-х годах XVIII века. — В кн. Р.: Очерки по истории гелиоцентрического мировоззрения в России. (Из прошлого русского естествознания). М.—Л., АН СССР, 1937, с. 150—162; изд. 2-е, М.—Л., АН СССР, 1947, с. 217—235.

Сутт Н. А. Д. Кантемир. — В кн.: Большая советская энциклопедия, т. 31, М., ОГИЗ РСФСР, 1937, с. 307.

Плеханов Г. В. Работы по истории русской общественной мысли. (А. Д. Кантемир. — Д. И. Фонвизин). — В кн.: Литературное наследие Г. В. Плеханова, сб. VI, М., Гос соц.-эконом. изд., 1937, с. 290—301, 312—315.

Отрывки первоначальной редакции главы «Общественная мысль в изящной литературе», заметки к статье об А. Д. Кантемире, отрывки первоначальной редакции статьи о Фонвизине.

Engrand Marcelle Un ambassadeur de Russie à la Cour de Louis XV, le prince Cantemir à Paris. 1738—1744 Lyon — Paris, 1938. 235 p.

Пумпянский Л. В. Кантемир. Третьяковской. — В кн.: Гуковский Г. А. Русская литература XVIII века. М., 1939, с. 46—60.

Соколов А. Н. «Полтава» Пушкина и «Петриады». — Временник пушкинской комиссии, 1939, № 4—5, с. 62—63.

Пумпянский Л. В. Кантемир. — В кн. История русской литературы, т. III. М.—Л., АН СССР, 1941, с. 176—212.

Антиох Дмитриевич Кантемир (1744—11 IV 1944). 200 лет со дня смерти. Саратов, 1944, 11 с.

Благой Д. Д. Антиох Кантемир. — Известия Академии наук СССР, Отделение литературы и языка, 1944, т. III, вып. 4, с. 121—131.

Смигельский В. В. Кантемир о воспитании (К 200-летию со дня смерти). — Советская педагогика, 1944, № 7, с. 54—55.

Благой Д. Д. Кантемир. — В кн. Б. История русской литературы XVIII века. М., Учпедгиз, 1945, с. 79—98. изд. 3-е, М., Учпедгиз, 1955, с. 93—114.

Шафрановский К. И. «Разговоры о множестве миров» Фонте-неллы в России. (Первое издание). — Вестник Академии наук СССР, 1945, № 5—6, с. 223—225.

Алексеев М. П. Вольтер и русская культура XVIII века. — В кн.: Вольтер Статьи и материалы Л, Ленингр гос унив, 1947, с. 41—43

Томашевский Б. В. К истории русской рифмы. — В кн.: Труды Стдела новой русской литературы, т I М—Л, АН СССР, 1948, с. 237—256; также в кн. Т. Стих и язык. М.—Л., Гослитиздат, 1959, с. 75—101.

Шолом Ф. Я. Общественно-политическая поэзия XVIII века на Украине. Автореферат диссертации, представленной на соискание ученой степени кандидата филологических наук. Киев, 1950, с. 10, 12 (Киевский гос. унив. им. Т. Г. Шевченко).

Кокорев А. В. А. Д. Кантемир. — В кн.: Хрестоматия по русской литературе XVIII века. Сост. А. В. Кокорев. М., Учпедгиз, 1952, с. 73—74, изд. 2-е, М., Учпедгиз, 1956, с. 73—74.

Ливанова Т. Русская музыкальная культура XVIII века в ее связях с литературой, театром и бытом. Исследования и материалы, т. I. М., Музгиз, 1952, с. 388—402, 407—409, 420—422. см. также указатель имен.

Трунев Н. В. Кантемир в истории русского литературного языка. Автореферат на соискание ученой степени доктора филологических наук. Омск, Омский пед. инст. им. А. М. Горького, 1952, 19 с. (АН СССР. Инст. языкознания).

Шолом Ф. Я. Російсько-українські зв'язки в галузі громадсько-політичної поезії XVIII століття. I Сатири А. Д. Кантеміра та українські сатиричні вірші XVIII століття; II. Шоста сатира А. Д. Кантеміра «На состояние вѣка (свѣта) сего К солнцу» за новонайденим київським списком середини XVIII століття. — Наукові записки Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка, т. XI, вип. IX, Філологічний збірник № 4, 1952, с. 125—151.

Без подписи. А. Д. Кантемир. — В кн.: Большая советская энциклопедия, т. 20. Изд. 2-е, М., БСЭ, 1953, с. 28.

Гершкович З. И. А. Д. Кантемир. Проблемы мировоззрения и литературной деятельности. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук. Л., 1953, 21 с. (Ленингр. гос. унив.).

Калачева С. В. Сатиры Кантемира. Автореферат диссертации на соискание учёной степени кандидата филологических наук. М., 1953, 13 с. (Моск. гос. унив.).

Приходько В. А. Формы и категории глагола в произведениях А. Д. Кантемира. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук. Л., 1953, 18 с. (Ленингр. гос. унив.).

Lortholary Albert Le Mirage russe en France au XVII siècle Paris. 1953, см указатель имен

Кулакова Л. И. А. Д. Кантемир. — В кн.: Русские писатели о литературном труде, т. I. Л., «Сов. писатель», 1954, с. 5—7.

Кулакова Л. И. А. Н. Радищев и вопросы художественного творчества в русской литературе XVIII века. (Из истории русской эстетической мысли). Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора филологических наук. М., 1954, с. 5—6 (Инст. мировой литературы им. А. М. Горького АН СССР).

Паина Р. Б. Роль и значение А. Д. Кантемира в истории русской литературы. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук. Минск. 1954, 21 с. (Белорусский гос. унив. им. В. И. Ленина).

Шолом Ф. Я. Російсько-українські літературні зв'язки після возз'яднання України з Росією в 1654 році. Нариси з історії російсько-українського літературного єднання у другій половині XVII—XVIII століття. — Наукові записки Київського державного університету, т. XIII, вип. II, Збірник філологічного факультету № 6, 1954, с. 34—37.

Ф. Прокопович и А. Д. Кантемир.

Sălinescu G. Nota despre Antioh Cantemir.— Studii si cercetări de istorie literară si folclor, 1954, anul. III, p. 39—46.

Алексеев М. П. Монтеские и Кантемир. — Вестник Ленинградского университета, 1955, № 6, вып. 2, серия общественных наук, с. 55—78.

Коган-Бернштейн Ф. А. Влияние идей Монтеские в России в XVIII веке. — Вопросы истории, 1955, № 5, с. 101—102.

Соколов А. Н. Первый опыт эпической поэмы. — В кн. С.: Очерки по истории русской поэмы XVIII и первой половины XIX века. М., Моск. гос. унив., 1955, с. 84—95.

Трахтенберг О. В. Развитие общественно-политической и философской мысли в России в период усиления крепостничества и зарождения капиталистических отношений (конец XVII и первая половина XVIII в.). — В кн.: Очерки по истории философской и общественно-политической мысли народов СССР, т. I. М., АН СССР, 1955, с. 111—114.

Lettenbauer Wilhelm. Russische Literaturgeschichte. Frankfurt Main—Wien, Humboldt-Verlag, 1955, S. 91—92, 110, 170.

Serban C. Jurnalul lui Ivan Ilinski 1721—1730 — Studii, VIII, 1955, № 5—6, p. 119—135

Галактионов А. А. В. Н. Татищев и А. Д. Кантемир — идейные предшественники материалистической философии М. В. Ломоносова. — В кн.: Научная сессия 1955—1956 годов. Тезисы докладов по секции философских наук. Л., 1956, с. 22—25 (Ленингр. гос. унив.).

Галактионов А. А. О месте А. Д. Кантемира в истории русской философии. — Вестник Ленинградского университета, 1956, № 11, вып. 2, серия экономики, философии и права, с. 81—89.

Зубов В. П. Историография естественных наук в России (XVIII в. — первая половина XIX в.). М., АН СССР, 1956, с. 21—23.

Паина Р. Б. Редакции сатир А. Д. Кантемира. — Ученые записки Белорусского государственного университета, 1956, вып. 27, серия филологическая, с. 38—67.

Прийма Ф. Я. Антиох Дмитриевич Кантемир. — В кн.: Кантемир А. Собрание стихотворений. Л., «Сов. писатель», 1956, с. 5—52.

Grasshoff Helmut. Die deutsche Ausgabe der Satiren Antioch Dmitrievič Kantemirs vom Jahre 1752 und ihr Übersetzer. — Deutsch-slawische Wechselseitigkeit in sieben Jahrhunderten, Berlin, Akademie-Verlag, 1956, S. 256—267.

Lehmann Ulf. Deutsch-russische Wechselseitigkeit in deutschen und russischen Zeitschriften des 18 Jahrhunderts. — Deutsch-slawische Wechselseitigkeit in sieben Jahrhunderten, Gesammelte Aufsätze, Berlin, Akademie-Verlag, 1956, S. 250.

Готшед о «Сатирах» Кантемира.

Lo Gatto Ettore. Storia della letteratura russa. Torino, edizioni Radio italiana, 1956, с. 60—61, 325 и др.

Trubetzkoy N. S. Die russischen Dichter des 18 und 19 Jahrhunderts Abriß einer Entwicklungsgeschichte Herausgegeben von Rudolf Jagoditsch Gratz-Köln, H. Böhlhaus Nachf., 1956, S. 14—17.

Петров Л. А. Философские взгляды Прокоповича, Татищева и Кантемира. — Труды Иркутского государственного университета, 1957, т. XX, вып. 1, серия философская, с. 3—87.

Прийма Ф. Я. Антиох Кантемир и его французские литературные связи. — В кн.: Русская литература. Труды Отдела новой русской литературы, т. I, М.—Л., АН СССР, 1957, с. 7—45. (Инст. русской литературы).

Ehrhard Marcelle. Letters sur la Nature et l'Homme du Prince Kantemir — Revue des etudes slaves, 1957 [1958], fasc. 1—4, p. 51—56.

Evans R. J. M. Antiokh Kantemir and his German translators — Slavonic and East-European Rev., 1957, vol. 36, N 86, p. 150—158

Stender-Petersen Adolf. Geschichte der russischen Literatur, Bd. I München, Beck'sche Verlagsbuchh., 1957, S. 273—276.

Акулова А. Е. А. Д. Кантемир о сатире. — Ученые записки Ленинградского педагогического института им. А. И. Герцена, 1958, т. CLXX, кафедра русской литературы, с. 41—51.

Берков П. Н. Развитие литературной критики в XVIII веке. — В кн.: История русской критики, т. I. М.—Л., АН СССР, 1958, с. 50—52.

Благой Д. Д. Закономерности становления новой русской литературы. М., АН СССР, 1958, с. 20—52 (АН СССР. Советский комитет славистов); также в кн. Б.: Литература и действительность. М., Гослитиздат, 1959, с. 24—51.

Гершкович З. И. К вопросу об эволюции мировоззрения и творчества А. Д. Кантемира. (Проблема «девятой» сатиры). — В кн.: XVIII век. Сборник З. М.—Л., АН СССР, 1958, с. 44—64.

Гершкович З. И. К биографии А. Д. Кантемира. — В кн.: XVIII век. Сборник З. М.—Л., АН СССР, 1958, с. 456—459.

Гуковский Г. А. Русская литература в немецком журнале XVIII века. — В кн.: XVIII век. Сборник З. М.—Л., АН СССР, 1958, с. 383—386.

Кулакова Л. И. А. Д. Кантемир. — В кн. К.: История русской литературы XVIII века. Пекин, 1958, с. 27—40. На китайском языке.

Макогоненко Г. П. Русская поэзия XVIII века. — В кн.: Поэты XVIII века, т. I. Л., «Сов. писатель», 1958, с. 16—24.

Петров Л. А. Социологические взгляды Прокоповича, Татищева и Кантемира. — Труды Иркутского государственного университета, 1958, т. XX, вып. 2, серия философская, с. 3—40.

Пигарев К. В. [А. Д. Кантемир]. — В кн.: История русской литературы, т. I. (Литература X—XVIII веков). М.—Л., АН СССР, 1958, с. 413—420.

Плещунов Н. С., Вазирова Ф. А. Д. Кантемир. — В кн.: Русская литература. (XVIII век). Баку, Бакинский унив., 1958, с. 35—42. На азербайджанском языке.

Серман И. З. А. Д. Кантемир. — В кн.: Поэты XVIII века, т. I. Л., «Сов. писатель», 1958, с. 127—128.

Тимофеев Л. И. Кантемир и развитие силлабического стиха. — В кн. Т.: Очерки теории и истории русского стиха. М., Гослитиздат, 1958, с. 277—308.

Щапов Я. Н. «Похвала глупости» Эразма Роттердамского в русских переводах. — В кн.: Записки Отдела рукописей, вып. 20, М., 1958, с. 111—112.

О вставке двух стихов А. Д. Кантемира в перевод «Похвалы глупости».

Grasshoff H. Kantemir und Fenelon — Zeitschrift für Slawistik, Bd. III, 1958, H. 2—4, S. 369—383.

Koutná Maria. Satirik Antioch Kantemir — В кн.: Fr. Wollmanovi k sedmdesátinám. Sbornik praci Praha, 1958, s. 88—89.

Morda-Evans R. J. M. Antiokh Kantemir and his first biographer and translator — The Slavonic and East-European Rev., 1958, vol. 37, №: 88, p. 184—195.

Без подписи. Памяти А. Д. Кантемира. — Вестник АН СССР, 1959, № 12, с. 104—105

О заседании в Москве в связи с 250-летием со дня рождения А. Д. Кантемира.

Берков П. Н. Писатели XVIII века (А. Д. Кантемир). — В кн.: Литературные памятные места Ленинграда. Очерки. Л., Лениздат, 1959, с. 16—18.

Гершкович З. И. Идеиные связи русских и французских просветителей 18 века. (Кантемир и Монтескье). — Вестник истории мировой культуры, 1959, № 4, с. 120—129.

Гусейнов А. Выдающийся сатирик. — Азербайджан, 1959, № 9, с. 196—199. На азербайджанском языке.

Лотман Ю. М. Новые издания поэтов XVIII века. — В кн.: XVIII век. Сборник 4. М.—Л., АН СССР, 1959, с. 456—463.

Оришин А. Д. (сост.) Хрестоматия критических материалов по русской литературе XVIII века. Львов, изд. Львовского унив., 1959, см. указатель имен.

Петров Л. А. Общественно-политические взгляды Прокоповича, Татищева и Кантемира. — Труды Иркутского государственного университета, 1959, т. XX, вып. 3, серия философская, 59 с.

Радовский М. И. Антиох Кантемир и Петербургская Академия наук. М.—Л., АН СССР, 1959, 114 с.

Раскин Н. М., Красоткина Т. А. Рукописное наследие Л. Эйлера. — Вестник Академии наук СССР, 1959, № 7, с. 93—96.

Два письма Л. Эйлера к А. Д. Кантемиру (1740—1743).

Томашевский Б. В. Стилистика и стихосложение. Курс лекций. Л., Учпедгиз, 1959, см. именной указатель.

Auzinger, Helene. Dv. Kantemir, Antioch Dmitrievic. — В кн.: Kleine slavische Bibliographie. Wiesbaden, Otto Harrassowitz, 1959, S. 280.

ДМИТРИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ КАНТЕМИР

Тексты

Studii asupra naturii monarhiilor — Studii revista de istorie si filosofie, I Anul. 4. Ianuarie — martie 1951, p. 218—222.

История иероглифика. Едице ынгрижитэ ку ун артикал интродуктив ши глосар де И. К. Вартичан. Кишинэу, Едитура де стат а Молдовой, 1957, 410 с.

Литература

Pascu Giogio. Demetrio Cantemir. Roma, 1923, 18 p.

Panaitescu P. Le prince Démètre Cantemir et le mouvement intellectuel russe sous Pierre le Grand. — Revue des études slaves, 1926, fasc. 3—4, p. 245—262.

Пятницкий В. К истории книгопечатания арабским шрифтом в Европейской России и на Кавказе. — В кн.: Сборник 1. М., Публ. библ. им. В. И. Ленина, 1928, с. 132—134.

Zotta Sever. Despre neamul Cantemirestilor Jasi, 1931, 50 p. (Extras din Buletinul «Joan Neculce», 1931, № 9).

Без подписи. Д. К. Кантемир. — В кн.: Энциклопедический словарь русского библиографического института Гранат, т. 23. 11-е стереотипное изд., М., [1934], с. 328.

Без подписи. Д. К. Кантемир. — В кн.: Большая советская энциклопедия. т. 31 М., ОГИЗ РСФСР, 1937, с. 308.

Якунина Л. И. Отпечаток на шелку гравюры с изображением Дмитрия Кантемира. — Труды Государственного Исторического музея, 1941, вып. 14, с. 83—91.

Кидель А. С. Урманшия луи Димитрие Кантемир ын Русия. — Октомбрие (Кишинев), 1945, № 1, паж. 127—133.

Simonesca Dan. Activitatea lui D. Cantemir in Rusa — Studii si cercetăi istorice XIX. Jasi, 1946, p. 9—17.

Коробан В. П. Молдавская культура в XVIII веке. — В кн.: Феодалные отношения в Молдавии в период XIV—XVIII веков. Сборник статей. Кишинев, Госиздат Молдавии, 1950, с. 163—173.

Без подписи. Д. Кантемир. — В кн.: История Молдавии, т. I (От древнейших времен до Великой Октябрьской социалистической революции). Кишинев, «Шкоала советикэ», 1951, с. 328—332.

Haupt Gh «Studii asupra monarhiilor». (Un document inedit al lui D. Cantemir) — Studii Revista de istorie si filosofie, 1. Anul. 4, ianuarie—martie 1951, p. 210—218 (Academia Republicii române. Institutul de istorie si filosofie)

Без подписи. Д. К. Кантемир. — В кн.: Большая советская энциклопедия, т. 20. Изд. 2-е, М., БСЭ, 1953, с. 28—29.

Коробан В. Дмитрий Кантемир. — Октябрь (Кишинев), 1953, № 5, с. 72—77.

Cherestesiu V. Marele învățat, om politic si luptător activ pentru prietenia româno-rusa. Dimitrie Cantemir. — Studii, 1953, VI, № 4, p. 75—89.

Constantinescu-Jasi P. Relatiile, culturale româno-ruse din trecut. Bucuresti, 1954, p. 180—192

Коробан В. Романул «История иероглификэ» де Д. Кантемир. (250 ань дела дата скриерий). — Октомбрие, 1955, № 11, с. 80—90.

Урсул Д. Из истории передовой философской и общественно-политической мысли в Молдавии в конце XVII—начале XVIII века — Октябрь (Кишинев), 1955, № 3, с. 73—80.

Агасьева Н. А. Выдающийся молдавский ученый Д. К. Кантемир. (К 280-летию со дня рождения Д. К. Кантемира). — Ученые записки Кишиневского педагогического института, 1956, т. V, серия физико-математических наук и естествознания, с. 3—14.

Ермуратский В. Н. Общественно-политические взгляды Дмитрия Кантемира. Кишинев, Гос. изд. Молдавии, 1956, 104 с.

Рец.: Руссев Е. Полезная книга. — Днестр, 1957, № 9, с. 117—122.

Трунов Д. Свет из России. Махачкала, Дагкнигоиздат, 1956, с. 29—30.

Д. Кантемир в Дагестане.

Вартичан И. К. «История иероглификэ» а луй Димитрие Кантемир. — В кн.: Кантемир Д. История иероглифика. Кишинэу, Едитура ле стат в Молдовей, 1957, с. I—XII.

Димон Н. А. О природе и хозяйстве Молдавии в труде Д. Кантемира «*Descriptio Moldaviae*» («Описание Молдавии»). — Известия Молдавского филиала АН СССР, 1957, № 4 (37), с. 125—128.

Constantinescu-Jasi P. O prietenie de veacuri. Scurt istoric al relatiilor dintre popoarele romîn și rus. București, 1957, p. 71—76.

Панаитеску П. П. Культурные связи румынских государств в эпоху реформ Петра I. Новые данные. — *Romanoslavica*, t. II, București, 1958, p. 235—247.

Руссев Е. Примул роман молдовенск — Ниструл, 1958, № 6, с. 116—120.

О книге «История иероглифов».

Rapaitescu P P Dimitrie Cantemir Viața și opera Bucuresti, Acad. Rep. Pop. Romîn., 1958, 265 p. (Biblioteca istorică, III).

Рец.: Perpessicus — Luceafărul, 1959, № 4, p. 7

Материалы о Кантемирах в советских архивах

Архив Академии наук СССР. Обзорные архивных материалов. Под общей ред. Г. А. Князева. Л., АН СССР, 1933, с. 51, 169, 174.

О письме В. К. Тредиаковского к А. Д. Кантемиру; о письмах А. Д. Кантемира к И. Д. Шумахеру; о письмах А. Д. Кантемира к З.-Т. Байеру.

Краткий отчет Рукописного отдела за 1914—1938 годы. Под ред. Т. К. Ухмыловой и В. Г. Геймана. Л., 1940, с. 47, 104—105 (ГПБ)

Автограф в собрании Вакселя-Юргенсона; письмо Я. Ф. Долгорукова от 31 марта 1715 г. об определении сыновей Д. К. Кантемира в солдаты Преображенского полка.

Емельянов К. Новый список произведений Кантемира. — Архивное дело, 1941, № 2, с. 91—92

Список Калининского областного архива «Сатиры князя Антиоха Кантемира, сочиненные в 1730 и 1731 годах в Москве» (первоначальная редакция сатир).

Центральный государственный архив древних актов. Путеводитель, ч. I. М., 1946, с. 27, 43, 68—69, 136—137, 170, 172, 177, 188.

Переписка Коллегии иностранных дел с А. Д. Кантемиром (1732—1738, 1738—1744); договоры (копии) о переходе в русское подданство Д. К. Кантемира, его переселении в Россию и пожаловании ему поместий; список сатир А. Д. Кантемира (XVIII в.), его перевод на итальянский язык «Сокращенной турецкой истории» Д. К. Кантемира, сочинения Д. К. Кантемира на латинском языке; челобитная А. Д. Кантемира Петру I с просьбой об отпуске его за границу для образования (1724); личные документы и переписка А. Д. и Д. К. Кантемиров (1719—1743); письма А. Д. Кантемира к Бирону (1731—1740) и императрице Елизавете Петровне (1741—1743); переписка Коллегии иностранных дел с А. Д. Кантемиром (1732—1740); донесение Синода о конфискации переведенных А. Д. Кантемиром «Разговоров о множестве миров» Фонтенелля (1756).

Центральный государственный архив древних актов. Путеводитель, ч. II. Под ред. чл.-корр. АН СССР А. И. Яковлева М., 1947, с. 142.

«История Валахии» (из библиотеки кн. Д. К. Кантемира).

Джингарадзе В. З. Обзор фонда Воронцовых, хранящегося в ЦГАДА. — Исторические записки, 1950, т. 32, с. 244.

Журнал, веденный русским послом в Лондоне А. Д. Кантемиром о событиях дипломатической жизни (март—июль 1732 г.).

Кудрявцев И. М., Ошанина Е. Н., Швабе Н. К. Новые поступления. Рукописи, поступившие в 1941—1947 годы. — Записки Отдела рукописей, вып. XI, под ред. П. А. Зайончковского и И. М. Кудрявцева, М., 1950, с. 99 (Гос. библиот. СССР им. В. И. Ленина).

О списке «Сатиры князя Антиоха Кантемира, сочиненные в 1730 и 1731 года в Москве» (последняя четверть XVIII в.).

Центральный государственный литературный архив СССР. Путеводитель. Под ред. доктора филологических наук Н. Ф. Бельчикова. М., 1951, с. 392.

Об 11 письмах Кантемира (копии XIX в.).

Краткий отчет о новых поступлениях 1947—1949 годов. Под ред. доктора исторических наук А. И. Андреева. Л., ГПБ., 1952, с. 19 (ГПБ. Труды Отдела рукописей).

Материалы о Кантемире в фонде В. Я. Стоюнина.

Бакланова Н. А. и Могилянский А. П. Обзор древнерусских рукописей, поступивших в Пушкинский Дом из Института мировой литературы им. А. М. Горького Академии наук СССР — Бюллетени Рукописного отдела Пушкинского Дома, IV, М.—Л., АН СССР, 1953, с. 121.

Копии сатир Кантемира в сборнике первой половины XVIII в. из собрания В. Н. Перетца.

Краткий отчет о новых поступлениях 1950—1951 годов. Под ред. В. Г. Геймана. Л., 1953, с. 16 (ГПБ. Труды Отдела рукописей).

Письма А. Д. Кантемира к А. И. Щербатову из Парижа.

Кудрявцев И. М. Новые поступления. Рукописи, поступившие в 1953 году. — Записки Отдела рукописей, вып. 16, под ред. С. В. Житомирской и И. М. Кудрявцева, М., 1954, с. 141 (Гос. библиот. СССР им. В. И. Ленина).

О статье «Российский Парнасс» в рукописном «Семинарском вестнике» Владимирской семинарии (1813—1815).

Люблинский В. С. Новые тексты переписки Вольтера. Письма Вольтера. Публик., вводи. статья и прим. В. С. Люблинского. М.—Л., АН СССР, 1956, с. 307, 308—309.

Описание писем Вольтера к А. Д. Кантемиру от 13 марта и 19 апреля 1739 г. из коллекции Дубровского (ГПБ).

Центральный государственный исторический архив СССР в Ленинграде. Путеводитель. Под ред. С. Н. Валка и В. В. Бедина. Л., 1956, с. 124.

«О запрещении или разрешении с исключением частей текста сочинений» А. Д. Кантемира (ф. 777 Петербургского цензурного комитета).

Путеводитель по архиву Ленинградского отделения Института истории. М.—Л., АН СССР, 1958, с. 278, 283, 417, 428.

Переписка А. Д. Кантемира с М. И. Воронцовым и реляции из Парижа (1742—1744); диплом (копия) Петра I Д. К. Кантемиру о принятии его под покровительство России (1711); указы о пожа-

ловании имений князьям Кантемирам; письмо (копия) душеприказчиков А. Д. Кантемира о его библиотеке (1745); автографы в коллекции Н. П. Лихачева; списки эпиграмм и сатир в сборнике XVIII в из коллекции Археографической комиссии.

Центральный государственный исторический архив УССР в Киеве. Путеводитель. Киев, 1958, с. 15, 29, 277.

Дело о закреплении с. Кричного за кн. Кантемиром (1759); о бегстве 150 крестьян Кантемира (1765). Копии писем А. Д. Кантемира из Англии (1736).



СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
Предисловие	3
<i>Доклады</i>	
П. Н. Берков. Основные вопросы изучения русского просветительства	5
И. З. Серман. Просветительство и русская литература первой половины XVIII века	28
Ф. Я. Шолом. Просветительские идеи в украинской литературе середины XVIII века	45
А. В. Предтеченский. Общественно-политические взгляды Н. М. Карамзина в 1790-х годах	63
Ю. М. Лотман. Пути развития русской просветительской прозы XVIII века	79
<i>Сообщения</i>	
А. В. Позднеев. Просветительство и книжная поэзия конца XVII—начала XVIII века	107
И. Я. Каганов. Я. Маркович и его «Дневник» как материал для истории просветительства на Украине в первой половине XVIII века	113
<i>Выступления</i>	
Е. Г. Плимак (Москва). Основные этапы в развитии русского Просвещения XVIII века	127
Г. И. Бомштейн (Пермь). О значении народного движения для развития общественной мысли	138
В. Н. Всеволодский-Гернгросс (Москва). О терминах «просвещение» и «просветительство»	140
Г. М. Фридлиндер (Ленинград). О форме и содержании идеологии эпохи Просвещения	143
А. В. Кокорев (Москва). За активное изучение русской литературы XVIII века	147
З. И. Гершкович (Ленинград). О методологических принципах изучения русского просветительства	151
Ю. М. Лотман (Тарту). Просветительство и реализм	158
Л. И. Кулакова (Ленинград). Просветительство и литературные направления XVIII века	163
Г. П. Макогоненко (Ленинград). К истории русского Просвещения и реализма XVIII века	173

*Материалы юбилейного заседания, посвященного 250-летию
со дня рождения А. Д. Кантемира*

П. Н. Берков. Первые годы литературной деятельности Антиоха Кантемира (1726—1729)	190
З. И. Гершкович. Об идейно-художественной эволюции А. Д. Кантемира	221
И. В. Шкляр. Приписываемые А. Д. Кантемиру переводы сатир Буало и оригинальные сатиры Кантемира	248
П. Н. Берков и В. П. Степанов. Материалы для библиографии изданий А. Д. и Д. К. Кантемиров и литературы о них (1917—1959)	260

ПРОБЛЕМЫ РУССКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ
В ЛИТЕРАТУРЕ XVIII ВЕКА

*Утверждено к печати
Институтом русской литературы (Пушкинский Дом)
Академии наук СССР*

Редактор Издательства Е. И. Михлин

Художник Д. С. Данилов

Технический редактор В. Т. Бочевер

Корректоры: Н. В. Лихарева, Г. А. Мирошниченко и Т. Г. Рывкина

Сдано в набор 19 X 1960 г. Подписано к печати 16 VI 1961 г. РИСО АН СССР № 7-а 108 В. Формат бумаги 60 X 92 1/16. Бум. л. 8,5. Печ. л. 17=17 усл. печ. л. Уч.-изд. л. 16,32 Изд. № 1234 Тип. зак. № 7533. М-07321. Тираж 2700

Цена 1 р. 18 к.

Ленинградское отделение Издательства Академии наук СССР
Ленинград, В-164, Менделеевская лин., д. 1.

Типография «Коммунист», Таллин, ул. Цикк, 2.

ИСПРАВЛЕНИЯ И ОПЕЧАТКИ

<i>Страница</i>	<i>Строка</i>	<i>Напечатано</i>	<i>Должно быть</i>
49	16 снизу	політичні	політичний
51	3 „	українсько письменства	українського пись- менства
53	7 сверху	стрѣшенній,	отрѣшенній,
60	3 снизу	исповѣдані,	исповѣданія,
63	13 „	маровоззрення	мировоззрення
119	1 „	Stenius	Genius
139	6 сверху	Алифференко	Алефиренко
„	17, 18, 19 сверху	Алифференко	Алефиренко
259	3 сверху	гордого	гордость
263	9 снизу	XVII	XVIII
264	5, 6 сверху	возз'язднання	возз'єднання
267	1 снизу	в Молдовой,	а Молдовой,
268	4 сверху	prietentie	prietenie
268	9 „	молдовенск	молдовенеск
270	2 „	автографы	автограф

Проблемы русского просвещения